

Ольга Берггольц

Ленинградский дневник

© Бергольц, О. Ф., наследники, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015



Ольга Федоровна
БЕРГГОЛЬЦ
(1910-1975)

«Я петь не люблю в предосенних полях...»

Я петь не люблю в предосенних полях –слабеет, склоняется голос, заходит
синеющим кругом земля, ложится беспесенной, голой...Я в лес убегаю (а дома
скажу:по ягоды собираюсь),а что собирать-то – пою, да брожу,да новое
запеваю.Ни звука в глубокой пучине лесной, всё мертво, всё пусто, всё тленье...
Но древнее эхо заводит со мнойдремучее, дальнее пенье. Меня обступают
прозрачной стенойстволы красноватые сосен.Я слышу – высоко заводит
со мноймоя журавлиная осень...О, певчее, звонкое горло мое,как весело мне
с тобою!Как радостно знать мне, что ты запоешьтоварищам перед боем.

Милый снег

Посвящается деду

Я хочу глядеть на милый снег -В час вечерний синь его голубит, -Думать: есть на свете человек,Обо мне он думает и любит.Ни отцу, ни маме, ни сестре,Ничего об этом не сказала...Хорошо на блещущем двореТак луна ни разу не сверкала... Я сказала б только одному,Старику хорошему, родному,Умершему деду моему,Старому такому и седому.Но ему не скажешь: воротись...Он в земле холодной, безучастной.Милый дед! Прости и не сердисьНа меня за радостное счастье!..За тебя, в сияющем снегу,Звездам ночи кланяюсь все ниже,Завтра с «ним» далеко побегуНа скрипучих, шепчущихся лыжах.

Алтай

Б. Т-у

Не знаю, Уклон или счастье, Что этой зимой у стекла
Я думала долго и часто
О странах, где я не была. Закружи заставу простую
Замерзшие стекла от глаз,
Но не о ней затоскую, Любуясь на роспись стекла.
Я мысли свои оплетаю
Любимейшей из морок: Мне чудятся горы Алтая
На утренних стеклах в мороз,
И вырастут хрупкие ели. Оконная тухнет тайга, -Я чувствую,
как заскрипели Под валенком рыжим снега.
Я трогаю строгие глыбы, Но солнце на раму стекло,
И я с виноватой улыбкой Рукою встречаю стекло.
И тают вершины Алтая
Прозрачными струями слез, И к окнам кидается стая
Окраинных рваных берез...

Матери

У матери тихо седеют виски, Глаза западают вглубь... Она затихает, Как вечером
скит В зеленом лесном углу.... Она беспокоится у окна, Что долго домой не иду. А я
прихожу, от мороза пьяна, От белых ветвей в саду. В саду на скамейках - пушистый
снег И небо, как водоем... Под строгими звездами любо мне С милым сидеть
вдвоем... Не надо жалобы и тоски, Мама, не морщи бровь... Видишь - седеют твои
виски, В мои - барабанит кровь.

«Послушай, об этом не говорят...»

Б.

Послушай, об этом не говорят, а ты рассказал всем.... Еретик был счастлив, когда, горя, он мог оставаться нем. И, как ни грызет огонь плеча, как возле ни воет толпа, он, губы сжав, мог не кричать, на черную злость попа. А ты - о, ты испугался гореть! Так что ж кричишь, горя?... Нет, даже на самом большом костре боли не говорят!

Дон Кихот

Проходя по проспекту, сведенному в зимней сухотке, ты видал ли в витрине, что с краю морозом запенена, поставлен бронзовый Дон Кихот между бюстами Маркса и Ленина? Ты ведь помнишь? Когда-то его обманули сеньоры, и волшебную лошадь подменили дощатой назло... И печального Дона слепым ожиданьем свело... Ты - я знаю - прошел и не кинул скользящего взгляда, ну а мне зацепиться зрчками за все - ни по чем. Вечерами подолгустояла я с рыцарем рядом, никогда не смеясь над потертым щитом и мечом. Да, другие теперь шлемы, и щит, и оружие, но во многих остался, годами и бурей не смененный, Дон Кихот, заблудившийся между Марксом и Лениным.... Вот затихнет звон трамваев к двум часам; на проспекте, уставая, стынет гам. Только рыцарь не задремлет на коне, - всё обещанную землю ждет в окне? И пускай застыли руки в стали лат: он готов, готов на муку стекла... И не знает он, недужный, что сейчас никому совсем не нужен здесь - у нас. Пусть не знает - не перечь: пусть, сжимая верный меч, только улиц тонкий ход караулит Дон Кихот...

Грипп

Эти сны меня уморят в злой тоске!.. Снилось мне, что я у моря, на песке... И мельтешит альбатросов белизна, И песков сырую россыпь мнет волна. Я одна на побережье, на песке. Чей-то парус небо режет вдалеке... И густое солнце стелет зной вокруг..... Я очнулась на постели в жару... Но вокруг еще - кораллы, моря хрип... Мне сказали - захворала! Это - грипп... «Да, конечно, это климат подкачал... Ты просил меня, любимый, не скучать. Я старалась не заплакать при тебе... Но зачем такая слякоть, свист в трубе?! Я боюсь - меня уморят города... Мы с тобой увидим морескоро... да?»»

Беатриче

В небе грозно бродят тучи, закрываю Данте я... В сумрак стройный
и дремучий входит комната моя... Часто-часто сердце кличет эти злые
вечера: Беатриче, Беатриче, неизвестная сестра... Почему у нас не могут так
лелеять и любить? Даже радость и тревогу не укроешь от обид... Почему у нас
не верят, а позорно и смешно так любить, как Алигьери полюбил тебя –
давно?.. Тупорылыми словами может броситься любой, заклеями сами, сами эту
строгую любовь... И напрасно сердце кличет, затихая ввечеру, Беатриче,
Беатриче, непонятную сестру.

«О, если б ясную, как пламя...»

О, если б ясную, как пламя, иную душу раздобыть. Одной из лучших между вами, друзья, прославиться, прожить. Не для корысти и забавы, не для тщеславия, хочу людской любви и верной славы, подобной звездному лучу. Звезда умрет – сиянье мчится сквозь бездны душ, и лет, и тьмы, – и скажет тот, кто вновь родится: «Ее впервые видим мы». Быть может, с дальним поколеньем, жива, горда и хороша, его труды и вдохновенья переживет моя душа. И вот тружусь и не скрываю: о да, я лучшей быть хочу, о да, любви людской желаю, подобной звездному лучу.

Песня

Мы больше не увидимся -прощай, улыбнись...Скажи, не в обиде тына быстрые дни?..Прошли, прошли - не мимо ли,как сквозняки по комнате,как тростниковый стон.....Не вспомнишькак любимую,не вспомни - как знакомую,а вспомни как сон...Мои шальные песенкида косы на ветру,к сеновалу лесенку,дрожь поутру...

«Как на озерном хуторе...»

Как на озерном хуторе с Крещенья ждут меня – стреножены, запутаны ноги у коня...
Там вызорили яров киноварь дугуи пращурный, угарный бубенчик берегут...
Встречали не устанно под снежный синий порск, а я от полустанка за сотню лет
и верст... Встречали, да не встретили, гадали – почему?... Полночный полоз
метил обратную кайму... И пел полночный полоз сосновой стороной, как в тот же
вечер голос – далекий голос мой: «Ты девять раз еще – назад вернешься,
не взглянув сквозь финские мои глаза в иную глубину... Вернись, забыть
готовый, и пути перережь, пусть конские подковы дичают в пустыре... И киноварь
не порти зря, и в омут выкинь бубенец – на омутах, на пустырях моя судьба и мой
конец...»

«Галдарейка, рыжеватый снег...»

Галдарейка, рыжеватый снег, небо в наступившем декабре, хорошо и одиноко мнена заставском замершем дворе... Флигель окна тушит на снегу, и деревья тонкие легки. Не могу укрыться, не могут ночного инея тоски, если небо светится в снегу, если лайда дальние гудки... Вот седой, нахохленный сарайозарит рыданье петуха - и опять гудки, и в переулке лай, и заводу близкому вздохнуть... Всё я жду - придешь из-за угла, где фонарь гадает на кольцо. Я скажу: «Я - рада! Я ждала... У меня холодное лицо...» Выпал снег... С заводов шли давно... «Я ждала не только эту ночь. Лавочка пушиста и мягка. Ни в душе, ни в мире не темно, вздрагивает на небе слегка...» Но ложится иней на плечах. За тремя кварталами пыхтит темный поезд, уходящий в часна твои далекие пути...

Мой путь

Я так давно не верю в сосны из заколдованных гребней... О, берег, утренний и росный, у рек узорных простыней!.. Но живы дивной стариною не лопушистые ль снега? Я знаю, гонится за мною моя клякстая Яга. К земле прикладываю ухо - она всё ближе, всё слышней... Но вьется радостно и глухой путь за тридевять морей... И ждет меня подруга-песня за тридевятью верстой, гадает на глухие перстни и ходит голосить весной.

Сеятель

В скважину между землей и небом
пологий ветер свистит напролом...
По горизонту лукошком хлебачерный
сеятель мерно идет. Какой он маленький
издалёка - он сеет у самого края земли,
прилежные ноги расставив широко,
чтоб между ними леса прошли,
чтоб дальних полосу легла основа,
кусок забора, избушек
пять... И мне пора протравливать
словаи самое всхожее выбирать.

«Я на цыпочках приподнимаюсь...»

Я на цыпочках приподнимаюсь, я вытягиваюсь, как трава, руки молодые
раскрываю и покачиваюсь едва... Где еще услышишь ты такое, кто еще так радостно
споеет про любовь, не знавшую покоя, про твое неверное ружье? Даже и проезжий
удивится: что звенит мне в решете полей? Проезжает, и ему не спится, и не понукает
лошадей... Надо мною ястреба высоко, тонко-тонко плачут ястреба; подо мною –
илом и осокой ходит омутовая гурьба... А сама я – как большое ухо, – ничего, земля,
не утаи..... Даже кажется, что слышу
глухо уходящие шаги твои.

Осень

Мне осень озерного края, как милая ноша, легка. Уж яблочным соком, играя, веселая плоть налита. Мы взяли наш сад на поруки, мы зрелостью окружены, мы слышим плодов перестуки, сорвавшихся с вышины. Ты скажешь, что падает время, как яблоко ночью в саду, как изморозь пала на темяв каком неизвестно году... Но круглое и золотое, как будто одна из планет, но яблоко молодо тебе протяну я в ответ. Оно запотело немного от теплой руки и огня... Прими его как тревогу, как первый упрек от меня.

Бой

Мы предчувствовали полыханьеэтого трагического дня.Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.Родина! Возьми их у меня!Я и в этот день не позабылагорьких лет гонения и зла,но в слепящей вспышке поняла:это не со мной - с Тобою было,это Ты мужалась и ждала.Нет, я ничего не позабыла!Но была б мертва, осуждена - встала бы на зов Твой из могилы,все б мы встали, а не я одна.Я люблю Тебя любовью новой,горькой, всепрощающей, живой,Родина моя в венце терновом,с темной радугой над головой.Он настал, наш час,и что он значит -только нам с Тобою знать дано.Я люблю Тебя - я не могу иначе,я и Ты - по-прежнему - одно.

«Война постучала в окно...»

Отец и сын - Иван и Анатолий Ревко - вместе вступили в народное ополчение, в пулеметный взвод, где отец стал командиром.

Война постучала в окно, отцу до зари не уснуть. «Ну что же, - сказал он, - сынок, мужчины отправятся в путь. Ты слышишь за окнами гул далеких родных батарей? (Он встал и крючки застегнул на старой кожанке своей.) Так пусть застучит пулемет под верной моею рукой: отчизна, как прежде, зовет солдата Ивана Ревко». И сын отвечает: «Идем. Ровесники ждут у ворот. Мы взвод молодой соберем, ты примешь и выучишь взвод. За отчий, за радостный дом, за то, чтоб дышалось легко, - идем в ополченье, идем», - сказал Анатолий Ревко. «Идите, - промолвила мать, - с победой вернитесь под кров. Отчизну должна отстоять бесстрашная русская кровь». Из города взвод молодой уходит на фронт далеко, и юных ведет за собой седой пулеметчик Ревко. С ним рядом мужающий сын, погодки его и друзья. И все старику, как один, возлюбленные сыновья. Да здравствуют наши бойцы - земля не знавала храбрей. Да здравствуют наши отцы и злая любовь матерей!

Начало поэмы

...Всю ночь не разнимали руки, всю ночь не спали мы с тобой: я после долгой, злой разлуки опята пришла к тебе - домой. Мы говорили долго, жадно, мы не стыдились слез отрадных - мы так крепились в дни ненастья... Теперь душа светла, мудра, и зрелое людское счастье, как солнце, встретит нас с утра. Теперь навек - ты веришь, веришь? - любовь одна и жизнь одна..... И вдруг стучит соседка в двери, вошла и говорит: «Война!» Война уже с рассвета длится. Войне уже девятый час. Уж враг за новою границей. Уж сотни первых вдов у нас. Войне идет девятый час. И в вечность канул день вчерашний. Ты говоришь: «Ну как? Не страшно?» «Нет... Ты идешь в военкомат?» «Еще ты муж, но больше - брат... Ступай, родной... И ты - солдат, ты соотечественник мне, и в этом - всё. Мы на войне.

«...Я говорю с тобой под свист снарядов...»

Август 1941 года. Немцы неистово рвутся к Ленинграду. Ленинградцы строят баррикады на улицах, готовясь, если понадобится, к уличным боям.

...Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна... Кронштадтский злой, неукротимый ветер мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом - смертная угроза... Бессонны ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называлось страхом и мольбой. Я говорю: нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонад, и если завтра будут баррикады - мы не покинем наших баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками сжав обугленное сердце, такое обещание даюя, горожанка, мать красноармейца, погибшего под Стрельною в бою: Мы будем драться с беззаветной силой, мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.

В госпитале

Тридцать пять тысяч ленинградских женщин и девушек подали заявление с просьбой зачислить их в дружинницы Красного Креста.

Солдат метался: бред его терзал. Горела грудь. До самого рассвета он к женщинам семьи своей взывал, он звал, тоскуя: «Мама, где ты, где ты?» Искал ее, обшаривая тьму... И юная дружинница склонилась крикнула – сквозь бред и смерть – ему: «Я здесь, сынок! Я здесь, я рядом, милый!» И он в склоненной мать свою узнал. Он зашептал, одолевая муку: «Ты здесь? Я рад. А где ж моя жена? Пускай придет, на грудь положит руку». И снова наклоняется она, исполненная правдой и любовью. «Я здесь, – кричит, – я здесь, твоя жена, у твоего родного изголовья. Я здесь, жена твоя, сестра и мать. Мы все с тобой, защитником отчизны. Мы все пришли, чтобы тебя поднять, вернуть себе, отечеству и жизни». Ты веришь, воин. Отступая, бред сменяется отрадою покоя. Ты будешь жить. Чужих и дальних нет, покуда сердце женское с тобою.

Сестре

Первые бомбардировки Ленинграда, первые артиллерийские снаряды на его улицах. Фашисты рвутся к городу. Ежедневно Ленинград говорит со страной по радио.

Машенька, сестра моя, москвичка! Ленинградцы говорят с тобой. На военной грозной переключке слышишь ли далекий голос мой? Знаю – слышишь. Знаю – всем знакомым ты сегодня хвастаешь с утра: «Нынче из отеческого дома говорила старшая сестра».... Старый дом на Палевском, за Невской, низенький зеленый палисад. Машенька, ведь это – наше детство, школа, елка, пионеротряд... Вечер, клены, мандолины струны с соловьем заставским впереводку. Машенька, ведь это наша юность, комсомол и первая любовь. А дворцы и фабрики заставы? Труд в цехах неделями подряд? Машенька, ведь это наша слава, наша жизнь и сердце – Ленинград. Машенька, теперь в него стреляют, прямо в город, прямо в нашу жизнь, пленом и позором угрожают, кандалы готовят и ножи. Но, жестоко душу напрягая, смертно ненавидя и скорбя, я со всеми вместе присягаю даю присягу за тебя. Присягаю ленинградским ранам, первым разоренным очагам: не сломясь, не дрогну, не устану, ни крупинки не прощу врагам. Нет. По жизни и по Ленинграду полчища фашистов не пройдут. В низеньком зеленом палисаде лучше мертвой наземь упаду. Но не мы – они найдут могилу. Машенька, мы встретимся с тобой. Мы пройдемся по заставе милой, по зеленой, синей, голубой. Мы пройдемся улицею длинной, вспомним эти горестные дни, и услышим говор мандолины, и увидим мирные огни. Расскажи ж друзьям своим в столице: «Стоек и бесстрашен Ленинград. Он не дрогнет, он не покорится – так сказала старшая сестра».

Осень сорок первого

Я говорю, держа на сердце руку. Так на присяге, может быть, стоят. Я говорю с тобой перед разлукой, страна моя, прекрасная моя. Прозрачное, правдивейшее слово ложится на безмолвные листья. Как в юности, молюсь тебе суровой знаю: свет и радость - это ты. Я до сих пор была твоим сознанием. Я от тебя не скрыла ничего. Я разделила все твои страдания, как раньше разделяла торжество.... Но ничего уже не страшно более: сквозь бред и смерть сияет предо мной твоё ржаное дремлющее поле, ущербной озаренное луной. Ещё я лес твой вижу на камне, над безымянной речкою лесной, заботливыми свернутый руками мудрый черпачок берестяной. Как знак добра и мирного общения, лежит черпак на камне у реки, а вечер тих, неслышно струй теченье и на траве мерцают светляки... О, что мой страх, что смерти неизбежность, испепеляющий душевный зной перед тобой - незыблемой, безбрежной, перед твоей вечерней тишиной? Умру - а ты останешься, как раньше, и не изменятся твои черты. Над каждою твоею черной раной лазоревые вырастут цветы. И к дому ковыляющий калека над безымянной речкою лесной опять сплетет черпак берестяной с любовной думою о человеке...

Из блокнота сорок первого года

...Видим - опять надвигается ночь, и этому не помочь: ничем нельзя отвратить темноту, прикрыть небесную высоту... Я не дома, не города житель, не живой и не мертвый - ничей: я живу между двух перекрытий, в грудe сложенных кирпичей... О, это явь - не чудится, не снится: сирены вопль, и тихо - и тогда одно мгновение слышно - птицы, птицы поют и свищут в городских садах. Да, в тишине предбоевой, в печалитак торжествуют хоры вешних птиц, как будто б рады, что перекричали огромный город, падающий ниц... В бомбоубежище, в подвале, нагие лампочки горят... Быть может, нас сейчас завалит. Кругом о бомбах говорят..... Я никогда с такою силой, как в эту осень, не жила. Я никогда такой красивой, такой влюбленной не была... Да, я солгу, да, я тебе скажу: «Не знаю, что случилось со мной, но так легко я по земле хожу, как не ходила долго и давно. И так мила мне вся земная твердь, так песнь моя чиста и высока... Не потому ль, что в город входит смерть, а новая любовь недалеко?..»... Сидят на корточках и дремлют под арками домов чужих. Разрывам бомб почти не внемлют, не слышат, как земля дрожит. Ни дум, ни жалоб, ни желаний... Одно стремление - уснуть, к чужому городскому камню щекой горящею прильнуть...

Песня о Леониде Коротких

О нем говорили - «наш». Он был из таких людей, которым ты всё отдашь в счастье своем, и в беде. Затем, что себя не жалел, ни юность, ни жизнь свою. Легко ходил по земле, других выручал в бою. Ты имя его сохрани. Он родом с сибирской реки, меж сверстников - «наш Леонид», в строю - лейтенант Коротких. Я песню веду с рубежа, откуда вечерней порой в атаку, в атаку бежал неистовый взвод молодой. А он, как всегда, - впереди. Ревут автоматы в дыму. Он падает с пульей в груди, и бросились люди к нему. Но миг остановки - беда, в атаке мгновение в цене. «Вперед, - закричал он тогда, - не смей подходить ко мне!» И, вздрогнув, послушался взвод. Рыданье сдавил на бегу. И, прыгая через него, ударил, как смерч, по врагу. И песнь, обрываясь, звенит на самой высокой струне. Пусть имя твое, Леонид, запомнится нашей стране. Затем, что себя не жалел, ни юность, ни жизнь свою. Легко ходил по земле, других выручал в бою..... Я жадно, ревниво коплю свидетельства чести людской. Мой друг, я тебя люблю за то, что и ты - такой.

«...Я буду сегодня с тобой говорить...»

Фашистам не удалось взять Ленинград штурмом. Они замкнули вокруг него кольцо блокады.

...Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, - и это уже победа. Смотри - материнской тоскою полна, за дымной грядкою осады, не сводит очей воспаленных странас защитников Ленинграда. Так некогда, друга отправив в поход, на подвиг тяжелый и славный, рыдая, глядела века напролетсо стен городских Ярославна. Молила, чтоб ветер хоть голос домчалдо друга сквозь дебри и выси... А письма летят к Ленинграду сейчас, как в песне, десятками тысяч. Сквозь пламя и ветер летят и летят, их строки размыты слезами. На ста языках об одном говорят: «Мы с вами, товарищи, с вами!» А сколько посылок приходит с утра сюда, в ленинградские части! Как пахнут и варешки, и свитера забытым покоем и счастьем... И нам самолеты послала страна - да будем еще неустанней! - их мерная, гулкая песня слышна, и видно их крыльев блистанье. Товарищ, прислушайся, встань, улыбнись с вызовом миру поведай: «За город сражаемся мы не одни - и это уже победа. Спасибо. Спасибо, родная страна, за помощь любовью и силой. Спасибо за письма, за крылья для нас, за варешки тоже спасибо. Спасибо тебе за тревогу твою - она нам дороже награды. О ней не забудут в осаде, в бою защитники Ленинграда. Мы знаем - нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды. Но Родина с нами, и мы не одни, и нашею будет победа».

Баллада о младшем брате

Его ввели в германский штаб, и офицер кричал: «Где старший брат? Твой старший брат? Ты знаешь – отвечай!» А он любил ловить щеглят, свистать и петь любил, и знал, что пленники молчат, – так брат его учил. Сгорел дотла родимый дом, в лесах с отрядом брат. «Живи, – сказал, – а мы придем, мы всё вернем назад. Живи, щегленок, не скучай, пробьет победный срок... По этой тропочке таскайся картошкой котелок». В свинцовых пальцах палача безжалостны ножи. Его терзают и кричат: «Где старший брат? Скажи!» Молчать – нет сил. Но говорить – нельзя... И что сказать? И гнев бессмертный озарил мальчишечьи глаза. «Да, я скажу, где старший брат. Он тут, и там, и здесь. Везде, где вас, врагов, громят, мой старший брат – везде. Да, у него огромный рост, рука его сильна. Он достает рукой до звезды до морского дна. Он водит в небе самолет, на крыльях – по звезде, из корабельных пушек бьет вражий танк гранатой рвет... Мой брат везде, везде. Его глаза горят во мгле всевидящим огнем. Когда идет он по земле, земля дрожит кругом. Мой старший брат меня любил. Он всё возьмет назад...»... И штык фашист в него вонзил. И умер младший брат. И старший брат о том узнал. О, горя тишина!.. «Прощай, щегленок, – он сказал, – ты постоял за нас!» Но стисни зубы, брат Андрей, молчи, как он молчал. И вражьей крови не жалея, огня и стали не жалея – отмщенье палачам! За брата младшего в упор рази врага сейчас, за младших братьев и сестер, не выдававших нас!

«К сердцу Родины руку тянет...»

16 октября 1941 года. Враг рвется к Москве. «Линия обороны Москвы проходит через сердце каждого ленинградца», – говорили в Ленинграде.

К сердцу Родины руку тянет трижды проклятый миром враг. На огромнейшем поле брани кровь отметила каждый шаг. О, любовь моя, жизнь и радость, дорогая моя земля! Из отрезанного Ленинграда вижу свет твоего Кремля. Пятикрылые вижу звезды, точно стали еще алей. Сквозь дремучий, кровавый воздух вижу Ленинский Мавзолей. И зарю над стеною старой, и зубцы ее, как мечи. И нетленный прах коммунаров снова в сердце мое стучит. Наше прошлое, наше дерзанье, всё, что свято нам навсегда, – на разгром и на поруганье мы не смеем врагу отдать. Если это придется взять им, опозорить свистом плетей, пусть ложится на нас проклятье наших внуков и их детей! Даже клятвы сегодня мало. Мы во всем мире поклялись. Время смертных боев настало – будь неистов. Будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь – кровью, пламенем, сталью, словом, – удержи врага. Удержи!

Стихи о вооруженном народе

...Ночь, триумфальной арки колоннада, и у костра – красногвардейский взвод...
Сегодня на защиту Петрограда вооруженный выступил народ. У каждого чуть
видимого зданья, на перекрестках встали, по мостам, и невских звезд осеннее
сиянье, холодное, струится по штыкам. О, гневные полночные дозоры, негромкий
окрик: «Кто на фронт идет?» А фронт за пустырем, за тем забором... И отвечают:
«Мы идем, народ». Путиловцы, наборщики, студенты сражаются у Пулковских
высот, не зная, что свершаются легенды, когда вооружается народ. И штык разит,
зачуранный и ржавый, и мечет смерть калека-пулемет. Все в действии. На бой
святой и правый вооруженный выступил народ. Так были смяты юнкера
Краснова, Юденич был отброшен и разбит. И годы шли. Но враг заклятый
снова орденосцу городу грозит. Вот он ползет в коричневой
рубашке, в безжизненном мерцании ночей. Он тащит плети, виселицы, плахи, ведет
тюремщиков и палачей... Нет, врешь, не выйдет! Врешь, еще завоешь. И не сегодня-
завтра час придет – ты сам узнаешь, что это такое, когда вооружается
народ. Уже в руках нагрелись приклады, уже штыки устремлены вперед. Железом
пахнут ночи Ленинграда, когда вооружается народ. И страшного оружия
немало у ленинградских граждан про запас. Да не иссякнут недра
Арсенала, открытые и щедрые – для нас. И мужество сердцам да не изменит, скорбь
о погибших да не замолчит. В своей крови, в своей предсмертной пене вы сами
захлебнетесь, палачи. Вас втопчет в землю вставшая громада, раздавит, растерзает,
разотрет. На грозную защиту Ленинграда вооруженный выступил народ.

«И под огнем на черной шаткой крыше...»

И под огнем на черной шаткой крышеты крикнул мне, не отводя лица: «А если кто-нибудь из нас... Ты слышишь? Другой трагедию досмотрит до конца». Мы слишком рано вышли – в первом акте, но помнил ты, что оставлял. И я не выйду до конца спектакля – его актер, и зритель, и судья. Но, господи, дай раньше умереть, чем мне сказать: «Не стоило смотреть».

«И мы справляли, как могли...»

И мы справляли, как могли, великий день...И, как дерзание, в бомбоубежищах прошли торжественные заседания. Сюда, под землю, принесли наши гордые знамена. А бомбы с грохотом рвались, и с пением мешались стоны...Мы под землю пронесли знамена наши, песни, силу...Мы праздновали, как могли, великий день для всей России...Да, зубы сжав и брови сдвинув, не отведя от смерти глаз, мы отмечали грозный час двадцать четвертой годовщины. И вот сейчас, когда в огнях, в живых огнях трепещет Невский, мне не забыть об этих днях, подобных мужественной песне.

«Покуда небо сумрачное меркнет...»

Покуда небо сумрачное меркнет, мой дальний друг, прислушайся, поверь. Клянусь тебе, клянусь, что мы бессмертны, мы, смертью попирающие смерть. Мы защищаем город наш любимый, все испытанья поровну деля. Клянусь тебе, что мы неистребимы, за нами – наша русская земля. Она могучая, она у нас большая. Припомни-ка простор ее сплошной. Клянусь тебе, мы подвиг совершаем во имя всей земли своей родной. Мы, ленинградцы, ныне держим знамя, мы – Родины передовой отряд. Весь шар земной сейчас следит за нами, пароль и отзыв мира: «Ленинград». Клянусь тебе, у нас не будет трусов. Мы закричим бегущему вослед: «Ты предал нас фашистам. Ты не русский». И не оставим труса на земле. Клянусь тебе, мы страшно будем биться, клянусь тебе – мы скоро победим, и даже смерть отступит, устрашится и рухнет наземь остовом своим.

Гвардейцы

Сорок пятой гвардейской посвящаю

Никто из них не помышлял о славе. О ней ли думать в страшный час, когда родную землю топчет и кровавит проклятая германская орда? Они дрались – и не могли иначе. Они забыли жалость, боль и страх. Что значит боль, когда ребенок плачет, когда молчит под пыткую сестра. Что значит страх, когда с клеймом, с цепями крадется к женщинам и детям враг, чтобы сослать – пожизненно – рабами... Они забыли, что такое страх. Республиканцы, граждане, солдаты красногвардейской выправки былой, их каждый бой кровавой был расплатой за боль и кровь земли своей родной. И, чуя в них свою и мощь, и силу, ту, что врага испепелит до тла, от чизна их сама вознаградила и гвардией своею назвала. О гвардия, твоими именами она гордится в горестные дни, особое тебе вручает знамя: борись под ним, лелей его, храни. О гвардия, где каждый ныне рыцарь, настанет день – и, радуясь, народ простые их, обветренные лица на бронзовых медалях отольет. Не нам искать и добиваться славы. Единственная слава – жизнь твоя. Твое, страна, незыблемое праводарить бессмертье верным сыновьям.

«О, если бы дожить...»

О, если бы дожить – дожить с тобою до самого последнего отбоя. Как долго будет петь тогда рожок в прозрачной и печальной тишине. Живые лягут на землю ничком, уткнув лицо в кровавые ладони, а всех убитых на спину положат, чтобы они смотрели прямо в небо и видели – там нету ничего, и больше самолетов не боялись. Кому дадут сыграть отбой последний, ребенку? Матери? Седому старику? Кому ж доверят возвестить о мире, кому не стыдно будет взять рожок? Глухонемой, незрячий пастушок – ему, наверное, дадут рожок.

Старая гвардия

В дни, когда на фронт пошли полки, чтоб воздать злодеям полной мерой, -на завод вернулись старики, персональные пенсионеры. Их вернулось двадцать, как один, к агрегатам старого завода, все - в суровой красоте седин, верная рабочая порода. Кавалеры многих орденов, выправку хранящие поныне, бывшие сегодняшних врагов в восемнадцатом на Украине. «Разве, - говорят они, - сейчас можем отдыхать мы без заботы? В этот славный и опасный час руки наши требуют работы. У тисков, вагранок и станков, там, где только это будет нужно, -мы заменим воинов-сынов, мы дадим сынам своим оружие». И на приумолкшие станки, не забытые за дни разлуки, тихо положили старикимудрые и любящие руки. И запели светлые резцы, мастеров узнав прикосновенье... Было утро. Шли на фронт бойцы, чтоб принять и выиграть сражение.

Разговор с соседкой

5 декабря 1941 года. Идет четвертый месяц блокады. До пятого декабря воздушные тревоги длились по десять-двенадцать часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба.

Дарья Власьевна, соседка по квартире, сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили почти полгода, полтора ста суток длится бой. Тяжелы страдания народа – наши, Дарья Власьевна, с тобой. О, ночное воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке, бедный ленинградский ломтик хлеба – он почти не весит на руке... Для того чтоб жить в кольце блокады, ежедневно смертный слышать свист – сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви... Столько, что минутами в смятенья сама себя не узнаешь: «Вынесу ли? Хватит ли терпенья?» Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь. Дарья Власьевна, еще немного, день придет – над нашей головой пролетит последняя тревога и последний прозвучит отбой. И какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война в миг, когда толкнем рукою ставни, сдернем шторы черные с окна. Пусть жилище светится и дышит, наполнится покоем и весной... Плачьте тише, смейтесь тише, тише, будем наслаждаться тишиной. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной. Медленными, крупными глотками будем пить румяное вино. А тебе – да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой. Нержавеющей, бессмертной сталью облик твой запечатлят простой. Вот такой же: исхудавшей, смелой, в наскоро повязанном платке, вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкою в руке. Дарья Власьевна, твоею силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть – Россия. Стой же и мужайся, как она!

Армия

Мне скажут - Армия...Я вспомню день - зимой, январский день сорок второго года.Моя подруга шла с детьми домой -они несли с реки в бутылках воду.Их путь был страшен,хоть и недалек.И подошел к ним человек в шинели,взглянул -и вынул хлебный свой паек,трехсотграммовый, весь обледенелый.И разломил, и детям дал чужим,и постоял, пока они поели.И мать рукою серою, как дым,дотронулась до рукава шинели.Дотронулась, не посветлев в лице...Не ведал мир движенья благодарней!Мы знали всё о жизни наших армий,стоявших с нами в городе, в кольце....Они расстались. Мать пошла направо,боец вперед - по снегу и по льду.Он шел на фронт, за Нарвскую заставу,от голода качаясь на ходу.Он шел на фронт, мучительно палимстыдом отца, мужчины и солдата:огромный город умирал за нимв седых лучах январского заката.Он шел на фронт, одолевая бред,всё время помня - нет, не помня - зная,что женщина глядит ему вослед,благодаря его, не укорая.Он снег глотал, он чувствовал с досадой,что слишком тяжелеет автомат,добрел до фронта и пополз в засадуна истребленье вражеских солдат..... Теперь ты понимаешь - почемунет армии на всей земле любимей,нет преданней ее народу своему,великодушной и непобедимей!

29 января 1942 года

Памяти друга и мужа Николая Степановича Молчанова

Отчаяния мало. Скорби мало. О, поскорей отбыть проклятый срок! А ты своей любовью небывалой меня на жизнь и мужество обрек. Зачем, зачем? Мне даже не баюкать, не пеленать ребенка твоего. Мне на земле всего желанней мука и немота понятнее всего. Ничьих забот, ничьей любви не надо. Теперь одно всего нужнее мне: над братскою могилой Ленинграда в молчании стоять, оцепенев. И разве для меня победы будут? В чем утешение себе найду?! Пускай меня оставят и забудут. Я буду жить одна - везде и всюду в твоём последнем пасмурном бреду... Но ты хотел, чтоб я живых любила. Но ты хотел, чтоб я жила. Жила всей человеческой и женской силой. Чтоб всю её истратила до дна. На песни. На пустячные желанья. На страсть и ревность - пусть придёт другая. На радость. На тяжчайшие страдания единственною русскою землею. Ну что ж, пусть будет так...

Февральский дневник

Поэма

Был день как день. Ко мне пришла подруга, не плача, рассказала, что вчера единственного схоронила друга, и мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова, я тоже – ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном... И стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька образовалось лунное колечко, похожее на радугу слегка. Когда немного посветлело небо, мы вместе вышли за водой и хлебами услышали дальней канонады рыдающий, тяжелый, мерный гул: то Армия рвала кольцо блокады, вела огонь по нашему врагу. А город был в дремучий убран иней. Уездные сугробы, тишина... Не отыскать в снегах трамвайных линий, одних полозьев жалоба слышна. Скрипят, скрипят по Невскому полозья. На детских санках, узеньких, смешных, в кастрюльках воду голубую возят, дрова и скарб, умерших и больных... Так с декабря кочуют горожанеза много верст, в густой туманной мгле, в глуши слепых, обледеневших зданий отыскивая угол потеплей. Вот женщина ведет куда-то мужа. Седая полумаска на лице, в руках бидончик – это суп на ужин. Свистят снаряды, свирепеет стужа... «Товарищи, мы в огненном кольце». А девушка с лицом заиндевелым, упрямо стиснув почерневший рот, завернутое в одеяло телона Охтинское кладбище везет. Везет, качаясь, – к вечеру добраться б... Глаза бесстрастно смотрят в темноту. Скинь шапку, гражданин! Провозят ленинградца, погибшего на боевом посту. Скрипят полозья в городе, скрипят... Как многих нам уже недосчитаться! Но мы не плачем: правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало. Нам ненависть заплакать не дает. Нам ненависть залогом жизни стала: объединяет, греет и ведет. О том, чтоб не простила, не щадила, чтоб мстила, мстила, мстила, как могу, ко мне взывает братская могила на Охтинском, на правом берегу. Как мы в ту ночь молчали, как молчали... Но я должна, мне надо говорить с тобой, сестра по гневу и печали: прозрачны мысли и душа горит. Уже страданиям нашим не найти меры, ни названья, ни сравнения. Но мы в конце тернистого пути знаем – близок день освобождения. Наверно, будет грозный этот день давно забытой радостью отмечен: наверное, огонь дадут везде, во все дома дадут, на целый вечер. Двойною жизнью мы сейчас живем: в кольце, во мраке, в голоде, в печали мы дышим завтрашним, свободным, щедрым днем, мы этот день уже завоевали. Враги ломались в город наш свободный, – крошились камни городских ворот... Но вышел на проспект Международный вооруженный трудовой народ. Он шел с бессмертным возгласом в груди: «Умрем, но Красный Питер не сдадим!» Красногвардейцы, вспомнив о былом, формировали новые отряды, и собирал бутылки каждый дом, и собственную строил баррикаду. И вот за это долгими ночами пытал нас враг железом и огнем... «Ты сдашься, струсил, – бомбы нам кричали, – забьешься в землю, упадешь ничком. Дрожа, запросят плена, как пощады, не только люди – камни Ленинграда!» Но мы стояли на высоких крышах закинутою к небу головой, не покидали хрупких наших вышек, лопату сжав немеющей рукой... Настанет день, и, радуясь, спеша, еще печальных не убрав развалин, мы будем так наш город украшать, как люди никогда не украшали. И вот тогда на самом стройном зданье, лицом к восходу солнца само поставим мраморное изваяние простого труженика ПВО. Пускай стоит, всегда зарей объятый, так, как стоял, держа неравный бой: с закинутою к небу головой, с единственным оружием – лопатой. О древнее орудие земное, лопата, верная сестра земли! Какой мы путь немислимый с тобою от баррикад до кладбища прошли! Мне и самой порою не понять всего, что выдержали мы с тобою... Пройдя сквозь пытки страха и огня, мы выдержали испытание боем. И каждый, защищавший Ленинград, вложивший руку в пламенные раны, не просто горожанин, а солдат, по мужеству подобный ветерану. Но тот, кто не жил с нами, – не поверит, что в сотни раз почетней и трудней в блокаде, в окружении палачей не превратиться в оборотня, в зверя..... Я никогда героине не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я

не геройствовала, а жила. И не хвалюсь я тем, что в дни блокадыне изменяла радости земной, что как роса сияла эта радость, угрюмо озаренная войной. И если чем-нибудь могу гордиться, то, как и все друзья мои вокруг, горжусь, что до сих пор могу трудиться, не складывая ослабевших рук. Горжусь, что в эти дни, как никогда, мы знали вдохновение труда. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть как тень тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурно дышали, что внуки позавидовали б нам. О да, мы счастье страшное открыли – достойно не воспетое пока, – когда последней коркою делились, последнею щепоткой табака; когда вели полночные беседы бедного и дымного огня, как будем жить, когда придет победа, всю нашу жизнь по-новому ценя. И ты, мой друг, ты даже в годы мира, как полдень жизни, будешь вспоминать дом на проспекте Красных Командиров, где тлел огонь и дуло от окна. Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод. Ликуя, плача, сердце позовети эту тьму, и голос мой, и холод, и баррикаду около ворот. Да здравствует, да царствует всегда простая человеческая радость, основа обороны и труда, бессмертие и сила Ленинграда! Да здравствует суровый и спокойный, глядевший смерти в самое лицо, удушливое вынесший кольцо как Человек, как Труженик, как Воин! Сестра моя, товарищ, друг и брат, ведь это мы, крещенные блокадой! Нас вместе называют – Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом. Двойною жизнью мы сейчас живем: в кольце и стуже, в голоде, в печали, мы дышим завтрашним, счастливым, щедрым днем – мы сами этот день завоевали. И ночь ли будет, утро или вечер, но в этот день мы встанем и пойдем воительнице-армии навстречу в освобожденном городе своем. Мы выйдем без цветов, в помятых касках, в тяжелых ватниках, в промерзших полумасках, как равные, приветствуя войска. И, крылья мечевидные расправив, над нами встанет бронзовая Слава, держа венок в обугленных руках.

Ленинградская поэма

Я как рубеж запомню вечер: декабрь, безогненная мгла, я хлеб в руке домой несла, и вдруг соседка мне навстречу. «Сменяй на платье, – говорит, – менять не хочешь – дай по дружбе. Десятый день, как дочь лежит. Не хороню. Ей гробик нужен. Его за хлеб скотят нам. Отдай. Ведь ты сама рожала...» И я сказала: «Не отдам». И бедный ломоть крепче сжала. «Отдай, – она просила, – ты сама ребенка хоронила. Я принесла тогда цветы, чтоб ты украсила могилу»... Как будто на краю земли, одни, во мгле, в жестокой схватке, две женщины, мы рядом шли, две матери, две ленинградки. И, одержимая, она молила долго, горько, робко. И сил хватило у меня не уступить мой хлеб на гробик. И сил хватило – привестиее к себе, шепнув угрюмо: «На, съешь кусочек, съешь... прости! Мне для живых не жаль – не думай»... Прожив декабрь, январь, февраль, я повторяю с дрожью счастья: мне ничего живым не жаль – ни слез, ни радости, ни страсти. Перед лицом твоим, Война, я поднимаю клятву эту, как вечной жизни эстафету, что мне друзьями вручена. Их множество – друзей моих, друзей родного Ленинграда. О, мы задохлись бы без них в мучительном кольце блокады. Вот предо мной письмо бойца. Он – с Ладоги, а сам – волжанин. Я верных рук ему не жала, не видела его лица. Но знаю – друга нет верней, надежней, преданней, бесстрашней, его письмо – письмо к жене – твердит о давней дружбе нашей. Он пишет: «Милая Наташа, прочти и всей родне скажи: спасибо вам за ласку вашу, за вашу правильную жизнь. Но я прошу, Наташа, очень: ты не пиши, как прошлый раз, мол, «пожалей себя для дочки, побереги себя для нас...». Мне стыдно речи эти слушать! Прости, любимая, пойми, что Ленинград ожег мне душусвоими бедными детьми. Я в Ленинграде, правда, не был, но знаю – говорят бойцы: там дети плачут, просят хлеба, а хлеба нет... А мы отцы... И я, как волка, караулю фашиста – сутками в снегу, и от моей свирепой пули пощады не было врагу. Лежу порою – до костей достигнет снег. Дрожу, устану... Уйти? А вспомню про детей – зубами скрипну – и останусь. «Нет, – говорю, – позорный гад, палач детей, я здесь, я слышу. На, получай еще заряд за ленинградских ребятишек»... Наташа, береги Катюшу, но не жалея меня, жена. Не обижай тревогой душу, в которой ненависть одна. Нельзя дышать, нельзя, жена, когда дитя за хлебом плачет... Да ты не бойся за меня. А как я жить могу – иначе?» О да – иначе не могли ни те бойцы, ни те шоферы, когда грузовики вели по озеру в голодный город. Холодный ровный свет луны, снега сияют испуганно, и со стеклянной вышины врагу отчетливо видны внизу идущие колонны. И воеет, воеет небосвод, и свищет воздух, и скрежетет, под бомбами ломаясь, лед, и озеро в воронки плещет. Но вражеской бомбежки хуже, еще мучительней и злей – сорокаградусная стужа, владывающая на земле. Казалось – солнце не взойдет. Навеки ночь в застывших звездах, навеки лунный снег, и лед, и голубой свистящий воздух. Казалось, что конец земли... Но сквозь остывшую планету на Ленинград машины шли: он жив еще. Он рядом где-то. На Ленинград, на Ленинград! Там на два дня осталось хлеба, там матери под темным небом толпой у булочной стоят, и дрогнут, и молчат, и ждут, прислушиваются тревожно: «К заре, сказали, привезут...» «Гражданочки, держаться можно...» И было так: на всем ходу машина задняя осела. Шофер вскочил, шофер на льду. «Ну, так и есть – мотор заело. Ремонт на пять минут, пустяк. Поломка эта – не угроза, да рук не разогнуть никак: их на руле свело морозом. Чуть разогнешь – опять сведет. Стоять? А хлеб? Других дожидаться? А хлеб – две тонны? Он спасет шестнадцать тысяч ленинградцев». И вот – в бензине руки он смочил, поджег их от мотора, и быстро двинулся ремонт в пылающих руках шофера. Вперед! Как ноют волдыри, примерзли к варежкам ладони. Но он доставит хлеб, пригонит хлебпекарне до зари. Шестнадцать тысяч матерей пайки получают на заре – сто двадцать пять блокадных граммс огнем и кровью пополам... О, мы познали в декабре – не зря «священным даром» назван обычный хлеб, и тяжкий грех – хотя бы крошку бросить наземь: таким людским страданьем он, такой большой любовью братской для нас отныне освящен, наш хлеб насущный, ленинградский. Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. Еще не знают на землестрашной и радостней дороги. И я навеки тобой горда, сестра моя, москвичка Маша, за твой февральский путь сюда, в блокаду к нам, дорогой нашей. Золотоглаза и строга, как пруттик, тоненькая станом, в огромных

русских сапогах, в чужом тулупчике, с наганом, – и ты рвалась сквозь смерть и лед, как все, тревогой одержима, – моя отчизна, мой народ, великодушный и любимый. И ты вела машину к нам, подарков полную до края. Ты знала – я теперь одна, мой муж погиб, я голодаю. Но то же, то же, что со мной, со всеми сделала блокада. И для тебя слились в одной я, и горе Ленинграда. И, ночью плача за меня, ты забирала на рассветах в освобожденных деревнях посылки, письма и приветы. Записывала: «Не забыть: деревня Хохрино. Петровы. Зайти на Мойку, сто один, к родным. Сказать, что все здоровы, что Митю долго мучил фриц, но мальчик жив, хоть очень слабый...» О страшном плене до заритебе рассказывали бабыи лук собирали по дворам, в холодных, разоренных хатах: «На, питерцам свезешь, сестра. Проси прощенья – чем богаты...» И ты рвалась – вперед, вперед, как луч, с неодолимой силой. Моя отчизна, мой народ, родная кровь моя, – спасибо! О, сквозь кольцо пробитый путь, единственный просвет в отчизну! Но враг хотел кольцо замкнуть совсем. Отнять дорогу к жизни. Был Тихвин взят. Рыча и злясь, фашисты лезут к Волховстрою. Всё туже смертная петля на горле города-героя. Нет! Не дадим петлю стянуть! Дорогу к городу – не троньте! И бьются за последний путь солдаты Северного фронта. Войскам приказ – идти в атаку. Заданье получает взвод, где командир Семен Потапов. Он говорит: «Бойцы, вперед! Сейчас рубеж займем. За ним враги. Они хотят прорваться. Смелей, бойцы! Не предадим железный подвиг ленинградцев!» Огонь. Ползут. «Вставай!» Рванулись. «За мною!» – крикнул командири вдруг упал с немецкой пулей, с проклятой пулей в груди. Бойцы – к нему. Но промедленьев атаке – проигрыш, конец. И командир в самозабвенье кричит: «Не подходить ко мне! За Ленинград – вперед!» Неистового приказ. И верен взвод. И, прыгая через него, летит вперед и мнет фашистов. Штыки вонзает на бегу в черно-зеленые мундиры. А он остался на снегу, как сотни красных командиров, как сотни тех, кто вел и звал, к себе не ведая пощады, своею смертью смерть попрали, вивавшую над Ленинградом. А он лежал в крови густой, ничком, с простертыми руками, как будто прикрывал собой под ним распластанное знамя. И что же – верно: кровь свою он, точно стяг, легко и гордо пронес в решающем бою за жизнь твою, любимый город. За дочку, за жену, за мать, в ком эта жизнь горит и бьется, кто будет ждать его – так ждать, как ждут того, кто не вернется. Вот так, исполнены любви, из-за кольца, из тьмы разлуки друзья твердили нам: «Живи!», друзья протягивали руки. Оледеневшие, в огне, в крови, пронизанные светом, они вручили вам и мне единой жизни эстафету. Безмерно счастье мое. Спокойно говорю в ответ им: «Друзья, мы приняли ее, мы держим вашу эстафету. Мы с ней прошли сквозь дни зимы. В давящей мгле ее страданий всей силой сердца жили мы, всем светом творческих дерзаний. Да, мы не скроем: в эти дни мы ели клей, потом ремни; но, съев похлебку из ремней, вставал к станку упрямый мастер, чтобы точить орудий части, необходимые войне. Но он точил, пока рукамогла производить движенье, а если падал – у станка, как падают солдаты в сраженьи. Но люди слушали стихи, как никогда, – с глубокой верой, в квартирах черных, как пещеры, у репродукторов глухих. И обмерзающей рукой, перед копилкой, в стуже адской, гравировал гравер седой особый орден – ленинградский. Колючей проволокой он, как будто бы венцом терновым, кругом – по краю – обведен, блокады символом суровым. В кольце, плечом к плечу, втроем – ребенок, женщина, мужчина под бомбами, как под дождем, стоят, глаза к зениту вскинув. И надпись сердцу дорога – она гласит не о награде, она спокойна и строга: «Я жил зимою в Ленинграде». Гравер не получал заказ. Он просто верил – это надо. Для тех, кто борется, для нас, кто должен выдержать блокаду. Так дрались мы за рубежитвой, возлюбленная Жизнь! И я, как вы, – упряма, зла – за них сражалась, как умела. Душа, крепясь, превозмогла предательскую немощь тела. И я утрату понесла. К ней не притронусь даже словом – такая боль... И я смогла, как вы, подняться к жизни снова. Затем, чтоб вновь и вновь сражаться за жизнь. Носитель смерти, враг – опять над каждым ленинградцем заносит кованый кулак. Но, не волнуясь, не боясь, гляжу в глаза грядущим схваткам: ведь ты со мной, страна моя, и я не даром – ленинградка. Под эстафетой вечной жизни, тобой врученною, отчизна, иду с тобой путем единым, во имя мира твоего, во имя будущего сына и светлой песни для него. Для дальней полночи счастливой ее, заветную мою, сложила я нетерпеливо сейчас, в блокаде и в бою. Не за нее ль идет война?

Не за нее ли ленинградцамеще бороться, и мужаться,и мстить без меры?..Вот она:«Здравствуй, крестниккрасных командиров, милый вестник,вестник мира.Сны тебе спокойные приснятся -битвы стихлина земле ночной.Людинеба больше не бояться,неба, озаренного луной.В синей-синей глубине эфирамолодые облака плывут.Над могилой красных командировмудрые терновники цветут.Ты проснешьсяна земле цветущей,вставшей не для боя - для труда.Ты услышишьласточек поющих:ласточки вернулись в города.Гнезда вьют они - и не бояться!Вьют в стене пробитой, под окном:крепче будетгнездышко держаться,люди больше не покинут дом.Так чиста теперь людская радость,точно к миру прикоснулась вновь.Здравствуй, сын мой,жизнь моя,награда,здравствуй, победившая любовь!»Вот эта песнь. Она проста,она - надежда и мечта.Но даже и мечту врагихотят отнять и обесчестить.Так пусть гремит сегодня гимнодной неутолимой мести!Пусть только ненависть сейчас,как жажда, жжет уста народа,чтоб возвратить желанный часлюбви, покоя и свободы!

Севастополю

О, скорбная весть – Севастополь оставлен...Товарищи, встать, как один, перед ним, пред городом мужества, городом славы, пред городом – доблестным братом твоим! Но мы не хотим и не будем прощаться с тобой, не смирившийся город-солдат: ты жив, ты в сердцах москвичей, сталинградцев, дыхание твое бережет Ленинград. Мы знаем, на всех пламенеющих тропах, со всеми, кто бьет ненавистных врагов, идет Севастополь, родной Севастополь, и кровь, и огонь от его берегов... Промчится година железа и горя, мы кончим победою наши бои – у теплого моря, у синего моря он встанет опять из развалин своих. Нет, только не плачь – мы не чтим его память, и этой минуты великая тишь затем, чтоб сказать: «Севастополь, ты с нами! Ты с нами, ты бьешься, ты победишь».

«Подводная лодка уходит в поход...»

Капитану подводной лодки Грищенко

Подводная лодка уходит в поход в чужие моря и заливы. Ее провожают Кронштадт и Кроншлоты встречи желают счастливой. Последний привет с боевых катеров, и вот уж нельзя разглядеть их, и мы далеко от родных берегов, близко от славы и смерти. Нас мало, мы горсточка русских людей в подводной скорлупке железной. Мы здесь одиноки среди минных полей в коварной и губительной бездне. Но вот над подлодкой идет караван, груженный оружием проклятым. Ты врешь! Ни эсминцы твои, ни туман тебя не спасут от расплаты. Пора, торпедисты! И точно в упор взорвутся наши торпеды. Республика, выполнен твой приговор во имя грядущей победы! И с берега видит расправу с врагом земляк наш, томимый в рабстве. Мужайся, товарищ, – мы скоро придем, мы помним о долге и братстве. Подводная лодка обратно спешит, Балтийское выдержав слово. Ты долго ее не забудешь, фашист, и скоро почувствуешь снова... Заносит команда на мстительный счет пятерку немецких пиратов. И гордо подводная лодка идет в любимые воды Кронштадта.

Ленинградская осень

Блокада длится... Осенью сорок второго года ленинградцы готовятся ко второй блокадной зиме: собирают урожай со своих огородов, сносят на топливо деревянные постройки в городе. Время огромных и тяжелых работ.

Ненастный вечер, тихий и холодный. Мельчайший дождик сыплется впотьмах. Прямой-прямой пустой Международный в огромных новых нежилых домах. Тяжелый свет артиллерийских вспышек озаряет контуры колонн, то статуи, стоящие на крышах, то барельеф из каменных знамени стены – сплошь в пробоинах снарядов... А на проспекте – кучка горожан: трамвая ждут у ржавой баррикады, ботву и доски бережно держа. Вот женщина стоит с доской в объятьях; угрюмо сомкнуты ее уста, доска в гвоздях – как будто часть распятия, большой обломок русского креста. Трамвая нет. Опять не дали тока, а может быть, разрушил путь снаряд... Опять пешком до центра – как далеко! Пошли... Идут – и тихо говорят. О том, что вот – попался дом проклятый, стоит – хоть бомбой дерево ломай. Спокойно люди жили здесь когда-то, надолго строили себе дома. А мы... Поежились и замолчали, разбомбленное зданье обходя. Прямой проспект, пустой-пустой, печальный, и граждане под сеткою дождя.... О, чем утешить хмурых, незнакомых, но кровно близких и родных людей? Им только б доски дотащить до дома и ненадолго руки снять с гвоздей. И я не утешаю, нет, не думай – я утешеньем вас не оскорблю: я тем же каменным, сырым путем угрюмым тащусь, как вы, и, зубы сжав, – терплю. Нет, утешенья только душу ранят – давай молчать... Но странно: дни придут, и чьи-то руки пепел соберут из наших нищих, бедственных времянок. И с трепетом, почти смешным для нас, снесут в музей, пронизанный огнями, и под стекло положат, как алмаз, невзрачный пепел, смешанный с гвоздями! Седой хранитель будет объяснять потомкам, приходящим изумляться: «Вот это – след Великого Огня, которым согревались ленинградцы. В осадных, черных, медленных ночах, под плач сирен и орудейный грохот, в их самодельных временных печах дотла сгорела целая эпоха. Они спокойно всем пренебрегли, что не годилось для сопротивления, всё отдали победе, что могли, без мысли о признании в поколениях. Напротив, им казалось по-другому: казалось им порой – всего важнее охапку досок дотащить до дома и ненадолго руки снять с гвоздей..... Так, день за днем, без жалобы, без стоана, невольный вздох – и тот в груди сдавив, они творили новые законы людского счастья и людской любви. И вот теперь, когда земля светла, очищена от ржавчины и смрада, – мы чтим тебя, священная зола из бедственных времянок Ленинграда...»... И каждый, посетивший этот прах, смелее станет, чище и добрее, и, может, снова душу мир согреет у нашего блокадного костра.

Отрывок

...Октябрьский дождь стучит в квадратоконный, глухие залпы слышатся вдали. На улицах, сырых и очень темных, одни сторожевые патрули. Мерцает желтый слепенький фонарик, и сердце вдруг сжимается тоской, когда услышишь: «Пропуск ваш, товарищ...» Как будто б ты нездешний и чужой. «Вот пропуск мой. Пожалуйста, проверьте. Я здешняя, и этот город – мой. У нас одно дыханье, дума, сердце... Я здешняя, товарищ постовой».... Но я живу в квартире, где зимою чужая чья-то вымерла семья. Всё, что кругом, – накоплено не мною. Всё – не мое, как будто б я – не я. И точно на других широтах мира, за целых два квартала от меня, моя другая – прежняя квартира, без запаха жилого, без огня. Я редко прихожу туда, случайно. Войду – и цепенею, не дыша: еще не бывшей на земле печалью без слез, без слов терзается душа... Да, у печали этой нет названия. Не выплачешь, не выскажешь ее, и лишь фанерных ставенек стенанье негромкое – похоже на нее. А на стекле – полоски из бумаги, дождями покороблены, желты: неведенья беспомощные знаки, зимы варфоломеевской кресты. Недаром их весною отдирали, кто в жилье случайно уцелел, и только в нежилых домах остались бумажные полоски на стекле. Моя квартира прежняя пуста, ее окошки в траурных крестах. Да я ли здесь жила с тобой? Да я ли кормила здесь когда-то дочерей? Меня ль, меня ль глаза твои встречали у теплых, у клеенчатых дверей? Ты вскакивал, ты выбегал к порогу, чуть делались шаги мои слышны. Ты восклицал: «Пришла? Ну, слава богу!» А было тихо – не было войны. И странно: в дни обстрелов и бомбежек, когда свистела смерть на всех углах, ты ждал меня, ни капли не тревожась, как будто б я погибнуть не могла; как будто б я была заговоренной несокрушимой верностью твоей. И тот же взгляд – восторженный, влюбленный – встречал меня у дорогих дверей. Я всё отдам – любовь, и вдохновение, и славу, щедро данную войной, – за ту одну минуту возвращенья тебе, под кров домашний, старый, мой... Как будто я ослепла и оглохла: не услышать тебя, не увидеть. Я слышу только дождь: он бьется в стекла, и только дождь такой же, как тогда...

Сталинграду

19 ноября 1942 года началось наше наступление на Сталинградском фронте.

Мы засыпали с думой о тебе. Мы на заре включали репродуктор, чтобы услышать о твоей судьбе. Тобою начиналось наше утро. В заботах дня десятки раз подряд, сжимая зубы, затаив дыхание, твердили мы: «Мужайся, Сталинград!» Сквозь наше сердце шло твое страдание. Сквозь нашу кровь струился горячий поток твоих немыслимых пожаров. Нам так хотелось стать к плечу плечом на себя принять хоть часть ударов!... А мне все время вспоминалась ночь в одном колхозе дальнем, небогатом, ночь перед первой вспашкой, в тридцатом, второй большевистской весной. Степенно, важно, радостно и строго готовились колхозники к утру, с мечтой о новой жизни, новом строе, с глубокой верой в новый, общий труд. Их новизна безмерная, тревожа, еще страшилась... Но твердил народ: «Нам Сталинградский тракторный поможет...» «Нам Сталинград коней своих пришлет». Нет, не на стены зданий и заводов, проклятый враг, заносишь руку ты: ты покусишься на любовь народа, ты замахнулся на оплот мечты! И встала, встала пахарей громада, как воины они сюда пришли, чтобы с рабочим классом Сталинграда спасти любимца трудовой земли. О том, что было страшным этим летом, — еще расскажут: песня ждет певца. У нас в осаде, за чертой кольца, все озарялось сталинградским светом. И, глядя на развалины твои (о, эти снимки в «Правде» и в «Известиях!»), мы забывали тяготы свои, мы об одном молили: «Мести, мести!» И пробил час. Удар обрушен первый — от Сталинграда пятится злодей. И ахнул мир, узнав, что значит верность, что значит ярость верящих людей. А мы не удивились, нет! Мы знали, что будет так: полмесяца назад зря солдатской клятвой обменялись два брата: Сталинград и Ленинград. Прекрасна и сурова наша радость. О Сталинград, в час гнева твоего прими земной поклон от Ленинграда, от воинства и гражданства его!

Песня о жене патриота

Хорошие письма из дальнего тыла сержант от жены получал. И сразу, покамест душа не остыла, друзьям по оружию читал. А письма летели сквозь дымные ветры, сквозь горькое пламя войны, в зеленых, как вешние листья, конвертах, сердечные письма жены. Писала, что родиной стал из чужбины далекий сибирский колхоз. Жалела, что муж не оставил ей сына, - отца б дожидался да рос... Читали - улыбка с лица не скрывалась, читали - слезы не сдержав. «Хорошая другу подружка досталась, будь счастлив, товарищ сержант! Пошли ей, сержант, фронтовые приветы, земные поклоны от нас. Совет да любовь вам, да ласковых деток, когда отгрохочет война...» А ночью прорвали враги оборону - отчизне грозила беда. И пал он обычною смертью героя, заветный рубеж не отдав. Друзья собрались и жене написали, как младшей сестре дорогой: «Поплачь, дорогая, убудет конверте, зеленом, как листья весной. И всем показалось, что не было смерти, что рядом их друг боевой. «Спасибо за дружбу, отважная рота, но знайте, - писала она, - не плачет, не плачет вдова патриота, покамест бушует война. Когда же сражений умолкнут раскаты и каждый к жене заспешит, в тот день я, быть может, поплачу, солдаты, по-женски поплачу, навзрыд...»... Так бейся же насмерть, отважная рота, готовь же отмщенье свое - за то, что не плачет вдова патриота, за бедное сердце ее...

«...Третья зона, дачный полустанок...»

...Третья зона, дачный полустанок, у перрона – тихая сосна. Дым, туман, струна звенит в тумане, невидимкою звенит струна. Здесь шумел когда-то детский лагерь на веселых ситцевых полях... Всю в ромашках, в пионерских флагах, как тебя любила я, земля! Это фронт сегодня. Сотня метров до того, кто смерть готовит мне. Но сегодня – тихо. Даже ветер не шумит совсем. Легко звучать струне. И звенит, звенит струна в тумане... Светлая, невидимая, пой! Как ты плачешь, радуешься, манишь, кто тебе поведал, что со мной? Мне сегодня радостно до боли, я сама не знаю – отчего. Дышит сердце небывалой волей, силою расцвета своего. Знаю, смерти нет: не подкрадется, не задушит медленно она, – просто жизнь сверкнет и оборвется, точно песней полная струна.... Как сегодня тихо здесь, на фронте. Вот среди развалин, над трубой, узкий месяц встал на горизонте, деревенский месяц молодой. И звенит, звенит струна в тумане, о великой радости моля... Всю в крови, в тяжелых, ржавых ранах, я люблю, люблю тебя, земля!

Морякам-ладожцам

Посвящается морякам Ладожской военной флотилии

Споём, друзья, споём себе на радость той дороге синей, водяной. С Большой земли к герою Ленинграду она идет по Ладоге родной. Враги кольцом смертельным окружали любимый город, нашу колыбель. «Ты не умрешь, – сказали ладожане, – страна придет по Ладоге к тебе». *Припев:* Звени, как бубен, сияй, как радуга, любимой песней живи в сердцах, Дорога жизни, родная Ладога, оруженосец города-бойца! Споём, друзья, о наших капитанах: в грозу и шторм, и полночью и днём они бесстрашно водят караваны под ураганным вражеским огнём. На берегах унылых и печальных, где жили чайки да заря, как в грозной сказке, выросли причалы корабли бросают якоря. *Припев:* Звени, как бубен, сияй, как радуга *и т. д.* Здесь каждый грузчик не жалеет силы, он за погрузку бьётся, как солдат. Пускай скорей дары со всей России с улыбкой счастья примет Ленинград. И хоть гремит под грохотом орудий война на том и этом берегу, но этот труд Россия не забудет! Ленинградцы в сердце сберегут. *Припев:* Звени, как бубен, сияй, как радуга *и т. д.*

«Ты слышишь ли? Живой и влажный ветер...»

Ты слышишь ли? Живой и влажный ветер в садах играет, ветки шевеля!
Ты помнишь ли, что есть еще на светеземной простор, дороги и поля? Мне в городе,
годами осажденном, в том городе, откуда нет путей, всё видится простор
освобожденный в бескрайней, дикой, русской красоте. Мне в городе, где нет зверей
домашних, ни голубей – хотя б в одном окне, – мерещатся грачи на рыжих
пашнях деда Мазай с зайчатами в челне. Мне в городе, где нет огней вечерних, где
только в мертвой комнате окнопорою вспыхнет, не затемнено, а окна у живых –
чернее черни, – так нужно знать, что всё, как прежде, живо, что где-то в глубине
родной страны всё те же зори, журавли, разливы, и даже города освещены; так
нужно знать, что всё опять вернется оттуда, из глубин, сюда, где тьма, – что я,
наверно, не смогла б бороться, когда б не знала этого сама!

«Влажен ветер, и небо сине...»

Влажен ветер, и небо сине, древним счастьем душа полна. Это вновь на равнины России, торжествуя, приходит весна. С белой вербой, с грачами, с капелью, с буйным запахом темной земли, с деревянной пастушьей свирелью за березовой рощей вдали. Петухи кричат торопливо – солнце красное, глянь в окно, выйди, пахарь, на милую ниву, выйди, сеятель, кинь зерно. Ты приходишь такой же, как прежде, Ярославна, княгиня, весна. Только ныне ты в ратной одежде и название твое – Война. На огромные нивы Отчизны, где смертельные битвы прошли, выйди, пахарь, во имя жизни, ради жаждущей жизни земли. Выйди, пахарь, и встань, как воин, к плугу верному своему, ржавый Марс горит над тобою в боевом весеннем дыму. Выйди, сеятель, горстью щедрой животворное брось зерно в эти борозды, в эти недра, грозно вспаханные войной. Чтоб в росе, в золотистом глянце, не ломаясь под грозой, каждый колос встал новобранцем, рыжеусый и молодой. Плодоносный взывает ветер, гордо радуги окружают нашу силу, наше бессмертье, наш воинственный урожай.

Моя медаль

3 июня 1943 года тысячам ленинградцев были вручены первые медали «За оборону Ленинграда».

...Осада длится, тяжкая осада, невиданная ни в одной войне. Медаль за оборону Ленинграда сегодня Родина вручает мне. Не ради славы, почестей, награды здесь жила и всё могла снести: медаль «За оборону Ленинграда» со мной как память моего пути. Ревнивая, безжалостная память! И если вдруг согнет меня печаль, я до тебя тогда коснусь руками, медаль моя, солдатская медаль. Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо, чтоб стать еще упрямей и сильнее... Взывай же чаще к памяти моей, медаль «За оборону Ленинграда»... Война еще идет, еще - осада. И, как оружие новое в войне, сегодня Родина вручила мне медаль «За оборону Ленинграда».

Победа

В сентябре 1943 года войска Ленинградского фронта заняли высоту около Синявино, с которой враг вел обстрел единственной железной дороги в Ленинград... Это было в дни блистательных наших побед на Украине.

Мой друг пришел с Синявинских болотна краткий отдых, сразу после схватки,еще не смыв с лица горячий пот,не счистив грязь с пробитой плащ-палатки.Пока в передней, тихий и усталый,он плащ снимал и складывал пилотку, -я, вместо «здравствуй», крикнула:«Полтава!»«А мы, - сказал он, - заняли высоту...»В его глазах такой хороший светзажегся вдруг, что стало ясно мне:нет ни больших, ни маленьких побед,а есть одна победа на войне.Одна победа, как одна любовь,единое народное усилъе.Где б ни лилась родная наша кровь,она повсюду льется за Россию.И есть один - один военный труд,вседневный, тяжкий, страшный,невоспетый,но в честь него Москва дает салюти, затемненная, исходит светом.И каждый вечер, слушая приказиль торжество пророчашую сводку,я радуюсь, товарищи, за вас,еще не перечисленных сейчас,занявших безымянную высоту...

День января

Ты слышишь, товарищ, орудия бьют? О, это расплаты начало. Все ближе и ближе наш праведный суд над немцами-палачами. Высокую верность России храня - так знамя гвардейцы хранят, - давно дожидается этого дня истерзанный Ленинград. И в грозный день января - с утра - он вымолвил огненное: «Пора!» Врагам не уйти и следов не укрыть - мы всюду нагоним их. Мы на Волковом кладбище будем судить виновников страшной зимы. Не будет суда справедливей, страшней возмездия в мире не будет: безмолвие гневное братских траншей преступников к смерти присудит. В земле и железе, везде их найдем. Не спрячутся никуда. На угол Садовой мы их приведем, на горькую площадь Труда. Тех самых, что целились по ночам, как воры, во мраке скрываясь по детским больницам, по спящим домам, по всем остановкам трамваев. Мы помним минуту в минуту, когда обрушились смерть и железо сюда. Товарищ, ты слышишь, орудия гремят уверенно и напряженно. Смелее преследуй фашиста, солдат. Мужайтесь, невесты и жены. Высокую верность и гордость храня, давно дожидались мы этого дня. Он грянул. И, гневом священным горя, орудия говорят: этот торжественный день января запомни навек, Ленинград!

Наш сад

Ты помнишь ли сиянье Петергофа, дремучие петровские сады этот влажный лепет, бред и вздох всегда живой, хлопочущей воды? Так много было здесь тепла и света, что в городе зимою, в пору вьюг, всё мнилось мне: а в Петергофе – лето, алмазный, синий праздничный июль. Молчи – увы! Волшебный сад изрублен, мертвы источники с живой водой, и праздник человечества поруган свирепой чужеземною ордой.... Но мы пришли к тебе, земная радость – тебя не вытоптать, не истребить. Но мы пришли к тебе, стоящей рядом, тысячеверстной дорогой битв. Пришли – и, символом свершенной мести, в знак человеческого торжества воздвигнем вновь, на том же самом месте, Самсона, раздирающего льва. И вновь из пепла черного, отсюда, где смерть и прах, восстанет прежний сад. Да будет так! Я твердо верю в чудо: ты дал мне эту веру, Ленинград.

Ленинградский салют

27 января 1944 года Ленинград салютовал 24 залпами из 324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады – разгрома немцев под Ленинградом.

...И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат. О, это полной грудью дышит Освобожденный Ленинград!... Мы помним осень, сорок первый, прозрачный воздух тех ночей, когда, как плети, часто, мерно свистели бомбы палачей. Но мы, смиряя страх и плач, твердили, диким взрывам внемля: «Ты проиграл войну, палач, едва вступил на нашу землю!» А та зима... Ту зиму каждый запечатлел в душе навек – тот голод, тьму, ту злую жажду на берегах застывших рек. Кто жертв не предал дорогих земле голодной ленинградской – без бранных почестей, нагих, в одной большой траншее братской?! Но, позабыв, что значит плач, твердили мы сквозь смерть и муку: «Ты проиграл войну, палач, едва занес на город руку!» Какой же правдой ныне стало, какой грозой свершилось то, что исступленною мечтой, что бредом гордости казалось! Так пусть же мир сегодня слышит салюта русского раскат. Да, это мстит, ликует, дышит победоносный Ленинград!

Второй разговор с соседкой

Дарья Власьевна, соседка, здравствуй. Вот мы встретились с тобой опять. В дни весны желанной ленинградской надо снова нам потолковать. Тихо-тихо. Небо золотое. В этой долгожданной тишине мы пройдем по Невскому с тобою, по бывшей «опасной стороне». Как истерзаны повсюду стены! Бельма в каждом выбитом окне. Это мы тут прожили без сменяемых девятьсот ночей и дней. Мы с тобою танков не взрывали. Мы в чаду обыденных забот безмянные высоты брали – но на карте нет таких высот. Где помечена твоя крутая лестница, ведущая домой, по которой, с голоду шатаясь, ты ходила с ведрами зимой? Где помечена твоя дорога, по которой десять раз прошла сама – в пургу, в мороз, в тревогу – пятерых на кладбище свезла? Только мы с тобою, мы, соседка, помним наши тяжкие пути. Сами знаем, в картах или в сводках их не перечислить, не найти. А для боли нашей молчаливой, для ранений – скрытых, не простых – не хватило бы на земле наших, ни малиновых, ни золотых. На груди, над сердцем опаленным, за войну принявшим столько ран, лишь медаль на ленточке зеленой, бережно укрытой в целлофан. Вот она – святая память наша, сбереженная на все века... Что ж ты плачешь, что ты, тетя Даша? Нам еще нельзя с тобой пока. Дарья Власьевна, не мы, так кто же отчий дом к победе приберет? Кто ребятам-сиротам поможет, юным вдовам слезы оботрет? Это нам с тобой, хлебнувшим горя, чьи-то души греть и утешать. Нам, отдавшим всё за этот город, – поднимать его и украшать. Нам, не позабыв о старых бедах, сотни новых вынести забот, чтоб сынов, когда придут с победой, хлебом-солью встретить у ворот. Дарья Власьевна, нам много дела, точно под воскресный день в дому. Ты в беде сберечь его сумела, ты и счастье вернешь ему. Счастье извечное людское, что в бреду, в крови, во мгле боев сберегло и вынесло простое сердце материнское твое.

Молитва

Полземли в пожаре и крови, светлые потушены огни... Господи, прости, что в эти дни начала я песню о любви. Слышу стон людской и детский плач, но кого-то доброго молю: там, где смерть, и горе, и зола, да возникнет песнь моя светла, потому что я его люблю. Потому что я его нашла прежде как солдат, а не жена, там, где горе было и зола, там, где властвовала смерть одна. Может быть, когда-нибудь казнишь тем, что на земле страшней всего, - пусть, я не скрываю - в эти дни пожелала я любви его. Матери просили одного - чтобы на детей не рухнул кров; я вымаливала - сверх всего - неизвестную его любовь. Воины просили одного - чтоб не дрогнуть в тягостных боях, я вымаливала - сверх всего - пусть исполнится любовь моя. Господи, я не стыжусь - о нет, - ни перед людьми, ни перед тобой, и готова я держать ответ за свершенную свою любовь...

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Памяти защитников

Поэма

В дни наступленья армий ленинградских, в январские свирепые морозы, ко мне явилась девушка чужая и попросила написать стихи... Она пришла ко мне в тот самый вечер, когда как раз два года исполнялось со дня жестокой гибели твоей. Она не знала этого, конечно. Стараясь быть спокойной, строгой, взрослой, она просила написать о брате, три дня назад убитом в Дудергофе. Он пал, Воронью гору атакуя, ту высоту проклятую, откуда два года вел фашист корректировку всего артиллерийского огня. Стараясь быть суровой, как большие, она портрет из сумочки достала: «Вот мальчик наш, мой младший брат Володя...» И я безмолвно ахнула: с портрета глядели на меня твои глаза. Не те, уже обугленные смертью, не те, безумья полные и муки, но те, которыми глядел мне в сердцах дни юности, тринадцать лет назад. Она не знала этого, конечно. Она просила только: «Напиши тебе для того, чтобы его прославить, но чтоб над ним могли другие плакать со мной и мамой – точно о родном...» Она, чужая девочка, не знала, какое сердцу предложила бремя, – ведь до сих пор еще за это время реквием тебе – тебе! – не написала... Ты в двери мои постучала, доверчивая и прямая. Во имя народной печалитвой тяжкий заказ принимаю. Позволь же правдиво и прямо, своим неукрашенным словом поведать сегодня самообычным, простым и суровым... Когда прижимались солдаты, как тени, к земле и уже не могли оторваться – всегда находился в такое мгновение один безымянный, сумевший подняться. Правдива грядущая гордая повесть: она подтвердит, не прикрасив нисколько, – один поднялся, но был он – как совесть. И всех за такими с земли поднимало. Не все имена поколение запомнит. Но в тот иступленный, клокочущий полдень безусый мальчишка, гвардеец и школьник, поднялся – и цепи штурмующих поднял. Он знал, что такое Воронья гора. Он встал и шепнул, а не крикнул: «Пора!» Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся, он звал, и хрипел, и карабкался в гору, он первым взлетел на нее, обернулся и ахнул, увидев открывшийся город! И, может быть, самый счастливый на свете, всей жизнью в тот миг торжествуя победу, – он смерти мгновенной своей не заметил, ни страха, ни боли ее не изведал. Он падал лицом к Ленинграду. Он падал, а город стремительно мчался навстречу... Впервые за долгие годы снаряды на улицы к нам не ложились в тот вечер. И звезды мерцали, как в детстве, отрадно над городом темным, уставшим от бедствий... «Как тихо сегодня у нас в Ленинграде», – сказала сестра и уснула, как в детстве. «Как тихо», – подумала мать и вздохнула. Так вольно давно никому не вздыхалось. Но сердце, привыкшее к смертному гулу, забытой земной тишины испугалось... Как одинок убитый человек на поле боя, стихшем и морозном. Кто б ни пришел к нему, кто ни придет – ему теперь всё будет поздно, поздно. Еще мгновение, может быть, назад он ждал родных, в такое чудо веря... Теперь лежит – всеобщий сын и брат, пока что не опознанный солдат, пока одной лишь Родины потеря. Еще не плачут близкие в дому, еще, приказу вечером внимая, никто не слышит и не понимает, что ведь уже о нем, уже к нему обращены от имени Державы прощальные слова любви и вечной славы. Судьба шадит перед ударом нас, мудрей, наверно, не смогли бы люди... А он – он отдан Родине сейчас, она одна сегодня с ним пробудет. Единственная мать, сестра, вдова, единственные заявив права, – всю ночь пробудет у сыновних ног земля распластанная, тьма ночная, одна за всех горя, плача, зная, что сын – непоправимо одинок. Мертвый, мертвый... Он лежит и слышит всё, что недоступно нам, живым: слышит – ветер облако колышет, высоко идущее над ним. Слышит всё, что движется без шума, что молчит и дремлет на земле; и глубокая застыла думана его разглаженным челе. Этой думы больше не нарушить... О, не плачь над ним – не беспокой тихую торжествующую душу, услышавшую земной покой. Знаю: утешеньем и отрадой этим строчкам быть не суждено. Павшим с честью – ничего не надо, утешать утративших – грешно. По своей, такой же, скорби – знаю, что, неукротимую, есильные сердца не обменяют на забвенье и небытие. Пусть она, чистойшая, святая, душу нечерствеющей хранит. Пусть, любовь и мужество питая, навсегда с народом породнит. Незабвенной спаянное кровью, лишь оно – народное родство – обещает в будущем любому обновление и торжество... Девочка, в январские

морозыприбегавшая ко мне домой, -вот - прими печаль мою и слезы,реквием
несовершенный мой.Всё горчайшее в своей утрате,всё, душе светившее во мгле,я
вложила в плач о нашем брате,брате всех живущих на земле.....Неоплаканный
и невоспетый,самый дорогой из дорогих,знаю, ты простишь меня за это,ты,
отдавший душу за других.

Твой путь

Поэма

Аще забуду тебя, Иерусалиме, забудь меня, десница моя, прилипни, язык мой, к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главу веселия моего.

Умри - и стань!

...И всё осталось там - за белым-белым, за тем январским ледовитым днем. О, как я жить решилась, как я смела! Ведь мы давно условились: вдвоем.

.....А тот, который с августа запомнил сквозь рупора звеневший голос мой, - зачем-то вдруг нашел меня и поднял, со снега поднял и привел домой. Как в притчах позабытых и священных, пред путником, который изнемог, ты встал передо мною на колени, обувь снял с моих отекавших ног; высокое сложил мне изголовье, чтоб легче сердцу было по ночам, и лег в ногах, окоченевший сам, и ничего не называл любовью... Я знаю, слишком знаю это зданье. И каждый раз, когда иду сюда, все кажется, что вышла на свиданье сама с собой, такой же, как тогда. Но это больше, чем воспоминанье. Я не боюсь самой себя - вчерашней. На все отвечу, если уж пришла, - вот этой серой, беспощадной, страшной, глядящей из блокадного угла. Я той боюсь, которая однажды на Мамисоне искрящимся днем глядела в мир с неукротимой жаждой и верила во всем ему, во всем... Но это больше, чем воспоминанье. Я не о ней. Я о гранитном зданье. Здесь, как в бреду, все было смещено: здесь умирали, стряпали и ели, а те, кто мог еще вставать с постелей, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрипели. Отсюда передачи шли на город - стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки... Всех не перечесать. Они давно покинули жилищатам, где-то в недрах города, вдали; они одни из первых на кладбища последних родственников отвезли, спаяны сильней, чем кровью рода, родней, чем дети одного отца, сюда зимой сорок второго годасошлись - сопротивляться до конца. Здесь, на походной койке-раскладушке, у каменки, блокадного божка, я новую почувствовала душу, самой мне непонятную пока. Я здесь стихи горчайшие писала, спеша, чтоб свет использовать дневной... Сюда, в тот день, когда я в снег упала, ты и привел бездомную - домой.... По сумрачным утрам ты за водой ходил на льдистый Невский, где выл норд-вест, седой, косматый, резкий, и запах гари стлался по дворам. Стоял, пылая, город. В семь утра темнел скелет Гостиного двора.

.....И на Литейном был один источник. Трубу прорвав, подземная вода однажды с воплем вырвалась из почвы, поплыла, смерзаясь в глыбы льда. Вода плыла, гремя и коченея, и люди к стенам жались перед нею, но вдруг один, устав пережидать, - наперерез пошел по корке льда, ожесточась пошел, но не прорвался, а сбит волной, свалился на ходу, и вмерз в поток, и так лежать остался здесь, на Литейном, видный всем, - во льду. А люди утром прорубь продолбили невдалеке и длиною чредой к его прозрачной ледяной могиле до марта приходили за водой. Тому, кому пришлось когда-нибудь ходить сюда, - не говори: «Забудь». Я знаю всё. Я тоже там была, я ту же воду жгучую брала на улице, меж темными домами, где человек, судьбы моей собрат, как мамонт, павший сто веков назад, лежал, затертый городскими льдами.... Вот так настал, одетый в кровь и лед, сорок второй, необоримый год. О, год ожесточенья и упорства! Лишь насмерть, насмерть всюду встали мы. Год Ленинграда, год его зимы, год Сталинградского единоборства. В те дни исчез, отхлынул быт. И смелов права свои вступило бытие. А я жила. Изнемогало тело, и то сияло, то бесильно тлело сознание смятенное мое. Сжималась жизнь во мне... Совсем похоже, как древняя шагреновая кожа неистойвой сжималась быстрою, едва владелец - бедный раб ее - любое, незапретное, простое осуществлял желание свое. Сжималась жизнь... Так вот что значит - смерть: не сметь желать. Самой - совсем не сметь. Ну что же, пусть. Я все равно устала, я все равно не этого ждала на тех далеких горных перевалах, под небосводом синего стекла, там, где цветок глядел из-за сугроба, где в облаках, на кромке крутизны, мы так тогда прекрасны были оба, так молоды, бесстрашны и сильны..... Всё превратилось вдруг

в воспоминанье: вся жизнь, все чувства, даже я сама, пока вокруг в свирепом ожиданье стоят враги, безумствует зима, и надо всем – сквозь лед, и бред, и ночи, не погасить его, не отойти – рублевский лик и стынущие очитому, кому не сказано: «Прости!» Того, кто был со мной на перевале, на одиноком блестящем пути, и умер здесь, от голода, в подвале, а я – я не могла его спасти..... Еще хотелось повидать сестру. Я думала о ней с такой любовью, что стало ясно мне: на днях – умру. То кровь тоскует по родимой крови. Но незнакомый, чей-то, не родной, ты ближе всех, ты рядом был со мной. И ты не утешал меня. Ночами, когда, как все, утратив радость слез, от горя корчась, я почти мычала, ни рук моих не гладил, ни волос. Ты сам, без просьб, как будто б стал на страже глухого отчужденья моего; ты не коснулся ревностью его, и не нарушил нежности даже. Ты просто мне глоток воды горячее давал с утра, и хлеба, и тетрадь заставлял писать для передачи: ты просто не давал мне умирать... Не знаю – как, но я на дне страданья, о мертвом счастье бредя, о тепле, открыла вдруг, что ты – мое желанье, последнее желанье на земле. Я так хочу. Я так хочу сама. Пускай, озлясь, грозит мне зима, что радости вместить уже не сможет остаток жизни – мстительная кожа, – я так хочу. Пускай сойдет на нет: мне мерзок своеволия запрет. Я даже пела что-то в этот вечер, почти забытое, у огонька, цветным платком плотней укрывая плечи темный рот подкрасила слегка. В тот самый день сказал ты мне, смущаясь: «А все считают, ты – моя жена...» И люди нас не прекнули счастьем в том городе, где бредила война. Мы жили высоко – седьмой этаж. Отсюда был далеко виден город. Он обгоревший, тихий был и гордый, пустынный были весь, до пепла, – наш. А мы ходили в Летний по грибы, где, как в бору, кукушка куковала. Возили реже мертвых. Но гробы не появлялись: сил не доставало на этот древний горестный обряд. О нем забыл блокадный Ленинград. И первый гроб, обитый кумачом, проехавший на катафалке красном, обрадовал людей: нам стало ясно, что к жизни возвращаемся и мы из недр нечеловеческой зимы. О нет, я не кошунствую! Так было! Нам всё о жизни яростно твердило, и, точно дар торжественный, – для нас всё на земле вышло в первый раз. И солнце мы впервые увидели, и с наших крыш, постов сторожевых, – Большой Земли мерцающие дали в румяных зорях, в дымке синевы. До стона, до озноба, до восторгамы вглядывались в эту синеву... Прекрасная! Нельзя тебя отторгнуть. Ты – это жизнь. Ты есть – и я живу.... Я помню час, когда, толкнув рукой кошко, перекрещенное слепо, я в одичавший зимний угол свой пустила полднем дышащее небо. Я отойти не смела от окна! Слепорожденный в первый день прозренья глядел бы так, с таким же изумленьем на всё, что знал под именем «весна»!... А в темноте, почти касаясь кровли, всю ночь снаряды бешеные шли, так метров семь над сонной нашей кровью, и рушились то близко, то вдали. Ты рядом спал, как спал весь город – камнем, сменяясь с дежурства. Мы с утра в бою... Как страшно мне. Услышав свист, руками прикрываю голову твою. Невольный жест, напрасный – знаю, знаю... А ночь светла. И над лицом твоим с тысячелетней нежностью склоняюсь, я тороплюсь налюбоваться им. Я тороплюсь, я знаю, что сосчитан свиданья срок. Разлука настает. Но ты не знай... Спи под моей защитой, солдат уставший, муж, дитя мое... Три выстрела – три грохота подряд. Поблизости... Пока не в наш квадрат..... А рядом, в изголовье надо мною, охавка веток, полная весною, – ты с фронта, из Рыбацкого, принес... Как пахнут листья, господи, – до слез! Так ты вернулась, встала в изголовье, о молодость... твой запах узнаю. Сплети ж с моей сегодняшней любовью всю чистоту и трепетность твою, верни мне всё... Свистит. Опять фугас! Сюда идет... Враг обнаружил нас, засек, нашел, сюда кладет снаряды, невидимый, нацелился в упороткуда-то из гатчинского сада, от царскосельских дремлющих озер, – сюда идет... В ночной молочной дымке узнаю, безносый невидимка, тебя. Ты приходил ко мне зимой. Свистишь? Свисти. Я принимаю бой. Ты утопить хотел меня в отеке. Ты до костей обтягивал мне щеки. Ты мне глаза мои вдавил в глазницы, ты зубы мне расшатывал во рту, ты гнал меня в подвалы, в темноту, под свод психиатрической больницы... Но меж развалин горестных и дымных, в ожогах вся, в рубцах, в крови, в золе, я поднялась, как все, – неистребима, с неистребимой верностью Земле, и здесь, под этой обреченной крышей, нашла возлюбленного своего. Он рядом спит. Он жив. Он мирно дышит. Я ни за что не разбужу его. Что может враг? Разрушить и убить. И только-то? А я могу любить, а мне не счесть души моей богатства, а я затем хочу и буду

жить, чтоб всю ее, как дань людскому братству, на жертвенник всемирный положить. Грозишь? Грози. Свисти со всех сторон. Мы победили. Ты приговорен. Обстрел затих. Зарю полон город, сменяются усталые дозоры, на улицах пустынно и светло. Сметают в кучи дворники стекло, и неустанным эхом повторенщящийся, тонкий, шаркающий звон, и радуги бегут по тротуарам в стеклянных брызгах. В городе весна, разбитым камнем пахнет и пожаром, в гранитный берег плещется волна, как сотни лет плескалась. Тишина.... О девочка с вершины Мамисона, что знала ты о счастье? Оно неласково, сурово и бессонной с гибелью порой сопряжено. Пред ним ничто - веселье. Радость - прах. Пред ним бессилен враг, и тлен, и страх. Оно несет на крыльях лебединых таким неугасающим вершинам, к столь одиноким, нежным и нагим, что боги позавидовали б им. Я счастлива. И всё яснее мне, что я всегда жила для этих дней, для этого жестокого расцвета. И гордости своей не утаю, что рядовым вошлав судьбу твою, мой город, в званье твоего поэта. Не ты ли сам зимой библейски грозной меня к траншеям братским подозвали, весь окостеневший и бесслезный, своих детей оплакать приказал. И там, где памятников ты не ставил, где счесть не мог, где никого не славил, где снег лежал, от зарев розоватый, где выгрызал траншеи экскаватори динамит на помощь нам, без силы, пришел, чтоб землю вздыбить под могилы, - там я приказ твой гордый выполняла... Неся избранье трудное свое, из недр душия стих свой выдирала, не пощадив живую ткань ее... И ясно мне судьбы моей веленье: своим стихом на много лет впередя к твоему пригвождена виденью, я вмерзлав твой неповторимый лед.... А тот, над кем светло и неустанно мне горевать, печалиться, жалеть, кого прославлю славой безымянной - немой славой, высшей на земле, - ты слит со всем, что больше жизни было - мечта, душа, отчизна, бытие, - и для меня везде твоя могила и всюду - воскресение твое. Твердит об этом трубный глас Москвы, когда она, колебля своды ночи, как равных - славит павших и живыхи Смерти - смертный приговор пророчит.

Победа

Из цикла «Проход гвардейцев»

...Прости, но я сегодня не с тобой. Я с тем, кого увидеть не надеюсь. Я услышала шаг его глухой среди шагов вернувшихся гвардейцев. Его последний в этом мире шаг. Они пройдут. Потом наступит вечер. Всё кончено. Уже не будет встречи. Не увидеть нигде его, никак... А после жизнь пойдет своей чередой, и я такой же буду, как была... Но нынче в город Гвардия вошла. Прости, но я сегодня не с тобою. Полковник ехал на гнедом коне, на тонконогом, взмыленном, атласном. Вся грудь бойца горела, как в огне, - была в нашивках, золотых и красных. На темной меди строгого лица белел рубец, как след жестокой боли, а впереди, держась за грудь отца, сидела дочка - лет пяти, не боле. Пестрей, чем вешний полевой цветок, с огромным бантом цвета голубого, нарядная, как легкий мотылек, и на отца похожа до смешного. Мы слишком долго видели детей седых, блуждающих среди углей, не детски мудрых и не детски гневных. А эта - и румяна, и бела, полна ребячьей прелести была, как русских сказок милая царевна. Мы так рукоплескали! Мы цветы бросали перед всадником отважным. И девочка народу с высоты кивала гордо, ласково и важно. Ну да, конечно, думала она, что *ей* - цветы, и музыка, и клики, *ей* - не тому, кто, в шрамах, в орденах, везет ее, свершив поход великий. И вот, глазами синими блестя, одарено какой-то светлой властью, - за всех гвардейцев приняло дитя восторг людской, и слезы их, и счастье. И я слышала - мудрые слова сказала женщина одна соседу: «Народная наследница права, - всё - для нее. Ее зовут Победа».

«...Так вот она какая. Вот какой...»

...Так вот она какая. Вот какоймой город, воскресающий весной.Трава – зеленая. А неба куполне черный и не серо-голубой.Какой же я бесцветный мир нащупалнезрячею, неверною рукой.Прозревший недоверчив: он испуган,он так обжился в сумраке своем.Он опознать не сразу может другатого, что был его поводомрем.Он быстро утомляется на пирецветов и света, правды и щедрот.Он долго одиночествует в миреи всё на ощупь пробует вперед...

«...О да - простые, бедные слова...»

...О да - простые, бедные слова мы точно в первый раз произносили, мы говорили: солнце, свет, трава, как произносят: жизнь, любовь и сила. А помнишь ли, как с города ледник сдирали мы, четырежды проклятый, как бил в панель ногой один старик всё кричал: «Асфальт, асфальт, ребята!..» Так, милый берег видя с корабля, кричали в старину: «Земля, земля!..»

«Мне не поведать о моей утрате...»

Н. М.

Мне не поведать о моей утрате...Едва начну – и сразу на устав замену слов любви,
тоски, проклятийхолодная ложится немота.Мне легче незнакомых,
неизвестных,мне легче мир оплакать, чем тебя.И всё, что говорю, – одни
подобья,над песней неродившейся надгробье...

«Я знала мир без красок и без цвета...»

Я знала мир без красок и без цвета. Рукой, протянутой из темноты, нащупала случайные предметы, невиданные, зыбкие черты. Так, значит, я слепой была от роду, или вправду стоило прийти ко мне такой зиме, такому году, чтоб даже небо снова обрести...

«...Не потому ли спавила печаль я...»

...Не потому ли спавила печаль я с подспудной жаждой счастья и любви, и песнь моя над кладбищем звучала призывом к жизни, клятвой на крови? Не потому ли горечь, как усталость, доныне на губах моих осталась... Но кто солдат посмеет обвинить за то, что искалечены они?..

Стихи о себе

...И вот в послевоенной тишинок себе прислушалась наедине.
.....Какое сердце стало у меня, сама не знаю - лучше или хуже: не отогреть у мирного огня, не остудить на самой лютой стуже. И в черный час зажженные войноюзатем, чтобы не гаснуть, не стихать, неженские созвездья надо мною, неженский ямб в черствеющих стихах.....И даже тем, кто всё хотел бы сгладить в зеркальной, робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградецна желтый снег пустынных площадей. И как стволы, поднявшиеся рядом, сплетают корни в душной глубинеи слили кроны в чистой вышине, даря прохожим мощную прохладу, - так скорбь и счастье живут во мне - единым корнем - в муке Ленинграда, единой кроною - в грядущем дне. И всё неукротимей год от годак неистовству зенита своегорастет свобода сердца моего -единственная на земле свобода.

Блокадная ласточка

Весной сорок второго года множество ленинградцев носили на груди жетон - ласточку с письмом в клюве.

Сквозь года, и радость, и невзгоды вечно будет мне сиять одна весна сорок второго года, в осажденном городе весна. Маленькую ласточку из жестяной носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, это означало - «жду письма». Этот знак придумала блокада: знали мы, что только самолет, только птица к нам до Ленинграда с милой-милой Родины дойдет..... Сколько писем с той поры мне было! Отчего же кажется самой, что доныне я не получила самое желанное письмо... Чтобы к жизни, вставшей за словами, к правде, влитой в каждую строку, совестью припасть бы, как устам в раскаленный полдень - к роднику. Кто не написал его, не выслал? Счастье ли? Победа ли? Беда? Или друг, который не отыскан и не узнав мною навсегда? Или где-нибудь доныне бродит то письмо, желанное как свет, ищет адрес мой, и не находит, и, томясь, тоскует: где ж ответ? Или близок день - и непременно час большой душевной тишины я приму несслыханной, нетленной вестью, идущую еще с войны? О, найди меня, гори со мною ты, давно обещанная мне всем, что было, - даже той смешною ласточкой - в осаде, на войне...

«Я никогда не напишу такого...»

Я никогда не напишу такого. В той потрясенной, вещей немотеко мне тогда само являлось словов нагой и неподкупной чистоте. Уже готов позорить нашу славу, уже готов на мертвых клеветатьгерой пропискии стандартных справок... Но на асфальте нашем -след кровавый, не вышаркать его, не затоптать...

Измена

Не наяву, но во сне, во снея увидала тебя: ты жив. Ты вынес всё и пришел ко мне, пересек последние рубежи. Ты был землею уже, золой, славой и казнью моею был. Но смерти назлои жизни назлоты встал из тысяч своих могил. Ты шел сквозь битвы, Майданек, ад, сквозь печи, пьяные от огня, сквозь смерть свою ты шел в Ленинград, дошел, потому что любил меня. Ты дом нашел мой, а я живу не в нашем доме теперь, в другом, и новый муж у меня - наяву... О, как ты не догадался о нем?! Хозяином переступил порог, гордым и радостным встал, любя, А я бормочу: «Да воскреснет бог», а я закрепощиваю тебя крестом неверующих, крестом отчаянья, где не видать ни зги, которым закрещен был каждый дом в ту зиму, в ту зиму, как ты погиб... О друг, прости мне невольный стон: давно не знаю, где явь, где сон...

«Как я жажду обновления...»

Как я жажду обновления, оправдания этих дней, этой крови искупления счастьем будущим детей! Но душа мне отвечает, темно-ржавая от ран: искупления не бывает, искупление – обман.....И когда меня зарюют возле милых сердцу мест – крест поставьте надо мною, деревянный русский крест! P. S....А было всё не так, как мне казалось. Еще страшнее было, не похоже. Потом Победа нам сполна досталась, ее священно-жаркий свет...И всё же – так мало в мире нас, людей, осталось, что можно шепотом произнести забытое людское слово «жалость», чтобы опять друг друга обрести.

Мой дом

А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю: здесь была война. О, как мы затемнялись! Ни луча... И всё темнело, всё темнело в мире... Потом хозяин в дверь не постучал, как будто путь забыл к своей квартире. Где до сих пор беспамятствует он, какой последней кровлей осенен? Нет, я не знаю, кто живет теперь в тех комнатах, где жили мы с тобою, кто вечером стучится в ту же дверь, кто синеватых не сменил обоев - тех самых, выбранных давным-давно... Я их узнала с улицы в окно. Но этих окон праздничный уют такой забытый свет в сознание будит, что верится: там добрые живут, хорошие, приветливые люди. Там даже дети маленькие есть кто-то юный и всегда влюбленный, и только очень радостную весть сюда теперь приносят почтальоны. И только очень верные друзья сюда на праздник сходятся шумливые. Я так хочу, чтоб кто-то был счастливым там, где безмерно бедствовала я. Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне..... Но если вдруг такой наступит день - тишайший снег и сумерек мерцанье, и станет жечь, нагнав меня везде, блаженное одно воспоминанье, и я не справлюсь с ним, и, постучав, приду в мой дом и встану на пороге, спрошу... ну, там спрошу: «Который час?» - или воды, как на войне в дороге, - то вы приход не осуждайте мой, ответьте мне доверьем и участием: ведь я пришла сюда к себе домой, и помню всё, и верю в наше счастье...

Стихи о любви

Взял неласковую, угрюмую, с бредом каторжным, с темной думою, с незажившей тоскою вдовьей, с непрошедшей старой любовью, не на радость взял за себя, не по воле взял, а любя. Я тайно и горько ревную, угрюмую думу тая: тебе бы, наверно, иную – светлей и отрадней, чем я... За мною такие утраты столько любимых могил! Пред ними я так виновата, что если б ты знал – не простил. Я стала так редко смеяться, так злобно порою шутить, что люди со мною боятся счастье своим говорить. Недаром во время беседы, смолкая, глаза отвожу, как будто по тайному следу далеко одна ухожу. Туда, где ни мрака, ни света – сырая рассветная дрожь... И ты окликаешь: «Ну, где ты?» О, знал бы, откуда зовешь! Еще ты не знаешь, что будут такие минуты, когда тебе не откликнусь оттуда, назад не вернусь никогда. Я тайно и горько ревную, но ты погоди – не покинь. Тебе бы меня, но иную, не знавшую этих пустынь: до этого смертного лета, когда повстречались мы, до горестной славы, до этой полсердца отнявшей зимы. Подумать – и точно осколок, горя, шевельнется в груди... Я стану простой и веселой – тверди ж мне, что любишь, тверди! Ни до серебряной и ни до золотой, всем ясно, я не доживу с тобой. Зато у нас железная была – по кромке смерти на войне прошла. Всем золотым ее не уступлю: всё так же, как в железную, люблю...

Феодосия

Юрию Герману

Когда я в мертвом городе искалату улицу, где были мы с тобой, когда нашла – и всё же не узнала.....А сизый прах и ржавчина вокзала!...Но был когда-то синий-синий день, и душно пахло нефтью, и дрожала седых акаций вычурная тень...От шпал струился зной – стеклянный, зримый, – дышало море близкое, а друг, уже чужой, но всё еще любимый, не выпускал моих холодных рук. Я знала: всё. Уже ни слов, ни споров, ни милых встреч...И всё же будет год: один из нас приедет в этот городи всё, что было, вновь переживет. Обдаст лицо блаженный воздух юга, подкатит к горлу незабываемый зной, на берегу проступит облик друга – неистребимой радости земной. О, если б кто-то, вставший с нами рядом, шепнул, какие движутся года! Ведь лишь теперь, на эти камни глядя, я поняла, что значит – «никогда», что прошлого – и то на свете нет, что нет твоих свидетелей отныне, что к самому себе потерял след для всех, прошедших зоною пустыни...

«О, не оглядывайтесь назад...»

О, не оглядывайтесь назад, на этот лед, на эту тьму; там жадно ждет вас чей-то взгляд, не сможете вы не ответить ему. Вот я оглянулась сегодня... Вдруг вижу: глядит на меня из льда живыми глазами живой мой друг, единственный мой – навсегда, навсегда. А я и не знала, что это так. Я думала, что дышу иным. Но, казнь моя, радость моя, мечта, жива я только под взглядом твоим! Я только ему еще верна, я только этим еще права: для всех живущих – его жена, для нас с тобою – твоя вдова.

«На собрание целый день сидела...»

На собрание целый день сидела -то голосовала, то лгала...Как я от тоски не посидела?Как я от стыда не померла?...Долго с улицы не уходила -только там сама собой была.В подворотне - с дворником курила,водку в забегаловке пила... В той шарашке двое инвалидов(в сорок третьем брали Красный Бор)рассказали о своих обидах, -вот - был интересный разговор!Мы припомнили между собою,старый пепел в сердце шевеля:штрафники идут в разведку боем -прямо через минные поля!..Кто-нибудь вернется награжденный,остальные лягут здесь - тихо,искупая кровью забубённойвсе свои небывшие грехи!И соображая еле-еле,я сказала в гневе, во хмелю:«Как мне наши праведники надоели,как я наших грешников люблю!»

Пусть голосуют дети

Я в госпитале мальчика видала. При нем снаряд убил сестру и мать. Ему ж по локоть руки оторвало. А мальчику в то время было пять. Он музыке учился, он старался. Любил ловить зеленый круглый мяч... И вот лежал - и застонать боялся. Он знал уже: в бою постыден плач. Лежал тихонько на солдатской койке, обрубки рук вдоль тела протянув... О, детская невыносимая стойкость! Проклятье разжигающим войну! Проклятье тем, кто там, за океаном, за бомбовозом строит бомбовоз, и ждет невыплаканных детских слез, и детям мира вновь готовит раны. О, сколько их, безногих и безруких! Как гулко в черствую кору земли, не походя на все земные звуки, стучат коротенькие костыли. И я хочу, чтоб, не простив обиды, везде, где люди защищают мир, являлись маленькие инвалиды, как равные с храбрейшими людьми. Пусть ветеран, которому от роду двенадцать лет, когда замрут вокруг, за прочный мир, за счастье народов подымет ввысь обрубки детских рук. Пусть уличит истерзанное детство тех, кто войну готовит, - навсегда, чтоб некуда им больше было деться от нашего грядущего суда.

Обращение к поэме

...и я с упованием и с любовью обернулся назад...

«Спаси меня!» - снова к тебе обращаюсь. Не так, как тогда, - тяжелей и страшней: с последней любовью своею прощаюсь, с последней, заветною правдой своей. Как холодно, как одиноко на свете... Никто не услышит, никто не придет... О, пусть твой орлиный, твой юный, твой ветердохнет на меня, загремит - запоеет...

Ташкентские стихи

К. С.

Есть в сердце Средней Азии чертог. Кто видел, тот забыть его не смог. Нет, он не стар – как новолунье юн. В нем воздух полон вечной думой струн, дыханьем песен, ропотом стихов, сверканьем в пляске взвихренных шелков, и если кто не знал, то знай, что он из легких кружев каменных сплетен. Таким явился он тебе и мне, театр в Ташкенте, в золотой стране. Он был задуман до войны. И вот война, беда. Но говорит народ: «Нет, мирных мы не прекратим работ. Пусть воплотится чудо – и живет». Уже сражались, доблестью полны, Узбекистана лучшие сыны, когда в театр явились их отцы, взяв свои волшебные резцы, и стиснув зубы, и прищурив взор, на камне стали высекать узор. Враги свирепо рвутся на восток, но мастер режет за цветком цветок, и сколько б сердце ни терзала боль, и сколько б глаз ни разъедала соль, ни разу не дрожит его рука, верна, трудолюбива и жестка: он знает, что усталые сыны сюда прийти с победой должны. Идут сражения. Идут года. Пылая, исчезают города. Но сказочный в мерцании зеркал уже рождается Бухарский зал – из легких кружев каменных сплетен, нежнейшим светом белым напоен. Да, мастер знал – усталые сыны сюда прийти с победой должны. Приди ж и взгляд на нем останови – единоборстве камня и любви, знай: никакие силы не согнут народ, влюбленный в красоту и труд. Да, это случилось семь лет назад, – я помню об этом – и рада: мне в сорок втором на линкоре «Марат» пришлось побывать с бригадой. Раскрашен под камень и к стенке прижат, сетями укрыт, изувечен, оружия не положивший «Марат», – таким ты запомнишься вечно. А личный состав говорил об одном, как будто б забыв про блокаду: «Туда! По-балтийски сразиться с врагом, на улицы Сталинграда!» О чем же еще мы могли говорить в августе сорок второго? Что фронта «союзник» не хочет открыть? Мы знали – теперь не откроет. Мы слышали отзвук обвалов глухих оттуда, с приволжских откосов! О, как мы читали в тот вечер стихи – солдаты, поэты, матросы. И вдруг, изумляя и радуя взгляд, за ужином скудным и странным, на маленьком блюде – сухой виногради даже вино – по стакану. Мы так наслаждались! «Скажи, капитан, такое богатство – откуда?» «А это от шефов. Узбекистан. Вы правы – похоже на чудо. Мы в дружбе давнишней – Ташкенти «Марат». В осаде о нас не забыли. Сквозь тысячи верст – привезли виногради сирот, маратовских малых ребят, заботливо усыновили». И медленно, тихо поднял капитан, как будто б огромную чашу, неполный и маленький легкий стакан за верность народную нашу. Ташкент, я припомнила этот глоток, как мира, победы и счастья залог, когда мы собрались под кущи твоина праздники в честь Навои. Он длился – щедрейший, обильнейший пир, поэзии торжество... За этот творящий и мыслящий мир – как бились мы все за него! И розы клубились, сияло вино, и воздух звенел от стихов... О родина света, где слиты давно поэзия жизни и строф! О родина дружбы, где счастье роднит, где не разлучает беда! О родина мира – твой мир сохранит народ навсегда, навсегда...

«Во имя лучшего слова...»

Во имя лучшего слова, одного с тобою у нас, ты должен влюбиться снова, сказать мне об этом сейчас. Смотри, ты упустишь время! Тяжелой моей любовью счастливое, гордое бремя, не медля, обратно зови. Ты лучшей не сыщешь доли, высот не найдешь других, ибо в ней - последняя воля, последний воздух Двоих.

Надежда

Я все еще верю, что к жизни вернусь, -однажды на раннем рассвете проснусь. На раннем, на легком, в прозрачной росе, где каплями ветки унизаны все, и в чаше росянки стоит озерко, и в нем отражается бег облаков, и я, наклоняясь лицом молодым, смотрю как на чудо на каплю воды, и слезы восторга бегут, и легко, и виден весь мир далеко-далеко... Я все еще верю, что раннее утро, знобя и сверкая, вернется опятько мне - обнищавшей, безрадостно-мудрой, не смеющей радоваться и рыдать...

«Ничто не вернется...»

Ничто не вернется. Всему предназначены сроки. Потянутся дни, в темноту и тоску обрываясь, как тянутся эти угрюмые, тяжкие строки, которые я от тебя почему-то скрываю. Но ты не пугайся. Я договор наш не нарушу. Не будет ни слез, ни вопросов, ни даже упрека. Я только покрепче замкну опустевшую душу, получше пойму, что теперь навсегда одинока. Она беспощадней всего, недоверья отравя. Но ты не пугайся, ведь ты же спокоен и честен? Узнаешь печали и радости собственной славы, совсем не похожей на славу отверженных песен. Я даже не буду из дому теперь отлучаться, шататься по городам в поисках света людского. Я всё потеряла – к чему же за малость цепляться. Мне не во что верить, а веры – не выдумать снова. Мы дачу найдем и украсим как следует дачу – плетеной мебелью, легкой узорчатой тканью. О нет, ты не бойся. Я так, как тогда, не заплачу. Уже невозможно – уже совершилось прощанье... Всё будет прекрасно, поверь мне, всё будет прекрасно, на радость друзьям и на зависть семействам соседним. И ты никогда не узнаешь, что это – мертво и напрасно... Таков мой подарок тебе – за измену – последний!

«Сегодня вновь растрачено души...»

Сегодня вновь растрачено душа сотни лет, на тьмы и тьмы ничтожеств... Хотя бы часть ее в ночной тиши, как пепел в горсть, собрать в стихи... И что же? Уже не вспомнить и не повторить высоких дум, стремительных и чистых, которыми посмела одарить лжецов неверующих и речистых. И щедрой добротой не просиять, не озарить души потайным светом; я умудрилась всю ее отдать жестокому, не нуждающемуся в этом. Всё роздано: влачащимся – полет, трусливым и безгласным – дерзновение, и тем, кто всех глумливее осмеет, – глубинный жемчуг сердца – умиление. Как нищенка, перед столом стою. Как мать, дитя родившая до срока. А завтра вновь иду и отдаю всё, что осталось, не приняв урока. А может быть – мечты заветней нет, – вдруг чье-то сердце просто и открыто такую искру высечет в ответ, что будут все утраты позабыты?

<Триптих 1949 года>

Я не люблю за мной идущих следом по площадям улицам. Мой путь - мне кажется тогда - стремится к бедам: Скорей дойти до дома как-нибудь. Они в затылок дышат горячо... Сейчас положат руку на плечо! Я оглянусь: чужими притворятся, прохожими... Но нас не обмануть: к беде - к БЕДЕ - стремглав идет мой путь. О, только бы: скорей. Домой. Укрыться. Дойти и запереться и вернуться. Во что угодно сразу погрузиться: в вино! в заботы! в бесполезный труд... Но вот уж много дней, как даже дома меня не покидает страх знакомый, что по следам идущие - придут. Не будет дома или будет дома легче будет или еще печальней - об этом годе расскажу потом, о том, как стало ничего не жаль мне. Не жаль стареть. Не жаль тебя терять. Зачем мне красота, любви дом уютный, - затем, чтобы молчать? Не-ет, не молчать, а лгать. Лгать и дрожать ежеминутно. Лгать и дрожать: а вдруг - не так солгу? И сразу - унижительная кара. Нет. Больше не хочу и не могу. Сама погибну. Подло - ждать удара! Не женское занятие: пить вино, по кабакам шататься в одиночку... Но я - пила. Мне стало все равно: продлится ли позорная отсрочка. Мне только слез твоих последних жаль, в то воскресенье, в темный день погони, когда разлуки каторжная даль открылась мне - ясней, чем на ладони... Как плакал ты! Последний в мире свет мне хлынул в душу - слез твоих сиянье! Молитвы нет такой и песни нет, чтобы воспеть во мнетвое рыданье. Но... Даже их мне не дают воспеть... В проклятой немоте изнемогаю... И странно знать, что вот придет другая, чтобы тебе с лица их утереть... Живу - тишком. Живу - едва дыша. Припоминая, вижу - повсеместно следы свои оставила душа: то болью, то доверием, то песней... Их время и сомненье не сотрет, не облегчить их никаким побегом, их тут же обнаружит и придет уведет меня - Идущий Следом... Я не люблю звонков по телефону, когда за ними разговора нет. «Кто говорит? Я слушаю!» В ответ молчание и гул, подобный стону. Кто позвонил и испугался вдруг, кто замолчал за комнатной стеною? «Далекий мой, желанный, верный друг, не ты ли смолк? Нет, говори со мною! Одною скорбью мы разлучены, одной безмолвной скованы печалью, и все-таки среди этой тишины поговорим... Нельзя, чтоб мы молчали!» А может быть, звонил мой давний враг? Хотел узнать, я дома или не дома? И вот, услышав голос мой знакомый, спокоен стал и отошел на шаг. Нет, я скрываться не хочу, не тщусь. Я всем открыта, точно домочадцам... Но так привыкла с домом я прощаться, что, уходя, забуду - не прощусь. Разлука никакая не страшна: я знаю - я со всеми, не одна... Но, господи, как одиноко вдруг, когда такой достигнут тишиною... Кто б ни был ты, мой враг или мой друг, - я слушаю! Заговори со мною!

Пять обращений к трагедии

От сердца к сердцу. Только этот путь выбрала тебе. Он прям и страшен. Стремителен. С него не повернуть. Он виден всем и славой не украшен.Я говорю за всех, кто здесь погиб. В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыхание. Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь, и смерть, и лед, я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страдания... И вот я становлюсь многоликой, и многодушной, и многоязыкой. Но мне же суждено самой собой остаться в разных обликах и душах, и в чем-то горе, в радости чужой своей тайный стон и тайный шепот слушать, зная, что ничего не утаишь... Все слышат всё, до скрытого рыдания... И друг придет с ненужным состраданием, и посмеются недруги мои. Пусть будет так. Я не могу иначе. Не ты ли учишь, Родина, опять: не брать, не ждать и не просить, подачек за счастье творить и отдавать... И вновь я вижу все твои приметы, бессмертный твой, кровавый, горький зной, сорок второй, неистовое лето и все живое, вставшее стеной на бой со смертью... Прошло полгода молчанья с тех пор, как стали клубиться в жажде преображенья, в горячей творящей мглетвоих развалин оскалы, твоих защитников лица, легенды твои, которым подобных нет на земле. Прошло полгода молчанья с тех пор, как мне стала сниться твоя свирепая круча - не отвести лица! Как трудно к тебе прорваться, как трудно к тебе пробиться, к тебе, которой вручила в свою жизнь свою - до конца. Но, как сквозь терний колючий, сквозь ложь, клевету, обиды, к тебе - по любой дороге, везде - у чужих и в дому, в вагоне, где о тебе женовзрыд поют инвалиды, в труде, в обычной заботке сиянию твоему. И только с чистейшим сердцем, и только склонив колени тебе присягаю, как знамени, целую его края, - Трагедия всех трагедий - душа моего поколения, единственная, прекрасная, большая душа моя. Друзья твердят: «Все средства хороши, чтобы спасти от злобы и напастей часть Трагедии, хоть часть души...» А кто сказал, что я делюсь на части? И как мне скрыть - наполовину - страсть, чтоб страстью быть она не перестала? Как мне отдать на зов народа часть, когда и жизни слишком мало? Нет, если боль, то вся душа болит, а радость - вся пред всеми пламенеет. И ей не страх открытой быть велит - ее свобода, та, что всех сильнее. Я так хочу, так верю, так люблю. Не смейте проявлять ко мне участия. Я даже гибели своей не уступлю за ваше принудительное счастье... Когда ж ты запоешь, когда откроешь крылья перед всеми? О, возмести хоть миг труда в глухонемое наше время! Я так молю - спеша, скорбя, молю невнятно, немо, глухо... Я так боюсь забыть тебя под непрерывной пыткой духа. Чем хочешь отомсти: тюрьмой, безмолвием, подобным казни, но дай хоть раз тебя - самой, одной - прослушать без боязни.О, где ты запела, откуда взманила, откуда к жизни зовешь меня... Склоняюсь перед твоею силой, Трагедия, мать живого огня. Огонь, и воду, и медные трубы (о, медные трубы - прежде всего!) я прохожу, не сжимая губы, страшное славя твое торжество. Не ты ли сама последние годы по новым кругам вела и вела, горчайшие в мире волго-донские воды из пригоршни полной испить дала... О, не твои ли трубы рыдали четыре ночи, четыре дня пятого марта в Колонном зале над прахом, при жизни кромсавшим меня... Не ты ль - чтоб твоим защитникам в лица вновь заглянула - меня загнала в психиатрическую больницу, и здесь, где горю ночами не спится, встала в рост, и вновь позвалана новый круг, и опять за собой, за нашей совместной народной судьбой. Веди ж, я знаю - тебе подвластно все существующее во мне. Я знаю паденья, позор напрасный, я слабой бывала, постыдной, ужасной - я никогда не бывала несчастной в твоём сокрушающем ложь огне. Веди ж, открывай, и рубцуй, и радуй! Прямо в глаза взгляни и скажи: «Ты погибала в заправду - как надо. Так подобало. Да будет жизнь!»

«Какая темная зима...»

Какая темная зима, какие долгие метели! Проглянет солнце еле-еле - и снова ночь, и снова тьма... Какая в сердце немота, ни звука в нем, ни стоны даже... Услышит смерть - и то не скажет. И кто б ответил? Пустота... О нет, не та зима, не та... И даже нежности твоей возврат неожиданный и летучий, зачем он мне? Как эти тучи: под ними жизнь еще темней, а мне уже не стать певучей. Но разве же не я сама себе предсказывала это, что вот придет совсем без света, совсем без радости зима?..

Вступление в поэму

Дума

Меня никто не встретит здесь. Однабреду по этой улице. Со мноюлишь ранняя, знобящая веснада чей-то шепот сразу за спиною –наверно, время или тишина... Нет, знаю, знаю – это вновь она,струна в тумане, полная весною,старинная заставская струна.Меня никто не знает здесь. А я здесь родилась. Здесь молодость мояоперилась. Здесь первый дом и школа,и первая ячейка комсомола,и первая влюбленность и семья,бессонницы студенческих ночей,и в клубах на торжественных собранияхрассказы старых палевских ткачей –бессмертные бунтарские преданья.Здесь первый твой неукротимый зов –отчизна, революция, любовь –и первый смутный жгучий призрак славы...Истоки жизни – Невская застава.Здесь полдень был...Да, был такой один,наполненный сиянием безмерным,его я называю днем вершин,а было это летом в сорок первом.И было это вновь за Невской, тут –в отцовском старом доме...Тут, где нынетропинки вместо улицы бегути горько пахнет зоною пустыни...Так где ж мои свидетели, о, где? Кто подтвердит над пеплом стольких бедствий,что вправду были молодость и детство,и день вершин – мой первый зрелый день?Кто подтвердит?И, ревность не тая, –струна в тумане отвечает:«Я!»Как в полдень тот клубились облака,стеной с земли вздымались величавой,и к ним, в их дебри,шли и шли войскана ближний подступ, Невскую заставой.Как трясся дом! Уже недалеко,в тех облаках, урча, клубились взрывы,а в комнате,среди седых икон,спокойно, истово, кеторопливокончалась бабка наша, мать отца.Чуть видный в солнце, алый луч лампадымерцал на сухоньких чертах лицаи на руках, уложенных как надо.Вдова обуховского пушкаря(девятого расстрелян января),мать металлистов невских, богомолка,свекровь ткачих и крестная солдат,прабабка некрещеных октябрюти бабка многих первых комсомолок, –в свой смертный час,в последний свойземной, –она, как мы, жила одним: войной.Не трубам дряхлых ангелов своихона внимала обостренным слухом,но взрываю бомб,в окошки бившим глухоиз облаков, где пенились бои...А что она могла?Сражались внуки,шли в ополченье старики, сыны.....И вдруг для гроба сложенные рукиона разжала, властью полны.«А где Москва?» – она меня спросила.Я указала вдаль, в окно... Тогда трикрат она Москву благословилаогромною рукою в темных жилах,и в ней – почти столетием труда.«А море где?»Я указала вправо,и сторону, где Финский был залив,она благословила величаво,а там уже пылали корабли,а где-то в этот миг или позднее –ведь времени не стало в эти дни –уже Гастелло падал, пламенея,на стан врагов...И дрогнули они.Она благословила юг и север,всё, что могла, старуха, мать отцов,и лишь тогда, светлея перед всеми,окостенело намертво лицо.Я в город шла пешком, была тревога.Я долго через всю заставу шла.С младенчества знакомая дорогасейчас неузнаваемой была.Росли, вздымаясь бурно, баррикады,и окна сузились до амбразур,и был жесток монгольский их прищур,а мимо шли рабочие отряды,шли прямо в бой и прямо под огнем,шли с песнею, по-новому пропетой, –«И как один умремза власть Советов...»И диабаз гремел под их ногами,и кто-то нес на новеньком древкестаринное завкомовское знамя,хранившееся в красном уголке.И оттого, что отблеск исступленьялежал на всеми смертью путь грозил, –пронзил меня озноб ожесточенья,восторг единоборства охватил.И вдруг всей жизнью – всею, а не частьюсегодняшней –я стала жить, спеша,и только полднем, только чистым счастьем,ликуя, переполнилась душа.Как будто б шла я по одним вершинам,как будто б вечным праздником былався жизнь моя, не зная ни единойпечали,горести,сомнений, зла.Всё, что дарил мне труд, любовь, искусство,как в мощный луч, стремительно слилосьв одно всепоглощающее чувствои именем Отчизны назвалось....И вновь я пионеркою стоялапод знаменем, чтоб обещанье дать.Значок костра на галстукке на алом,и онемевших пальцев не разнять.«Даю торжественное обещанье,что буду делу партии верна...О, только бы скорей на испытанье –на страшное – отправила страна!Отправь на баррикады – так, как в песне, –на баррикады, в ураган огня,как в дни Коммуны – нет, на Красной Пресне,нет, как в Семнадцатом, – отправь меня!»И наступает юность. И проходится в жажде подвига, в работе неустанной –в порту, на новостройках, на заводе,в пустынях и колхозах

Казахстана. Я вспомнила – вернее, я вдохнула степной, полынный, суховатый воздух, и узкий полумесяц над аулом, и на рассвете розовые звезды. Она со мною, молодость, со мной, она, как детство, призвана войной, она была бродячей, беспокойной, но за горенье сердца, за труды признала партия – она достойна войти в ее суровые ряды. И точно вновь в тот день я получала пред совестью партийный свой билет, и он, как знамя маленькое, – алый, костер на сердце, животворный свет. О наши справедливые знамена, костры, неугасимые вовек! Как много лет, светло и непреклонно, несет вас в мир советский человек. О, как звенит заставская струна – старинная любимица гитара! Пятидесятый год, весна, весна, а сорок первый вспомнился не даром. Затем, что миром дышит этот вечер, как и везде, по всей родной земле, что легкий пух садится мне на плечи, нежнейший пух цветущих тополей, что радостно его прикосновение, что пахнет влагой, листьями – весной, что ожидание счастья, нетерпение, как в юности, овладевает мной. Ты рядом, счастье, ты – за той калиткой, за этим поворотом, за углом, вот здесь, под этой старой мудрой липой, где был когда-то милый отчий дом, где прародительница всей семьи в свой смертный час, смятенья не изведав, четыре стороны родной земли благословила, завещав победу. И кто сказал неправду, будто б тут меня никто не встретит и не знает? Все любят, помнят, верят, узнают, всё новизной безмерною встречает. Мой дом разрушен восемь лет назад – а ныне здесь глубоко взрыта почва: здесь будет сад, дремучий новый сад, он вырастет стремглав однажды ночью. Так научились мы сажать сады и создавать подоблачные зданья... Что не под силу было молодым – доступно возмужалому дерзанию. Прекрасна юность. Радостней всего ее полет, еще не позабытый... Но нету горделивей ничего, чем ощущение своего зенита. Как много сил, а всё еще в начале! Всё выстрадано, взято навсегда, всё – правда, жизнь! Богатство за плечами – пути войны, и мира, и труда. И пусть рубцы... Когда боялась ран я? За счастье служить своей стране всё приму, любое испытание, как знак ее доверия ко мне. И славою считаться мы не будем! Мы просто отдадим, не пожалев, всё, что еще понадобится людям, чтоб коммунизм построить на земле.

К песне

Очнись, как хочешь, но очнись во мне - в холодной, онемевшей
глубине. Я не мечтаю - вымолить слова. Но дай мне знак, что ты еще
жива. Я не прошу надолго - хоть на миг. Хотя б не стих, а только вздох
и крик. Хотя бы шепот только или стон. Хотя б цепей твоих негромкий звон.

Отрывок

Достигшей немого отчаянья, давно не молящейся богу, иконку «Благое Молчание» мне мать подарила в дорогу. И ангел Благое Молчание ревниво меня охранял. Он дважды меня нечаянно пути повернул. Он знал... Он знал, никакими созвучьями увиденного не передать. Молчание душу измучит мне, и лжи заржавеет печать...

Обещание

...Я недругов смертью своей не утешу, чтоб в лживых слезах захлебнуться могли. Не вбит еще крюк, на котором повешусь. Не скован. Не вырыт рудой из земли. Я встану над жизнью бездонной своею, над страхом ее, над железной тоскою... Я знаю о многом. Я помню. Я смею. Я тоже чего-нибудь страшного стою...

Ответ

А я вам говорю, что нетнапрасно прожитых мной лет,ненужно пройденных путей,впустую слышанных вестей.Нет невоспринятых миров,нет мнимо розданных даров,любви напрасной тоже нет,любви обманутой, больной, -ее нетленно-чистый светвсегда во мне,всегда со мной.И никогда не поздно снованачать всю жизнь,начать весь путь,и так, чтоб в прошлом бы - ни слова,ни стопа бы не зачеркнуть.

Из «Писем с дороги»

Темный вечер легчайшей метелью увит, волго-донская степь беспощадно бела... Вот когда я хочу говорить о любви, о бесстрашной, сжигающей душу дотла. Я ее, как сейчас, никогда не звала. Отыщи меня в этой февральской степи, в дебрях взрытой земли, между свай эстакады. Если трудно со мной – ничего, потерпи. Я сама-то себе временами не рада. Что мне делать, скажи, если сердце мое обвивает, глубоко впиваясь, колючка, и дозорная вышка над нею встает, и о штык часового терзаются низкие тучи? Так упрямо смотрю я в заветную даль, так хочу разглядеть я далекое, милое солнце... Кровь и соль на глазах! Я смотрю на него сквозь большую печаль, сквозь колючую мглу, сквозь судьбу волгодонца... Я хочу, чтоб хоть миг постоял ты со мной у ночного костра – он огромный, трескучий и жаркий, где строители греются тесной гурьбой в огонь неподвижные смотрят овчарки. Нет, не дома, не возле ручного огня, только здесь я хочу говорить о любви. Если помнишь меня, если понял меня, если любишь меня – позови, позови! Ожидаю тебя так, как моря в степи ждет ему воздвигающий берегав ночь, когда окающая вьюга свистит, и смерзаются губы, и душат снега; в ночь, когда костенеет от стужи земля, – ни костры, ни железо ее не берут. Ненавидя ее, ни о чем не моля, как любовь, беспощадным становится труд. Здесь пройдет, озаря пустыню, волна. Это всё про любовь. Это только она. О, как я от сердца тебя отрывала! Любовь свою – не было чище и лучше – сперва волго-донским степям отдавала... Клочок за клочком повисал на колючках. Полынью, полынью горчайшею веет над шлюзами, над раскаленной землей... Нет запаха бедственнее и древнее, и только любовь, как конвойный, со мною. Нас жизнь разводила по разным дорогам. Ты умный, ты добрый, я верю доньше. Но ты этой жесткой земли не потрогал, и ты не вдыхал этот запах полыни. А я неустанно вбирала дыханье тот запах полынный, то горе людское, и стало оно, безысходно простое, глубинным и горьким моим достоянием. ...Полынью, полынью бессмертною веет тот шлюзов бетонных до нашего дома... Ну как же могу я, ну как же я смею, вернувшись, «люблю» не сказать по-другому!

Из цикла «Волго-Дон»

Я сердце свое никогда не щадила: ни в песне, ни в горе, ни в дружбе, ни в страсти... Прости меня, милый. Что было – то было. Мне горько. И все-таки всё это – счастье. И то, что я страстно, горяче тоскую, и то, что, страшась неизбежной напасти, на призрак, на малую тень негодую. Мне страшно... И все-таки всё это – счастье. О, пусть эти слезы и это удушье, пусть хлещут упреки, как ветки в ненастье. Страшной – всепрощенье. Страшной – равнодушие. Любовь не прощает. И всё это – счастье. Я знаю теперь, что она убивает, не ждет сострадания, не делится властью. Покуда прекрасна, покуда живая. Покуда она не утеша, а – счастье... И вновь одна, совсем одна – в дорогу. Желанный путь неведом и далек, и сердце жжет свобода и тревога, а в тамбуре – свистящий холодок. Как будто еду юности навстречу... Где встретимся? Узнаю ли? Когда? Таким ли синим будет этот вечер? Такой ли нежной первая звезда? Она тогда была такой. Несмело, тихонько зажигалась в вышине, и разгоралась, и потом летела все время рядом с поездом – в окне. А полустанок, где всегда хотелось вдруг соскочить по крутой дорожке уйти в лесок, сквозной, зелено-белый, и жить вон в той бревенчатой сторожке? А пристань незнакомая, ночная, огни в воде, огни на берегу... Там кто-то ждет, и я его не знаю, но даже издали узнать смогу. Еще минута – подойдет и скажет: «Ну, наконец ты здесь! А я – к тебе». И я сначала не отвечу даже, я только руки протяну судьбе. Пусть этого не будет, пусть, но может, ведь может быть?! И, сердце веселя, все обещает счастье, все тревожит пути к труду, большому, как Земля. Мне встретится ли такой же полустанок, такая ж пристань, с той же ворожкой, мне, знающей давно, что не расстанусь ни с городом, ни с домом, ни с тобой?.... И все-таки я юность повстречала – мою, прекрасную, но ставшую иной: мы встретились у черных свай причала, в донской степи, завьюженной, ночной; там, где до звезд белы снега лежали, там, где рыдал бубенчик-чародей, где ямщики под песню замерзали, под ту, что нет печальней и светлей. Не в той юнгштурмовке темно-зеленой, в другой одежде, с поступью иной, – как рядовой строитель Волго-Дона, так повстречалась молодость со мной..... И долго буду жить я этой встречей, суровой встречей, гордой и простой. Нет, был не ласков тот февральский вечер – он был железным трепетом отмечен высшей – трагедийной – красотой. Нас было трое около причала, друг друга мы не знали до сих пор. Мы молча грелись у костра сначала, не сразу завязался разговор. Но были мы ровесники – все трое, всю жизнь свою мечтали об одном. Один, в тридцатом Тракторный построив, оборонял его в сорок втором. Другой, надвинув шапку на седины, сказал, что ровно десять лет назад такие ж вьюги он водил машины по Ладоге в голодный Ленинград. Мы даже детство вспомнили – все трое: гражданскую, воззвания Помголаи первый свет – он хлынул с Волховстрояи прямо в юность, прямо в здание школы! Потом, оставив младшим братьям парты, мы вышли в жизнь, к труду, и перед нами родной земли распаханная карта сверкнула разноцветными огнями. Потом страна, от взрослых до ребенка, с волнением следила за рождением бетонной днепрогэсовской гребенки... Она была эмблемой поколенья! Потом пылал Мадрид. К нему на помощь в буришел караван советский напролом, и голосом Долорес Ибаррури Испания твердила: «Мы пройдем!»... За нами были войны, труд, утраты, судьбы неоднократный перелом; мы знали День Победы в сорок пятом ждали моря в пятьдесят втором. Причал простерся над земною сушей, под ним мела поземка злей и злей, но, как живой – как мы, – он чуял душу издалека идущих кораблей. Они придут – мы знали срок прихода. Их высоко над миром вознесут, поднимут на себе донские воды волжскому простору отдадут. И мы глаза невольно поднимали к земле, со дна, где снег летел, пыля, как будто б днище и огни видали идущего над нами корабля... Вот он проходит над судьбою нашей... Рожденный нами! Доброго пути! Тебе к Москве, из водной чаши в чашу, сквозь арки триумфальные идти. Держи спокойно небывалый путь! На каждом шлюзе, у любых причалов будь горд и светел, но не забудь рядовых строителей канала... А Дон качался близ насосных башен, за плотную бетонную стеной. Он подошел, он ждал – в морскую чашу скорей ударить первую волной. И – берег моря – дыбилась плотина, огромная, как часть самой Земли. Гряды холмов суровые вершины вздымала

и терялася вдали, там, где сквозь мглу, заметная с причала, как врезанная в небо навсегда, над лучшим экскаватором мерцала тяжелая багровая звезда. Плотина будет тверже, чем гранит: она навеки море сохранит. Тут вся земля испытана на сдвиги только в тишине лабораторий – всей тяжестью страданий и любви, неумолимой поступью Истории. И камень выбран. В разных образцах его пытали холодом и зноем, выбрали надежный, как сердца, испытанные и трудом, и боем. Не сдвинутся, не дрогнут берега, навек воздвигнутые на равнине, но примут море, сберегут снега, снега степей, бессмертные отныне. А на плотине возвышалось зданье легчайшее, из белых кирпичей. Шло от него жемчужное сияние, туман пронзая сотнями лучей. Туман, туман светящийся, морозный, костры и снег, столпившийся народ, земля в холмах, хребет плотины грозный, звезда вдали, и возглас: «Дон идет!» И вздрогнул свет, чуть изменив оттенок... Мы замерли – мотор уже включен! За водосбросом, за бетонной стенкой всхрапнул и вдруг пошевелился Дон. И клочьями, вся в пене, ледяная, всей силой человеческой сильна, с высокой башни ринулась донская – в дорогу к Волге – первая волна.... Я испытала многие невзгоды. Судьбе прощаю все, а не одну – за ночь, когда я приняла с народом от Дона к Волге первую волну... От Дона к Волге первая волна – как нелегко досталась нам она... И странно было знать, что – пусть не рядом, но там, где бьет Атлантики волна, – холодным, пристальным, змеиным взглядом следит за этим вечером война. И видит всё, во что вложили души... И это зданье, этот водоем она уже наметила – разрушить, как Тракторный тогда, в сорок втором. Но мы – мы тоже помним эти годы. Мы помним – в сорок третьем, в феврале, на этой же недрогнувшей земле, здесь, где мы встретили донские воды, где море, точно памятник, встает над кровью воинов – над рубежами славы, – здесь был навеки перебит хребет фашистской бронированной державы. Пусть ни на миг об этом не забудет тот, кто грозит, что война близка. У нас развалин на земле не будет. Мы строим прочно. Строим на века.

«Ленинград - Сталинград - Волго-Дон...»

Ленинград - Сталинград - Волго-Дон... Незабвенные дни февраля... Вот последний души перегон, вновь открытая мной земля. Нет, не так! Не земля, а судьба. Не моя, а всего поколения: нарастающая борьба, восходящее вдохновение. Всё, что думалось, чем жилось, всё, что надо еще найти, - точно в огненный жгут сплелось в этом новом моем пути. Снег блокадный и снег степной, сталинградский бессмертный снег; весь в движении облик земной и творец его - человек... Пусть, грубы и жестки, словаточны сваи причалов стоят, - лишь бы только на них, жива, опиралась правда твоя...

Побратимы

Михаилу Светлову

Мы шли Сталинградом, была тишина, был вечер, был воздух морозный кристален. Высоко крещенская стыла луна над стрелами строек, над щебнем развалин. Мы шли по каленой гвардейской земле, по набережной, озаренной луною, когда перед нами в серебряной мгле, чернея, возник монумент Хользунова. Так вот он, земляк сталинградцев, стоит, участник воздушных боев за Мадрид... И вспомнилась песня как будто б о нем, о хлопце, солдате гражданской войны, о хлопце, под белогвардейским огнем мечтавшем о счастье далекой страны. Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!..» Но только, наверно, ошибся поэт: тот хлопец – он белыми не был убит. Прошло девятнадцать немислимых лет – он все-таки дрался за город Мадрид. И вот он – стоит к Сталинграду лицом, смотрит, бессмертный, сквозь годы, сквозь буритуда, где на площади Павших Борцов испанец лежит – лейтенант Ибаррури. Пасионарии сын и солдат, он в сорок втором защищал Сталинград, он пел, умирая за эти края: «Россия, Россия, Россия моя...» И смотрят друг другу в лицо – на века – два побратима, два земляка.

В ложе Цимлянского моря

Как здесь прекрасно, на морском просторе, на новом, осяянном берегу. Но я видала всё, что скрыло море, я в недрах сердца это сберегу. В тех молчаливых глубочайших недрах, где уголь превращается в алмаз, которыми владеет только щедрый... А щедрых много на земле у нас.

Этот лес посажен был при нас – младшим в нем не больше двадцати. Но зимой пришел сюда приказ: «Море будет здесь. Леса – снести. Морю надо приготовить ложе, ровное, расчищенное дно. Те стволы, что крепче и моложе, высадить на берег, над волной. Те, которые не вынуть с комом, – вырубить и выкорчевать пни. Строится над морем дом за домом, много тесу требуют они. Чтобы делу не было угрозы (море начинало подходить), вам, директору лесопромхоза, рубкой самому руководить. Ложе расчищать и днем и ночью. Сучья и кустарник – жечь на дне. Море наступает, море хочет к горизонту подойти к весне». У директора лесопромхоза слез не навернулось: он солдат. Есть приказ – так уж какие слезы. Цель ясна: вперед, а не назад. Он сказал, топор приподнимая, тихо, но слышали и вдали: «Я его сажал, я лучше знаю, где ему расти... А ну, пошли!» Он рубил, лицо его краснело, таял на щеках колючий снег, легким пламенем душа горела – очень много думал человек. Думал он: «А лес мой был веселым... Дружно, буйно зеленел весной. Трудно будет первым новоселам, высаженным прямо над волной... Был я сам на двадцать лет моложе, вместе с этим лесом жил и рос... Нет! Я счастлив, что морское ложе тоже мне готовить привелось». Он взглянул – костры пылали в ложе, люди возле грелись на ходу. Что-то было в тех кострах похожена костры в семнадцатом году в Питере, где он красногвардейцем грелся, утирая снег с лица, и штыки отсвечивали, рдеясь, перед штурмом Зимнего дворца. Нынче в ночь, по-новому тверда, мир преображала власть труда.

Балка Солянка

...А балку недаром Солянкой называли. Здесь речка когда-то жила, хорошея. Жила, но исчезла: ее затерзали колючие, мглистые суховеи. И почва соленая стала навечно, как будто бы насквозь пропиталась слезами, горячей печалью исчезнувшей речки, бегущей, быть может, чужими краями. А может быть, люди в слезах горевали о светлой, о доброй, несущей прохладу над высохшим руслом ее вспоминали простую, бесценную давнюю радость. И люди нашли и вернули беглянку... И мне ли не помнить сверкающий полдень, когда в омертвевшую балку Солянку из камеры шлюза рванулись волны. И пахло горячей полынью. И млели просторы в стеклянном струящемся зное, и жаворонки испуганно звенели в дуге небосвода над бурой волною. Река возвращалась сюда не такую, какою отсюда давно уходила: со всею столетиями зрелой тоскою, достигшей бесстрашия и творческой силы. Вначале она узнавала. Вначале всё трогала волнами, точно руками: «Здесь дикие лебеди в полночь кричали...» «Здесь был острогрудый, неласковый камень...» «Здесь будут затоны, ракиты, полянки». «Здесь луг, домоткаными травами устлан...» О, как не терпелось речке Солянке обжить, обновить забытое русло! И, властно смывая коросту из соли жаворонков неостывшие гнезда, река разливалась всё шире, всё более, уже колыхала тяжелые звезды, сносила угрюмых поселков останки, врывалась в пруды молодого селенья..... Прости, что я плачу над речкой Солянкой, предчувствуя день своего возвращенья... Мы шли вдоль речки, а она рождалась при всех, в степи полынно-голубой. В какой-то выбоинке задержалась, кружилась там, играла и дрожала, потом опередила нас с тобой. И к Волге, вдаль пошла нетерпеливо, валы росли, вздымая гребешок, и кто-то мне сказал, как я - счастливый: «Ну, дай же руку! Видишь - хорошо...» Да, так хотелось, видя эту реку, рожденную людьми, в степи, в песке, идти за ней руку человека, хоть незнакомого, - держать в руке.

В Сталинграде

Здесь даже давний пепел так горяч, что опалит –
вдохни, припомни, тронь ли... Но ты, ступая по нему,
не плачь перед пеплом будущим не дрогни...

В доме Павлова

В твой день мело, как десять лет назад. Была метель такой же, как в блокаду. До сумерек, без цели, наугад бродила я одна по Сталинграду. До сумерек – до часа твоего. Я даже счастьем не отдам его. Но где сказать, что нынче десять лет, как ты погиб?.. Ни друга, ни знакомых... И я тогда пошла на первый свет, возникший в окнах павловского дома. Давным-давно мечтала я о том – к чужим прийти как близкой и любимой. А этот дом – совсем особый дом. И стала вдруг мечта неодолимой. Весь изрубцован, всем народом чтим, весь в надписях, навеки неизменных... Вот возглас гвардии, вот вздох ее нетленный: «Мать Родина! Мы насмерть здесь стоим...» О да, как вздох – как выдох, полный дыма, чернеет букв суровый тесный ряд... Щепоть земли твоей непобедимой берут с собой недаром, Сталинград. И в тот же дом, когда кругом зола еще хранила жар и запах боя, сменив гвардейцев, женщина пришла восстановить гнездо людское. Об этом тоже надписи стоят. Год сорок третий; охрой скупой, сжато начертано: «Дом годен для жилья». И подпись легендарного сержанта. Кто ж там живети как живет – в постройке, священной для народа навсегда? Что скажут мне наследники героев, как объяснить – зачем пришла сюда? Я, дверь не выбирая, постучала. Меня в прихожей, чуть прибавив света, с привычною улыбкой повстречала старуха, в ватник стеганый одета. «Вы от газеты или от райкома? В наш дом частенько ходят от газет...» И я сказала людям незнакомым: «Я просто к вам. От сердца. Я – поэт». – «Нездешняя?» – «Нет... Я из Ленинграда. Сегодня память мужа моего: он десять лет назад погиб в блокаду...» И вдруг я рассказала про него. И вот в квартире, где гвардейцы бились (тут был КП, и пулемет в окне), приходу моему не удивились, и женщины обрадовались мне. Старуха мне сказала: «Раздевайся, напьемся чаю – вон, уже кипит. А это – внучки, дочки сына Васи, он был под Севастополем убит. А Миша – под Японией...» Старуха уже не плакала о сыновьях: в ней скорбь жила бессрочно, немо, глухо, как кровь и как дыханье, – как моя. Она гордилась только тем, что внучки из-под огня сумела увести. «А старшая стишки на память учить тоже сочиняет их... Прочти!» И рыженькая девочка с волнением прочла стихи, сбиваясь второпях, о том, чем грезит это поколение, – о парусе, белеющем в степях. Здесь жили рядовые сталинградцы: те, кто за Тракторный держали бой, и те, кто знали боль эвакуации и возвратились первыми домой... Жилось пока что трудно: донимала квартирных неполадок маета. То свет погас, то вдруг воды не стало, и, что скрывать, – томила теснота. И, говоря то с лаской, то со смехом, что каждый, здесь прописанный, – герой, жильцы уже мечтали – перебраться дома, что рядом поднял Гидрострой. С КП, из окон маленькой квартиры, нам даже видно было, как плыла над возникавшей улицей Мирав огнях и вьюге – узкая стрела. «А к нам недавно немки прилетали, – сказала тихо женщина одна, – подарок привозили – планетарий. Там звезды, и планеты, и луна...» «И я пойду взглянуть на эти звезды, – промолвил, брови хмуря, инвалид. – Вот страшно только, вдруг услышу: «Во-оз-дух!» Семья сгорела здесь... Душа болит». И тут ворвался вдруг какой-то парень, крича: «Привет, товарищи! Я к вам... Я – с Карповской... А Дон-то как ударит! И – двинул к Волге!.. Прямо по снегам...» И девочка схватилась за тетрадку и села в угол: видимо, она хотела тотчас написать украдкой стихотворенье «Первая волна»... Здесь не было гвардейцев обороны, но мнилось нам, что общий наш рассказ о будущем, о буднях Волго-Дона они ревниво слушают сейчас... А дом – он будет памятником. Знамя – огромное, не бархат, но гранит, не меркнувшее каменное пламя – его фасад суровый осенит. Но памятника нет героям краше, чем сердце наше, жизнь простая наша, обычная жизнь под этой кровлей, где каждый камень отвоеван кровью, где можно за порогом каждой двери найти доверье за свое доверье и знать, что ты не будешь одинок, покуда в мире есть такой порог...

Послесловие

...И это - вступление к поэме, к той, что пока в груди, к той, что в любое время, всегда - впереди, впереди. Не раз меня обжигала начатая строка: «Это ее начало. Это ее рука». Но, завершив работу, перечитав листы, свой же слышала шепот: «Это еще не ты». И в тайном этом признанье не только печаль одна, но редкостное сознание, что вся впереди она, что мне заветную тему вновь воплощать и вновь, что я назову поэму по праву: «Скала Любовь».

«И все, кто порицал...»

И все, кто порицали кто хвалил, те, что преследовали, что любили, - равно печальные придут к моей могиле, и каждый бросит в яму горсть земли. Последний дар, вручаемый людьми. Но ты не делай этого - не надо. Ты мне когда-то подарил весь мир, всю горечь мира, всю его отраду. Нет, даже мертвой - мне не нужен прах из рук твоих..... А уж живой - тем боле. Я лучше захлебнусь - в вине, в обиде, в боли, в своих пустых и темных вечерах.

Церковь «Дивная» в Угличе

Евгению Ефремову

А церковь всеми гранями своимитак ой прекрасной вышла, что народей дал свое – незыблемое – имя, –ее донине «Дивною» зовет.Возносятся все три ее шатрастоль величаво, просто и могуче,что отблеск дальних зорьежит на них с утра,а в час грозных осеняют тучи.Но время шло – все три столетья шло...Менялось всё – любовь, измена, жалость.И «Дивную» полынью занесло,она тихонько, гордо разрушалась.Там в трещине березка проросла,там обвалилась балка, там другая... О нет, мы «Дивной» не желали зла.Ее мы просто не оберегали....Я знаю, что еще воздвигнут зданья,где стоит кнопку малую нажать –возникнут сонмы северных сияний,миры друг друга станут понимать.А «Дивную» – поди восстанови,когда забыта древняя загадка,на чем держалась каменная кладка:на верности, на правде, на любви?Узнала я об этом не вчераи ложью подправлять ее не смею.Пусть рухнут на менявсе три ее шатравсей неподкупной красотой своею.

«Здесь лежат ленинградцы...»

Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане – мужчины, женщины, дети. Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград, колыбель революции. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням: никто не забыт, и ничто не забыто. В город ломались враги, в броню и железо одеты, но с армией вместе встали рабочие, школьники, учителя, ополченцы. И все, как один, сказали они: «Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти». Не забыта голодная, лютая, темная зима сорок первого – сорок второго, ни свирепость обстрелов, ни ужас бомбежек в сорок третьем. Вся земля городская пробита. Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто. Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды подвиг свой ежедневный вы свершали достойно и просто, и вместе с отчизной своей вы все одержали победу. Так пусть же пред жизнью бессмертной вашей на этом печально-торжественном поле вечно склоняет знамена народ благодарный, Родина-мать и город-герой Ленинград.

Евгению Львовичу Шварцу

Не только в день этот праздничный - в будни не позабуду: живет между нами сказочник, обыкновенное Чудо. И сказочна его доля, и вовсе не шестьдесят лет ему - много более! Века-то летят, летят... Он ведь из мира древнейшего, из недр человеческих грез свое волшебство вернейшее, слово свое нежнейшее к нашим сердцам пронес. К нашим сердцам, закованным в лед (тяжелей брони!), честным путем, рискованным дошел, растопил, приник. Но в самые темные годы от сказочника-поэта мы столько вдохнули свободы, столько видали света. Поэзия - не стареется. Сказка - не «отстает». Сердце о сказку греется, тайной ее живет. Есть множество лживых сказок - нам ли не знать про это! Но не лгала ни разумная сказка поэта. Ни словом, ни помышлением она не лгала, суровая. Спокойно готова к гонениям, к народной славе готовая. Мы день твой с отрадой празднуем, нам день твой и труд - ответ, что к людям любовь - это правда. А меры для правды нет. Простите бедность этих строк, но чем я суть их приукрашу? Я так горжусь, что дал мне бог поэзию и дружбу Вашу. Неотторжимый клин души, часть неплененного сознания, чистейший воздух тех вершин, где стало творчеством - страданье, - вот надо мною Ваша власть, мне все желаннее с годами... На что бы совесть оперлась, когда б Вас не было меж нами?!

Из цикла «Анне Ахматовой»

...Она дарить любила. Всем. И - разное. Надбитые флаконы и картинки жизнь свою, надменную, прекрасную, до самой той, горючей той кровинки. Всю - без запинки. Всю - без заминки....Что же мне подарила она? Свою нерекламную твердость. Окаяннейшую свою, молчаливую гордость. Волю - не обижаться на тех, кто желает обидеть. Волю - видеть до рези в глазах, и все-таки видеть. Волю - тихо, своею рукой задушить подступившее к сердцу отчаянье, Волю - к чистому, звонкому слову. И грозную волю - к молчанию. У Фонтанного дома, у Фонтанного дома, у подъездов, глухо запахнутых, у резных чугунных ворот гражданка Анна Андреевна Ахматова, поэт Анна Ахматована дежурство ночью встает. На левом бедре ее тяжелеет, обвиснув, противогаз, а по правую руку, как всегда, налегке, в покрывале одном, приоткинута над сиянием глаз, гостя милая - Муза с легкой дудочкою в руке. А напротив, через Фонтанку, - немые сплошные дома, окна в белых крестах. А за ними ни искры, ни зги. И мерцает на стеклах жемчужно-прозрачная тьма. И на подступах ближних отброшены снова враги. О, кого ты, кого, супостат, захотел превозмочь? Или Анну Ахматову, вставшую у Фонтанного дома, от Армии не вдалеке? Или стражу ее, ленинградскую эту бессмертную белую ночь? Или Музу ее со смертельным оружием, с легкой дудочкой в легкой руке?

«О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи...»

О, как меня завалило жгучим пеплом эпохи! Пеплом ее трагедий, пеплом ее души...
Из зыбкой своей могилы: «Милый, - кричу я, - милый, спаси, хотя бы
внемли!..» Из жаркой своей могилы кричу: «Что было, то было. То, что свершается,
свершается не при нас... Но - с моего согласия!..»

Ахматовой

Здесь только крест из дереваневиданной породы над холмомодни трилистники
встают. Здесь - только Ты. Ты - как сама природа. Ты и твоя последняя свобода...
Бездомный, как всегда, твой мировой уют... О живущая нестерпимо, о идущая
неизгладимо, оставляющая светоносный след! Что за благодать ко мне явилась?
Божья ль это, людская милость? Рядом быть с твоею судьбой, заслонять хоть на миг
собой. Что ж, что это было напрасно? Часто робким, чаще безгласным, по своим
законам живем. По кремнистым путям идем. Я иду за тобою след
в след. Я целую его свет в свет. Я бессонна, как ты, бред в бред. Знаю так же,
как ты, что смерти нет.

Твардовскому

Ты как остраквечному злословью равнодушья. Ты – совесть и гордыня
поколенья. Праправнук протопопа Аввакума – нежнейший, беспощадный, чистый
свет...

Светлову

Юности великая гордыня, Знамя и свобода - только ты. Знаю - ты ведешь
меня доныне через разведенные мосты...

Ленинграду

Но для меня не существует дат.

Теперь уж навеки, теперь до конца незыблемо наше единство. Я мужа тебе отдала, и отца, и радость свою – материнство. И нет мне дороже награды, чем в годы военной угрозы моих благородных согражданские и светлые слезы. За всё и за всех виноватой, душе не сказавшей «прости», одной мне из этой палаты, одной никогда не уйти.

из дневников 1939-1942 годов

Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей, – связанных с ней испытаний души – тягчайший грех. Недаром в древности говорили:

- Если забуду тебя, Иерусалиме...

15/VII-39

13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю и родных, – и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, – но я живу... подкрасила брови, мажу губы...

Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего...

4/IX-39

Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы. (Отнесла стихи в «Известия», составила книжку стихов. «Да, взлета, колодца – все еще нет, да и будет ли он у меня?»)

21/LX-39

Тупость проходит понемногу-понемногу. Но все еще пресно. Хочется абсолютного одиночества, потому что в нем можно хотя бы думать, но донимают приятельницы, надо же поговорить с ними, хоть чувствую от этого свою неискренность и сухость. Много по ночам говорили с Колей о жизни, о религии, о нашем строе. Интересные и горькие мысли. Это, вероятно, приходит человеческая зрелость, ну, а потом, что? Не знаю. Пока все, практически, остается так же незыблемо, как и было. И уже, очевидно, не сможет стать иным или иначе.

А мне не страшно, никаких мыслей; как было страшно, скажем, три года назад... Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет – значит, ничего нет.

15/X-39

Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми – о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой – стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью...

6/XI-39, 2 ч. ночи

Завтра 22 года Октябрьской революции.

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили – коммунистки, беспартийные *честные* товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!

Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.

Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в Советской стране, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам всю жизнь!

Я с вами, товарищи, я с вами, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей – великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!

14/XII-39

Ровно год тому назад я была арестована.

Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Б<ольшой> дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.

...Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)?

И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке «Приключения с Крамольниковым»: «Он понял, что все оставалось по-прежнему, – только душа у него „запечатана“».

«Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: „не нужно“».

Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то «не так» я и хватаюсь. Действительно, как же я буду писать роман о нашем поколении, о становлении его сознания к моменту его зрелости, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?

Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено.

А может быть, это и есть настоящая зрелость? Может быть, и не нужна «система»? Может быть, раздробленность такая появилась оттого, что слишком стройной была система, слишком неприкосновенны фетиши и сама система была системой фетишей? Остается путь, остается история, остается наша молодость, наши искания, наша вера – все остается. Ну, а вывод-то какой мне сделать – в романе, чему учить людей-то? Экклезиастическому «так было – так будет»? Просто дать ряд картин, цепь размышлений по разным поводам – и всё? А общая идея? А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное – последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя... уже по причинам «запечатанности». А последние годы – самое сильное, самое

трагичное, что прожило наше поколение, я же не только по себе это знаю.

Ну ладно. Кончу – обязательно к Новому году, кончу правку истории и возьмусь только за художественное, и буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо, буду пока писать то, что обдумала до тюрьмы (включая человечность, приобретенную мною там, и осмысляя наш путь по-взрослому), а там видно будет, к концу...

Да, но вот год назад я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева, потом металась по матрасу возле уборной – раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (это главное!), и я – уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей... (Это хорошо все, но не главное.)

Значит, я победитель?

Ровно год назад К<удрявцев> говорил мне: «Ваши преступления, вы – преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидеть ни мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии».

Сегодня – все наоборот.

Значит, я – победитель? О нет!

Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. Еще, все еще не хочу. Я внутренне раздавлена тюрьмой, такого признания я не могу сделать, несмотря на все бремя в душе и сознании.

Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать: «Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то... Это не изменило моего отношения к нашим идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отравы. Мне непонятно то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вот вещи кажутся мне неправильными. Вот я вся перед вами – со всей болью, со всеми недоумениями своими». Но этого делать нельзя. Это было бы идеализмом. Что они объяснят? Будет – исключение, осуждение <...> и, вероятнее всего, опять тюрьма.

О, как это страшно и больно! Я говорю себе – нет, довольно, довольно! Пора перестать мучиться химерами! Кому это нужно, твои лирические признания о боли, недоумениях и прочее? Ведь Программу и Устав душой разделяешь полностью? Ведь все поручения стремишься выполнить как можно лучше? Последствия тюремного отравления не сказываются на твоей практической работе, наоборот, я стараюсь быть еще добросовестнее, чем раньше. (Не оттого ли, что стремлюсь заглушить отравление?) Так в чем же дело?

23/XII-39

...Степка не шевелится. Это удручает меня. Неужели опять – авария? Я знаю, что это почти безрассудно заводить сейчас ребенка: война, болезнь Коли, материальная необеспеченность, а сколько будет забот, и тревог, и быта! Но я рвусь к этому как к спасательному кругу: мне кажется, что тот, кто должен был появиться, как-то примирит нас с жизнью, наполнит ее важным, действительным смыслом.

Я говорю о действительном, вечном, не зависящем от «вражды или близости с Наполеоном», смысле.

Недействительный смысл есть, но этого для жизни мало. Вот 21 декабря я выступала на собрании о Сталине, выступала неплохо, потому что готовилась к докладу очень добросовестно, потом прочитала свой стишок о Сталине. Гром аплодисментов, все были очень довольны и т. д. Ровно год назад я читала этот стишок в тюрьме, будучи оплеванной, низведенной на самую низшую ступень, на самое дно нашего общества, на степень «врага народа»... Как этот слабый стишок там любили! Плакали, когда я дочитывала до конца, и сама я так волновалась, когда читала... Пока не стала думать: «Твоя вина!» Но даже думая так о нем, не могла без волнения читать, я доклады делала с волнением, искренне. Где, когда, почему мы выскочили из колеи?

25/XII-39

Вчера читала материалы газетные о Сталине. Очень гнусная статья П. Тычины в «Литературной газете». А мой этот самый стишок там отказались печатать. Очевидно, как пояснил Володя Л., – тоже не принявший стишка, – «не масштабно, не соответствует величию Сталина». Вот как раз и соответствует величию, еще большему, может быть, чем реальное величие, – величию людского представления о нем.

И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что «он все знает», что это «его вина», – я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с тем, чтобы написать ему о М. Рымшан, Плотниковой, Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили, – это честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до сих пор – в тюрьме. И когда подошла к этому разделу – потухла, что ли. Додик писал Сталину о своем брате, о том, как его пытали, – ответа не получил. Рымшан писал тому же Сталину о своей жене – ответа не получил. Помощи не получил. Ну, для чего же писать мне? Утешить самое себя сознанием своего благородства?

Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как соучастие в преступлении... Но я знаю – это бесполезно. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во все места, и вплоть до Сталина, а «оно» шло само по себе – «идёт, идёт и придёт».

В общем, «псих ненормальный, не забывай, что ты в тюрьме...».

Боже мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне... Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь...

25/I-40

...Машу Рымшан осудили на 5 лет... Все статьи сняли, осудили как «социально опасную». Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие, и всё.

О, как подло.

Даже тот факт, что продолжают выпускать людей, не может снизить, убавить подлости осуждения Маши и ей подобных. Тем более должны были освободить. Не вся правда хуже, чем неправда. Не вся правда – двойной обман.

«Нами человечество протрезвляется, мы – его похмелье, мы – его боль родов», – писал Герцен в 1848 г. Может быть, время поставить под этими словами сегодняшнюю дату? Какой-то маленький светлый кусочек внутри, остаток

безмерной веры – «Клочок рассвета мешает мне сделать это? Или трусость? Или инстинкт самосохранения?».

1/III-40

...Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX века. О, как они были свободны. Как широки и чисты!

А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следователь» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.

А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!

Так и видно, как выкапывали «материал» для idiotских и позорных обвинений.

И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне – вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью – обвинить, очернить и законопатить, – и я спешу приписать что-нибудь объяснительное – «для следователя» – или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя...

О, позор, позор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было...

Писать свое – пьесу, рассказы...

Не думать, не думать об этом хотя бы пока... Все равно никуда не уйдешь от этих мыслей...

25/XII-40

Сегодня в клубе Эренбург, живший во Франции, в Париже – в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи.

Отрывки – до жалости плохи и равнодушны. Стихи академичны, полумертвы (чем-то похожи на мои), но есть хорошие, с настоящей болью.

Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может СЕЙЧАС писать о разгроме Франции! Это так же дико, как если б художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо.

На вечер пришли Таня и Юра Прендели, Таня мне – все равно, а Юра занимает, и даже специфически. Уже некоторое время идет подводная игра, которая может окончиться бурным объятьем, если я того пожелаю.

Но я, по всем данным, не пожелаю этого. Юра – «не наш». Кроме того, меня раздражает его ущемленность по отношению ко мне и Кольке; в этом какая-то неискренность, искусственность отношения. Короче, они были там, и я отправила их домой, а сама навязалась на столик к Германам, жестоко презирая себя за это. Тем более, что Юра Г. написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском.

Он спекулянт, он делега, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо.

Мне надо было сказать ему это, а не втираться к нему на столик.

Потом подсел Зонин с пошлым ухажерством, это было на глазах у Юрки, мне было неудобно, хотя и мелко-лестно (чего мне надо и на что я надеюсь?!), и на вопрос Зонина я ответила, что да, читала его книгу и она мне очень понравилась, но книжки я почти не читала, только начало.

Потом я провожала Зонина до места его ночевки, были обрывки серьезного разговора (ох, сяду я за них, ни за что сяду!) и пошлого флирта на словах...

Все, что сберечь мне удалось, Надежды веры и любви, В одну молитву все слилось: Переживи, переживи!

Зачем этот размен?! Это чисто внешне, души я ничуть не отдаю, но, м. б., и отдаю, и теряю.

Вот с Лидой Ч<уковской> сегодня был хороший разговор. И я постараюсь написать для хрестоматии хорошие рассказы.

Безвременье души, - вообще.

Была в Москве. Встречалась с Сережей. Это ничего не принесло на этот раз, кроме опустошения и тупой боли. Очевидно, потому что он меня вовсе не любит, даже не влюблен, а просто так.

13/III-41

Иудушка Головлев говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?»

Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает и, главное, - зачем, зачем?!

Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова, - сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки.

Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.

Борис в концлагере, а может быть, погиб.

Превосходное стихотворение «Соловьях» было посвящено им Зинаиде Райх, он читал его у Мейерхольда. Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.

Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть...

На бездарном «Дон-Кихоте» в Александринке видела сегодня Виктора Яблонского, с которым связано ощущение целого периода в жизни - знакомство с Горьким, ЛАПП, история с Авербахом. Горький умер. Л. Авербах расстрелян. Миша Чумандрин погиб на финской войне. Володя Эрлих в концлагере. Юрий Либединский разошелся с Муськой. Виктор очень постарел, - значит, и я так же страшно постарела...

Где всё?! Где всё?..

А Ирка, Ирка, господи... А эпилепсия Коли с 32 года? Где всё и зачем всё? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям... Сколько силы было, веры, бесстрашия. Была Ирка,

был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в правильности всего, что делал... Где же, где всё?

26/III-41

Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для маза. Еще я должна написать роман, и выпустить хорошую книгу стихов, и увидеть на экране свой «Первороссийск», а потом уж пускай.

Сейчас я в Доме творчества, в Детском. В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой: «Моя дочь умирает, дайте мне машину» - и поняла, что она действительно умирает... Со смертью ее началась моя смерть, тем более что Я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен.

Второй раз из этого дома - меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть - смерть «общей идеи» во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрерывных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрерывное бегство от самой себя.

Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т. к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе, но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне?

Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее... «Как и жить и плакать без тебя?!»

Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилен. У меня отнята даже возможность «обмена света и добра» с людьми. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей, - хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск. Мне скажут - так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда»...

Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!

Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «всё объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35-38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу - но нет... Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница... В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего - от государства.

Я все ругаю себя разными словами - «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей», - но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползет из всех пор...

Что же может тут сделать психоневролог? Одуричь меня процедурами так, чтоб ложь эта, и гибель идеалов, и ужасный процесс перерождения стал мне

безразличен? Но это последняя смерть, и уже настоящая... Лучше мучительное это безвременье, лучше горький этот кризис, буду думать, что кризис, и буду бесстрашно идти на него...

1/IV-41

Может быть, мне просто нравится так страдать, нравится эта тога «гражданской скорби»? Я просто нравлюсь себе в ней? Но разве я одна так терзаюсь? Все, кого я знаю, особенно коммунисты – Галка, Ирэна, Мара, – живут с таким же трудом, как я. Вчера цензура сняла из верстки «Лит. современника» мое стихотворение «Тост». Оно кончалось:

Так выше бокал новогодний, Наш первый поднимем смелей
За тех, кто не с нами сегодня, За всех запоздавших друзей...

Очень корявое, оно было дорого мне по внутренней своей мысли – хоть слабый сигнал «им»: «мы помним о вас, мы ждем вас», хоть слабый знак приветя. Они – т. е. цензора – догадались. Но формально это причина – «за тех, кто не с нами, – значит, за тех, кто против нас? Значит, за наших врагов?» Суки! Они не имеют права запрещать, – здесь нет ни малейших формальных оснований. Хорошо, я напишу: «за тех, кто далеко сегодня...», и если он (Троицкий) опять зарежет, – полезу на рожон вплоть до горкома. Буду говорить о «травле писателя-коммуниста», о том, что Троицкий не имеет права «пересматривать решение гос. органов в отношении меня...».

С трусами и двуручниками надо говорить на их языке, и – главное – никаких формальных оснований для трактовки моих стихов так, как это трактует цензура, нет. Они не смеют ставить мои стихи в связь с моим пребыванием в тюрьме! Ведь же «открытые» стихи о тюрьме я и не показываю никому. Я вся разворочена этим. Это запрещение – точь-в-точь как лязг тюремного ключа там, напоминание о том, что ты – невольник.

Лязгнуло... И вот от этого лязгнувшего звука опять вышла из равновесия, опять впереди – бесперспективность, тьма...

Надо закончить эту муру – «Ваня и поганка», она даст мне наконец возможность вплотную сесть за роман, а может быть (страшно мечтаю об этом), – съездить на Алтай, по маршруту первороссиян, – м. б., буду писать о них повесть.

Написала стихотворение, которого сама боюсь.

13/IV-41

Вот я и опять в Ленинграде. Да и давно уже, седьмого числа. Может быть, все-таки обратиться к психоневрологу?

Вот, отправлен сценарий, денег есть еще на два месяца, даже если еще тысячу истрачу, надо браться за роман, и вдруг меня одолел страх: мне кажется, что я уже ничего не могу, душевные силы иссякли, да и просто так – трясучка, мерзейшая трясучка одолевает...

Все вроде как куда спешу, все вроде как страх одолевает, невнятный, глупый. Или это все та же утрата общей идеи дает себя знать? Но Коля дал верный совет: писать «без идеи», записывать, как жили, и идея возникнет. Да, писать – вот так мы жили, вот так мечтали, страдали, радовались, отдавали себя. И... ну, – и? И? «И ничего не вышло; они все передрались, ничего не нашли и вернулись обратно», – как сказал один мальчик в ответ на предложенный мною сюжет, как дети отправились искать живую воду. Нет, нет; так рано еще говорить, не надо так думать! Может быть, еще и выйдет. Может быть, этот тяжелый период пройдет,

там вздохнем, после войны.

Все-таки пока не воюем, и за то правительству спасибо. Будем верны знаменам. С верностью знаменам и писать. Но высылка Ирэны? Ведь ее все ж таки высылают, доламывают ее жизнь, доканывают прекрасного, верного человека, ничто, ничто не помогло ей, никакие хлопоты, никакие заступничества... Зачем? Разве это хоть кому-нибудь нужно?

Нет! Как только я прикасаюсь к вопросам этого круга, так перестаю дышать.

20/IV-41

Явная дегенерация: куда-то засунула записную книжечку с телефонами Москвы и не могу найти, а отлично помню, что еще вчера держала ее в руках и даже думала: «Кладу сюда - и забуду...» Вот глупо.

Колька как долго не идет от Молчановых, наверное, сердится на меня за то, что пришла вчера от Анфисы пьяная. А когда он так пыжится, я совершенно теряю способности к деятельности и жизни.

У меня - серия подозрительных удач. Принят сценарий «Ваня и поганка», говорят, что очень там всем понравился, еду завтра по вызову «Мосфильма» в Москву для доработки сценария. Получу, видимо, вторые 25 % и затем, довольно быстро, остальные 50.

Но главное - на «Ленфильме» вдруг зажгла «Первороссийском» Мессер и Кару, завтра они посылают либретто в комитет с просьбой разрешить заключить со мной договор. Конечно, мне надо располагаться на то, что либретто утверждено не будет и придется посылать его Сталину... Но оно все равно пойдет через Ц. К., так что инстанций, где его могут задержать, - очень много.

Вероятностей, что сценарий будет убит, - больше, чем того, что он пройдет. Но хорошо хоть то, что хоть где-то пробита стенка. Ах, как славно было бы, если б получилась к юбилею картина! Это был бы мой подарок к 25-летию Советской власти, дар нашим знаменам, нашей Мечте, нашим идеалам - храму оставленному и кумиру поверженному, которые еще драгоценней именно потому, что они оставлены и повержены. Не нами, о, не нами!

Но неужели действительно оставлены и повержены?

Не перехватываю ли я в этом отношении?.. Может быть, это только такой временный жуткий период?

Успехи немцев подавляют меня. Падение - Югославии, на днях несомненное падение Греции.

Неужели прожить и умереть при торжестве фашистского режима?! Страшно, жалко!..

Кроме того, завтра, наверное, будет разговор у Герасимова относительно заключения предварительного договора на «Заставу». Вообще, благоразумнее не замечать.

5/V-41

Идут очень пустые, нерабочие и даже бессмысленные дни. Была в Москве по вызову «Мосфильма» насчет «Вани и поганки». У «Вани и поганки» - огромный успех. Птушко, шумный и неумный пошляк в быту, в восторге, рвется ставить, все хвалят, сценарий едет пока без задержки. Это почти оскорбляет меня, потому что «Первороссийск» уже зарезан в кинокомитете на первой же инстанции.

(«Ленфильм» послал с просьбой о разреш.) Некто Маневич сказал: «Слишком огненная тема. Она на острие – так остра. Политически неверно ставить картину о коммуне, в то время как коммуна – осужденная форма сельского хозяйства. Т. Сталин на XVII съезде осудил ее», – и т. д.

Ну что ж, я ожидала именно этого – отказа. Правда, я думала, что мотивировка будет иная – там что-нибудь насчет того, что много народу гибнет и т. д. О, какая непроходимая тупость и косность! Какое отношение к искусству имеет то, что «коммуна – осужденная форма»? Да нет, просто немыслимо в таких условиях существовать искусству – жгучему, искреннему, правдивому. Авария с «Первороссийском» причинила мне не острую, но тупую боль, – точно вновь ударили по больному, избитому месту, уже «привыкшему» к ударам...

А-ах, как тупо и как, в сущности, страшно! Ну, что ж поделаешь?

Пошлю в Секретариат Сталину, все равно, терять нечего, не посадят же меня за это...

Видела, разумеется, Сережу. Вот еще одна утрата. Не надо было мне вовсе встречаться с ним после Коктебеля, какое бы чудесное, горьковатое, ясное воспоминание осталось. Но нет еще этой мудрости, а есть тупая жадность. И вот. – Бог с ним.

Мне не жаль ни нежности, ни дум, которые посвятила ему. Он неплохой мальчишка, но – все. Внутренний «роман» с ним – окончен. Да и внешний – тоже.

Надо приняться за роман, силы уходят. Вот напишу заявление Ирэне и примусь. Ирэну все еще томят и терзают. А брат ее Миши, освобожденный из польской тюрьмы в сентябре 39 года, написал о Мише такое заявление, что, читая его, чувствуешь, будто тебе на сердце капают раскаленным свинцом. И больше того: он собрал о Мише справки тамошних людей, знавших его по подпольной работе в Польше, и это тоже, как капли свинца в душу. Хороший, видно, человек был этот Миша, если о нем, осужденном Советской властью, так пишут люди! И они – смелые, хорошие люди! О, дай им всем Бог, дай им Бог силы вынести все испытания, которые им еще, наверное, предстоят... Ну, надо написать заявление...

12/V-41

Сегодня позвонила мне Наташа, жена Марка Симховича, человека, с которым у меня был хороший роман в Гаграх в 1934 году. Я до сих пор помню, как, подъезжая к Гаграм, первый раз в жизни увидела море, и все внутри просияло и затрепетало от радости. И эта радость длилась весь месяц отдыха, я бежала к морю, как на любовное свидание, а Марк был очень влюблен, дарил мне розы, мы читали стихи, философствовали, целовались.

После Гагр я его больше не видела, не переписывалась с ним. В 39 году Наташа, с которой он познакомил меня в Москве, позвонила мне, сказала, что Марк умер от дифтерита и что она очень хочет видеть меня. Встреча состоялась только сегодня. Оказывается, Марк (по ее словам) относился ко мне серьезнее, чем я думала. В дневнике у него было записано, что я – самое сильное его увлечение, сразу вслед за Наташей, которую он очень любил.

А у нее теперь с Марком так, как у меня с Иркой: все еще не верит, все еще не понимает, как это вышло, чудовищность, бессмысленность утраты подводит к безумию, к прозрению ТУДА... Она ищет его в жизни, и я для нее была – частица его.

Да, да, – ИЩЕТ его, – может быть, он еще где-то здесь, может быть, его еще можно увидеть, догнать, вернуть, – как же так, вот Ольга Берггольц жива, а Марка нет? Не может быть, тут что-то не так. Мурашка Чумандринна, ровесница и подружка Ирки, жива и учится в школе, но ведь и Ирка могла бы жить и учиться,

как Мурашка, почему же этого нет?! Непонятно, несправедливо. О, знаю, знаю, все знаю, больше, чем можно сказать...

Она говорила: «Я многих слов ваших не запомнила, я только слушала ваш голос, смотрела на вас, и всё». Ограбленный человек. В 37-38 году она 6 месяцев сидела в тюрьме, ее там били страшно, сломали даже бедро. Она говорила: «Но знаете, самое ужасное, когда плюют в лицо. Это хуже, чем побои». Зачем ей плевали в лицо?! Разве когда-нибудь она забудет это, сотрет с души, с лица? Сколько у нас ОСКОРБЛЕННЫХ, сколько! Через два месяца после того, как она вышла из тюрьмы, после такой отсидки – умер Марк, который был для нее всем. Нет, бог не бог, а какая-то злобная сила, смеющаяся и издевающаяся над людьми, наверное, есть...

А что я могла сказать ей? Она спрашивала: «Ну что же делать, с чего начать-то, как жить?» А я отвечала: «Я тоже так всех спрашиваю, я сама не знаю. Живу вот...» И еще умничала чего-то, рассказывала о мелочах, своих дурацких стычках с цензурой... Но что сказать, что дать ограбленному, оскорбленному человеку?

Сам я и беден и мал, Сам я смертельно устал, – Чем помогу?!

Стоит она у меня перед глазами, – чувствую я за всем этим больше, чем она говорила, – ну что, что вынуть, вырвать из себя – и подарить?! Обманываю я их всех, приходящих ко мне, чем-то, а чем – сама понять не могу. Если ей выговориться надо было, – я слушала. Все мои умные слова – ей ничто. Но успокаиваю себя тем, что по себе знаю: в горе и в смятенье человеку не столько другого, сколько себя, и, м. б., только себя, слушать надо. Другой человек тебя терпеливо выслушает, скажет самое обычное: «Да, да, понимаю», и вот уж кажется тебе, что это самый хороший человек на свете...

Надо больше слушать людей. Я слушала, а потом о себе барабанить стала. Мелко! Я о себе слышала последнее время столько восторженных отзывов – и об «уме», и о «красоте», и о «душе», и так мне это нравится (ужас-то!), что уж иногда чувствую, что должна поддерживать свое звание и, говоря с людьми, обращающимися ко мне, больше думать о себе, чем о них. Это бесконечно мизерно и отвратительно!.. Что делать с этим? А на самом деле я внутренне обеднела, очень мало читаю, размениваюсь на судьбу, хвастаюсь и треплюсь...

Но что же делать с Наташей? Что же дать ей, – не для того, чтоб самой думать о себе хорошо, а для нее, для нее! Она просила прислать ей моих стихов. Пошлю побыстрее – об Ирке, из «Испытания». Там ведь есть подлинное.

Это жалкое внимание ее тронет, чуть-чуть, м. б., согреет, м. б., беднейшие мои строчки что-нибудь скажут ей... Больше-то ничего не могу... Где-то есть еще хороший портретик Марка – м. б., послать?

Надо, вообще говоря, ответить Гуторовичу, Кужелеву, написать Лене Польскому, – я сухой, черствый человек, дерьмо, что так долго не пишу им. Володьке Дм. еще надо написать...

20/V-41

О, бедный homo sapiens!

Существованье – бред!

Томление.

Все-таки придется, наверно, обратиться к психоневрологу, своими силами не справиться с «трясучкой»... Если это даже и распушенность, то явно болезненная.

Но помню: довольно заказов, «Ваней и поганок», песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей или неудачей он кончится. У меня нет мудрости для него.

Сегодня почитала кое-что из Герцена. Боже мой, для того чтобы писать то, что я задумала, то, что мы все пережили, надо обладать герценовской широтой, глубиной и свободой мысли и надо иметь точку зрения... У меня же ее сейчас нет. Надо умудриться, надо разобраться в каше жизни – и до нас, и при нас, и видеть вперед, а у меня туман перед глазами...

О, бедный homo sapiens!

Одна эта европейская война чего стоит. Какой крах человеческих усилий: был пример жуткой бойни 14–18 гг., был образец – революция 17 г. и Сов. Союз, была могучая, страшная пацифистская литература, была широкая коммунистическая пропаганда – и ничего! Ничего и ничто не предотвратило бойни еще более страшной, омерзительной и преступной, чем в 14–18 гг. А мы говорили – «пролетариат не допустит», «начало новой мировой войны – начало мировой революции»... Ею пока и не пахнет! И если б Гитлер повел их всех на нас – они бы пошли и громили бы нас! Западный пролетариат работает на войну и воюет так, что диву даешься.

Хорошо, воюют «всего» два года... «Всего» несколько миллионов людей уложили. «А потом они одумаются». Значит, мало было жертв 14–18 годов? Значит, нужны еще горы и горы трупов, чтоб заставить трудящихся одуматься и повернуть оружие против тех, кто их посылает убивать друг друга, чтоб понять, что им не просто воевать. Все еще мало, все еще мало?!

Опять, как уже во многом, разъехалась наша теория с практикой, и очень обидно за ее «необязательность». А главное – люди гибнут... Теория наша не учитывала этого. Для нее людей нет. Для нее люди, как для Ивана Карамазова, существуют на отдалении...

Безумие и безумие творится в мире, и ничто от людей не зависит.

22/V-41

Продолжается трясучка.

Сейчас надо идти на собрание писателей-коммунистов – относительно перевыборов правления Союза. Вот то-то уж никчемное занятие! Да, Союз влачит жалкое существование, он почти умер, ну, а как же может быть иначе в условиях такого террора по отношению к живому слову? Союз – бесправная, безавторитетная организация, которой может помыкать любой холуй из горкома и райкома, как бы безграмотен он ни был. Сказал Маханов, что Ахматова – реакционная поэтесса, – ну, значит, и все будут об этом бубнить, хотя НИКТО с этим не согласен. Союз как организация создан лишь для того, чтоб хором произносить «чего изволите» и «слушаюсь». Вот все и произносят, и лицемерят, лицемерят, лгут, лгут, – аж не вздохнуть!

Но раз мы все поставлены в такое положение, «чтоб не иметь свое суждение» – о чем же говорить? Что «улучшать» в Союзе? Систему лицемерия? Способы завинчивания гаек?

Предлагают писать очерк о днях финской войны у нас на заводе, соблазняют деньгами... Нет, не буду! Конечно, люди вели себя геройски, но ведь правды – жестокой, нужной, прекрасной – об этом все равно нельзя написать, а сопли разводиться – что за смысл. Да и не могу, не могу я больше! Надо роман писать. И «не принимала» я эту войну...

Уж лучше попробую сделать заявку – предельно честную – о Мартехове. Это и само

по себе интересно, без всяких, и в смысле базы – тоже, если выйдет, будет нечто солидное. Сегодня отправлю маму в Москву и буду писать завтра, 24 и 25, целые дни.

Нет, откажусь от очерка. А на собраниях буду молчать, чего зря говорить-то. Все равно никто правды не скажет, – лучше «честно молчать».

30/V-41

Второй раз сегодня смотрела «Двадцать лет спустя», вместе с Колькой. Прекрасная пьеса!

О, если б мне удалось с такой же поэтичностью, жгучестью и скрытой глубиной написать о нашем поколении, – так, как написал свою пьесу Миша. А какие простые и хорошие там у него стихи. После них мне мои (особенно последние) кажутся такими вычурными, надуманными, «вумными». Литература – не сердце.

А Колька правду сказал, эта пьеса – отходная поколению... О, да, да. Потому-то так грустно и страшно смотреть ее и так хочется крикнуть: «нет!» Надо читать и работать, работать.

1/VI-41

Этюд с А. Его наскок, я думаю, можно считать в конечном счете неудачным, несмотря на мою непоследовательность. Нет, нет – это скучно! Это прежде всего скучно. Он – из удивительного мира «Светлого пути», мира женщин, «подцепляющих» богатых мужчин, мира непременно-заграничных вещей, отсутствия идеалов, опустошенности безыдейной, той бездны, где уже нет ни адского огня смятений, ни резких светотеней, а ровный полумрачок, из мира опустошенности, уже не осознающей себя. По-видимому, по всему судя. Бог с ним. То, что он будет думать обо мне – «нигилистка», «синий чулок», – мне должно быть безразлично.

Если я не сяду неизбежнейшим образом за роман, то его у меня не будет. Размен меня съест. Завтра сяду с утра.

А то опять может быть «Федя Никтошкин», – то, сё, а ведь и так уж 5 месяцев 41 года прошли абсолютно бесплодно.

4/VI-41

Я существо из разряда ничтожнейших. Роман стоит и – о, ужас – вроде как и писать его неохота. Я переносу его. Нет, сейчас хоть немножко напишу.

На уме – коммерческие предприятия. Их, собственно, надо бы осуществить. Надо денег. Надо одеться хорошо, красиво, надо хорошо есть, – когда же я расцвету, ведь уже 31 год! Я все думала – время есть, вот займусь собой, своим здоровьем, внешностью, одеждой. Ведь у меня прекрасные данные, а я худа как щепка, и все это от безалаберной жизни, от невнимания к себе. У меня могли бы быть прекрасные плечи, – а одни кости торчат, а еще года 4 – и им уже ничто не поможет. И так и с другим. Надо поцвести, покрасоваться хотя бы последние пять-семь лет, ведь потом старость, морщины, никто и не взглянет, и на хер нужны мне будут и платья, и польты...

О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало – на расцвет ее, которого, собственно, еще не было. А когда же дети? Надо, чтоб были и дети. Надо до детей успеть написать роман, обеспечитья...

А надо всем этим – близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких, – и, конечно, с войной кончится своя, моя отдельная жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею, и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что маловероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей, в которой не будет даже общей боли и уж совсем не будет жизни. Так или иначе – очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить. Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, нарядиться, вкусить от природы, искусства и людей...

Не успеть! О, боже мой, не успеть!

М. б., я зря отказалась от партии, предложенной А.?

Чувство временности, как никогда. Чувство небывалого надвигающегося горя, катастрофы, после которой уже не будет жизни.

Если наше правительство избежит войны – его нужно забросать лавровыми венками. Всё – только не она, не Смерть. Только бы не «протягивать руки помощи», – пусть они там разбираются, как умеют.

Войны не избежать все равно. Мы одни в мире. Наши отказы, отступления, перерождения ничему не помогут. Мы все равно одни. Но не надо ввязываться ни во что. Это не обеспечит нам будущего – спокойного. Если бы еще советизация Европы – любой ценой, но она невозможна. Да и «любая цена»... Это значит – моя погубленная жизнь, во мне и в миллионах «меня», т. к. я теперь знаю, что все – как я, что все – только Я.

Оттолкнув от себя все это, попытаюсь работать над разделом «Углич», очень далеким от сегодняшнего, два дня отдам роману и, если пойдет, напишу заявку «Феди Никтошкина» и на сценарий «Жена», по Мартехову, для Ленфильма.

12/VI-41

О боже мой, какая трясучка.

Покою не дает понедельник, та пьянка с Ю. Г. Надо объясниться, душевно и просто сказать: «Не будем больше так ломаться и плевать друг в друга». Звонила – его нет дома, в Келомяках. Роман идет мучительно, я тороплюсь, порчу, вязну в деталях, пропускаю главное, выдумываю, – а настоящая-то жизнь была во сто крат страшнее и сложнее. Главное – эта торопливость, это стремление догнать что-то главное, ускользающее, что обязательно впереди, а не в том, что пишешь. Форма, избранная мною, – полная свобода и независимость от рассказчика, перебивка стилей: то детский рассказ типа «киноглаза», то почти протокольное повествование – кажутся мне окрошкой, пересмешничеством, чужим. Тон все еще не найден, хотя в том, что пишу, он уже ближе к искомому, чем в том, что было написано в 38 году. Там просто плохо.

И это все почти не доставляет творческой радости, за исключением крох.

Но если есть в чем смысл – то именно и только в этой мучительной, медленной работе.

Должна приехать Муська, чтоб сделать аборт, и я мучительно боюсь, что это кончится неблагополучно, что она умрет, что, наконец, меня просто «накроют» за организацию этого дела. Но что же делать – нельзя же ей оставлять ребенка в ее теперешнем положении – без работы, с полуразрушенным здоровьем...

Ой, ой, ой, как все ужасно, как все мучительно.

Только одна отрада – Колька.

20/VI-41

...Может быть, это наступает новая полоса страшного горя для нас всех – ее смерть, суды и т. д. Нечто остановилось за углом и ждет с обухом в руке. Пройдет или нет? Нас или кого-нибудь другого ударит оно?..

Нет, нет, нет!

Все обойдется благополучно, мы поедем с нею в Келомяки, она отдохнет, м. б., устроится к Радловой. М. б., я встречу там человека, с которым чудесно, «кислородно» покручу. Там сосны, там море, там буду работать над романом.

Ах, скорей бы уж оно кончилось, – положим ее в постель, она уснет, я тоже посплю – я нанервничалась за эти дни, недосыпаю...

Но что же делать? Ах, говорили же, говорили люди, что нельзя этот закон так круто и свирепо вводить!

P. S. Все благополучно.

22/VI-41

14 часов. ВОЙНА!

2/IX-41

Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера выехать из Ленинграда. Папа – военный хирург, верой и правдой отслужил Сов. власти 24 года, был в Кр. Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский до мозга костей человек, по-настоящему любящий Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фамилия – это без всякой иронии.

На старости лет человеку, честнейшим образом лечившему народ, нужному для обороны человеку, наплевали в морду и выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.

Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом обложен, когда перерезаны все пути! Это значит, что старик и подобные ему люди (а их, кажется, много – по его словам) либо будут сидеть в наших казармах, или их будут таскать в теплушках около города под обстрелом, не защищая – нечем-с!

Я еще раз состарилась за этот день.

Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты.

Сейчас – полное душевное оупение. Ходоренко обещал позвонить Грушко (идиот нач. милиции), а потом мне – о результатах, но не позвонил.

Значит, завтра провожаю папу. Вижу его, видимо, в последний раз. Мы погибнем все – это несомненно. Такие вещи, как с папой, – признаки абсолютной растерянности предержавших властей...

Но что, что же я могу сделать для него?! Не придумать просто!..

5/IX-41

Завтра батька идет к прокурору – решается его судьба. Я бегала к т. Капустину – смесь унижения, пузыри со дна души и т. п.

Вот заботилась всю жизнь о Счастье Человечества, о Родине и т. д., а Колька мой всегда ходил у меня в рваных носках, на мать кричала и никого, никого из близких, родных и как следует не обласкала и не согрела, барахтаясь в собственном тщеславии...

Ленинград, я еще не хочу умирать, У меня телефонов твоих номера, Ленинград, у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса.

Но за эти три дня хлопот за отца очень сблизилась (кажется) с Яшей Бабушкиным, с Юрой Макогоненко. О, как мало осталось времени, чтоб безумно покрутить с Юрой, а ведь это вот-вот, и, переглядываясь с ним, вдруг чувствую давний хмельной холодок, проваливаюсь в искристую темную прорубь.

Это я знаю: любовь к любви, не больше. Он славный, но какое же сравнение с Колькой?! Но он очень мил мне. А город сегодня обстреливали из артиллерии, и на Глазовой разрушило три дома... Я узнала это уже вечером. Смерть близко, смерть за теми домами. Как мне иногда легко и весело от этого бывает...

8/IX – 9/IX-41

В ночь на 7/IX на Л-д упали первые бомбы, на Харьковской. В это время (23.25) мы были у меня – я, Яша, Юра М. и Коля. Потом мы пили шампанское, и Юра поцеловал мне указательный палец, выпачканный в губной помаде. Вчера мы забрались в фонотеку. Слушали чудесные пластинки, и он так глядел на меня. Даже уголком глаза я видела, как нежно и ласково глядел.

Сегодня, в 22.45, был налет на Л-д, я слышала, как свистели бомбы – это ужасно и отвратительно. Все 2 ч. тревоги у меня тряслись ноги и иногда проваливалось сердце, но внешне я была спокойной. Да и сознанием я ничего не боялась, а вот ноги тряслись – б-р-р...

После тревоги (бомбы свищут ужасно, как смерть!) я позвонила в [Дом] радио, Юра говорил со мной... лояльно.

Я хочу успеть. Дай мне еще одно торжество – истинное и превосходящее любую победу, дай мне увидеть его жаждущим, неистовым и счастливым. Это немного, о чем я прошу тебя перед свистящей смертью.

Я не прошу тебя о Коле, потому что мы погибнем вместе – я у подъезда, он на крыше. Мы ведь не прячемся в землю, когда они свистят. И ведь еще одно, и мы – вся Жизнь.

Мне надо к завтраму написать хорошую передовичку. <...> Я обязательно должна написать ее из самого сердца, из остатков веры.

Сейчас мне просто трудно водить пером по бумаге. И все же вожу – есть мысли, завтра окончательно оформлю. Хуже всего, что с утра тюкает в голову – ужасно, как весной. Только бы не это, а то выйду из строя.

Начав работать, совершенно остыла к Юре.

Я знаю, что Юра – блажь, защита организма, рассредоточение, и только.

12/IX-41

(Они прилетели в 9.30, но у нас не грохало.)

Без четверти девять, скоро прилетят немцы. О, как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже на четвертый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха. Сердце как резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки леденеют. Очень страшно, и вдобавок какое это унижительное ощущение – этот физический страх.

И все на моем лице отражается! Юра сегодня сказал: «Как вас свернуло за эти дни», – я отшучиваюсь, кокетничаю, сержусь, но я же вижу, что они смотрят на меня с жалостью и состраданием. Опять-таки, это меня злит из-за того, что я не хочу потерять в глазах Юры. Выручает то, что пишу последнее время хорошие (по военному времени) стихи, и ему нравится.

Он и Яшка до того «проявляют чуткость», что я сегодня, кажется, их обидела, заявив, что не нуждаюсь в ней.

Но, боже мой, я же знаю сама, что готова рухнуть. Фугас уже попал в меня.

Нет, нет – как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно еще перед этим свистело – так, что каждый бы думал: «Это мне» – и умирал заранее. Умер – а она пролетела, но через минуту будет опять – и опять свистит, и опять человек умирает, и снова переводит дыхание – воскресает, чтоб умирать вновь и вновь. Доколе же? Хорошо – убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на дню... О-о, боже мой!

Сегодня в 9.30, когда начала писать, они вновь прилетели. Но бухали где-то очень далеко. Ложусь спать – а может быть, они будут через час? Через 10 мин.? Они не отвяжутся теперь от меня. И ведь это еще что, эти налеты! Видимо, он готовит нечто страшное. Он близко. Сегодня на Палевском в дом как раз напротив нашего дома попал снаряд, много жертв.

Я чувствую, как что-то во мне умирает.

Когда совсем умрет – видимо, совсем перестану бояться. Нет, я держусь, сегодня утром писала и написала хорошее стихотворение, пока была тревога, артобстрел, бомбы где-то вблизи... Но ведь это же ненормально! Человек должен зарыться в землю, рыдать, как маленький, просить пощады. Правильнее бы всего – умертвить себя самой. Потому что кругом позор, «жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен»... Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось – «Мы готовы к войне».

О, сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи!

Боже, опять надвигается ночь, И этому не помочь. Ничем нельзя отвратить темноту, Прикрыть небесную высоту...

13/IX-41

О, как грустно, как пронзительно грустно.

Уже почти не страшно – это неплохо, но грустно – именно не тоска, а покорная, глубокая, щемящая грусть. Как о ком-то милом, но очень близком, с кем давно разлучился.

Десять часов, скоро будет тревога.

Сегодня весь день артиллерийский обстрел, и сейчас где-то грохает, но это похоже

на нашу. А в половине седьмого, когда я сидела в райкоме, во Дворец пионеров попал арт-снаряд, и осколок влетел к нам в комнату, разбив стекло. (Я сказала, будто сидела под этим окном, но я сидела под соседним. Похвасталась, как дура, – смешное тщеславие.)

Снаряды ложились на площади Нахимсона, это за несколько домов от нас.

Вчера у меня ночевала Люся, так как на Палевском против нашего дома упал снаряд и стекла в нашем доме вылетели. В этом доме я родилась, жила до 20 лет, здесь был Борька, здесь родилась Ирка. Теперь по нему стреляют.

Ну как же не будет чувства умирания? Умирает все, что было, а будущего нет. Кругом смерть. Свищет и грохает...

А на этом фоне – жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Напр., сегодняшнее собрание. Хлеб ужасно убавили, керосин тоже, уже вот-вот начнется голод, а недоедание – острое – уже налицо... Да ведь люди скоро с ног падать начнут!.. Конечно, осажденный город и все такое, но, боже мой, как же довели дело до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена! Ведь немцы все идут и идут вперед, сегодня напечатали, что сдан Чернигов, говорят, что уже сдано Запорожье – это почти вся Украина.

У нас немцами занят Шлиссельбург, и вообще они где-то под Детским Селом...

О, неужели же мы гибнем?

Неужели я уже сдалась – иначе откуда же эта покорная грусть, – и подобно мне сдались также тысячи ленинградцев. Эта грусть, эта томительная усталость – она и у Коли, и, я по глазам вижу, – у Яшки, у многих...

Она еще оттого, что, собственно, ты лишен возможности защищать и защищаться. Ну, я работаю зверски, я пишу «духоподъемные» стихи и статьи – и ведь от души, от души, вот что удивительно! Но кому это поможет? На фоне того, что есть, это же ложь. Подала докладную на управхоза, который не обеспечивает безопасность населения, но кем заменишь всех этих цырульниковых, соловьевых, прокофьевых и пр. – все эти кадры, «выращенные» за последние годы, когда так сладострастно уничтожались действительно нужные люди?

Ничтожность и никчемность личных усилий – вот что еще дополнительно деморализует... Нам сказали – «создайте в домах группы в помощь НКВД, чтоб вылавливать шептунов и паникеров». Еще «мероприятие»! Это вместо того, чтоб честно обратиться к народу вышестоящим людям и объяснить что к чему. Э-эх! Но все-таки сдаваться нельзя! Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота...

Вот что убивает!..

Но дело обстоит так, что немцев сюда пускать нельзя. Лучше с ними не будет – ни для меня, ни для народа. Мне говорят, что для этого я должна писать стихи и все остальное.

Хорошо, хоть это мучительно трудно – буду.

Попробую обеспечить подвалом наших жильцов.

А самой мне во время бомбежки надо быть «на посту», в тухлявом беззащитном доме, надеясь только на личное счастье – авось не кокнет фугасом...

Артиллерия садит непрерывно, но теперь дальше от нас... Буду сейчас работать – стишок и начало очерка для Юры, затем для спецвещания.

Сигнал В. Т.

Теперь тревог на дню раз по 8-10, и я уже не каждый раз, когда дома, сбегая вниз – совершенно нельзя работать. А мне надо написать очерк о командирах производства для Юры – о моих слушателях. Мой Васильев погиб – господи, какой это ужас, когда узнаешь о гибели знакомого человека. (Тихо, не слышно даже зениток – странно.) Немцы третьего дня, обойдя Детское, были под Пулковом. Третьего дня ими была занята Стрельна. Это, собственно, в черте города. Партия поставила вопрос о баррикадных боях, в Доме радио создан отряд, где Яшка комиссар, для защиты их улицы.

Аж руки опускаются от немого удивления – да как же допустили до всего этого... (На большой высоте идут чьи-то самолеты.)

Организм защищается безумно: просто не могу думать, что город будет взят, убьют Колю, Юрку, Яшку, что я не буду приходить в радио, радоваться Юре и малейшим знакам его внимания, сердиться, что он медлит (не потому ли, что в хороших отношениях с Колей, или просто не влюблен ничуть?), что не будет, вдруг не будет всей этой жизни. Настолько не верю в иное, что даже последние дни спокойна: «вздор, ничего не случится».

Но это самозащита организма, я знаю.

Кольцо вокруг Ленинграда почти неудержимо сжимается. Мы еще счастливы, что их от Пулкова-то чуть-чуть отогнали. О, бедные мы, бедные. Да еще эта ориентировка на уличные бои – да ведь это же преступление, это напрасная кровь, этим ничего уже нельзя будет изменить. Да и драться-то люди не будут, кроме отдельных безумцев, самоубийц...

Кажется, трагедия Ленинграда (залпы зениток, не сойти ли вниз – это рядом, над головой немец) приближается к финалу.

Сегодня Коля закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и мелкость. Если выживу – пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления – казалось, что она осуществима. О том, как потом политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы невыносимой, удушающей лжи (зенитки палят, но слабо, самолеты идут на очень большой высоте – несомненно, прямо над моей головой. Не страшно ничуть. «В меня не попадет, почему именно в меня, зачем я им») – годы страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мыслящих людей, которые были верны теории и видели, что на практике, в политике – все наоборот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и молчали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невиновности были убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили себя, и дико, отчаянно пытались верить. (Ох, это немец... Да, по нему пальнули. Он опять над нашим домом, очень высоко, но над нашим... Тоненький свист... бомба? Нет... Бросило в жар... Нет, нет, не бомба... Это немец – почему его не преследуют? Или наш? Взрывов не слышно...)

Зачем я тороплюсь записать все это – все равно я ничего не успела. Т. т. – знайте, я ничего не успела, а могла бы – много!

А Юру хотят забрать «политбойцом» на фронт – ой, не хочу, не хочу, не хочу... И глупо это до бесконечности, как... все, что есть.

Я могла бы жить в Доме радио, работать и спать в хорошем бомбоубежище, но я не иду туда без Коли – стыдно и позорно бросать вернейшего товарища в трухлявом доме, а самой спастись. А его туда нельзя из-за диких его припадков, он будет пугать и без того измотанных людей. (Самолет смолк.)

Мы будем у мамы. Мне совестно тоже, что я, политорганизатор дома, ухажу

из него. Но, черт возьми, я же здесь абсолютно бесполезна, на 100 % бесполезна, моя санитарная сумка и прочее – это та же видимость, та же ложь, что была и есть повсеместно. И стыдно отказываться даже от этой видимости – такова инерция подчинения уже отрицаемой системе. Но – очень стыдно. Не знаю, что и делать. Конечно, надо позаботиться о себе – хотя бы во имя того, что ведь знаю: смогу, смогу принести истинную пользу людям. А стыдно. (Опять низкий рокот самолета над самой головой – все-таки, наверное, это наш, по нему не бьют... А напротив моего окна прямо на крыше сидит мальчишка... Ну, и я буду сидеть и писать очерк, надо, чтоб был близок к настоящему. Эти мальчишки на крыше напротив нашего окна всегда меня успокаивали. В окно видела – низко сейчас пролетели бомбардировщики с нашими звездами... А сердце-то, подлое, как затряслось, пока не отличила звезд...)

Ну из обращения к потомству перед запечатыванием дневников ничего не вышло.

Да и черт тебя знает, потомство, какое ты будешь... И не для тебя, не для тебя я напрягаю душу – у, как я иногда ненавижу тебя, – а для себя, для нас, сегодняшних, изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей – и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить... Как нежно заботятся обо мне Юрка и Яша, как дрожит за меня Николай, как боюсь я за них, как жажду их жизни, как люблю их, и Мусю, и отца, и маму, и Мишку, и умерших моих детей, и стихи, и людей – ведь люблю и хочу, чтоб они перестали мучиться хотя бы немного.

Воскреси меня хотя б за это!.. Не листай страницы! Воскреси!..

Тревога все еще длится, изредка что-то ухаает – не то далекая бомба, не то зенитка. Теперь далекий гул самолетов. После войны надо уничтожить все самолеты, все, чтоб люди забыли о них! О, неужели те, кому суждено выжить, выдержат все это? Видимо, на днях в городе будет нечто ужасное.

Отбой.

22/IX-41. Три месяца войны

Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева... А население? А я? (Я решила записывать все очень безжалостно.)

Итак, немцы заняли Киев. Сейчас они там организуют какое-нибудь вонючее правительство. Боже мой, Боже мой! Я не знаю, чего во мне больше – ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, – к нашему правительству. Этак обоссаться! Почти вся Украина у немцев – наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!.. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, черт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде шумиловы, везде махановы, кадры помета 37–38 годов, но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться.

О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни – настоящая и официальная.

Где-то глухо идет артиллерийская стрельба.

Восемнадцатого город обстреливал немец из дальнобойных орудий, было много

жертв и разрушений в центре города, невдалеке от нашего дома. Об этом молчат, об этом не пишут, об этом («образно») даже мне не разрешили сказать в стихах. Зачем мы лжем даже перед гибелью? О Ленинграде вообще пишут и вещают только системой фраз – «на подступах идут бои» и т. п. Девятнадцатого в 15.40 была самая сильная за это время бомбежка города. Я была в ТАССе, а в соседний дом ляпнулась крупная бомба. Стекла в нашей комнате вылетели, густые зелено-желтые клубы дыма повалили в дыру. Я не очень испугалась – во-первых, сидя в этой комнате, была убеждена, что в меня не попадет, а во-вторых, не успела испугаться, она ляпнулась очень неожиданно. Самое ужасное в страхе и, очевидно, в смерти – ее ожидание. А если неожиданно – то пожалуйста. Но я до сих пор не могу прийти в себя от удивления – почему именно бомба упала в дом 12, а не в дом 14, где была я? Значит, все-таки она может попасть и в меня? Значит, мне нигде, нигде нет спасения? Очень странно! Но я не могу ничего написать о своем состоянии, потому что оно с сильной примесью: четвертый день грипп, ломает и лихорадит, да еще очень сильно ударились головой в бомбоубежище – так что трудно определить, что в самочувствии от войны, а что от вневременной настоящей жизни – болезни.

Наверно, если б не было этой головной боли, страшнейшего кашля и насморка, настроение было бы хорошее – насколько оно может быть хорошим в окруженном, осажденном, бомбардируемом и обстреливаемом городе.

Надо оторваться от земли, отрешиться от нее, понять, что тебя преследуют и все равно настигнут, и пока жить каждым часом, каждой минутой, вопреки всему извлекая из нее драгоценности жизни. Но это противоречит одно другому – отрешиться и извлекать. (Девятый час, скоро, видимо, будет регулярный немецкий налет с бомбами... Я на Троицкой, пойду вниз, если б не лихорадило, я бы, наверное, не боялась и не тряслась – все равно уж.)

Если б не было гриппа и если б я была уверена, что Юра влюблен и желает меня, у меня б было приличное состояние. Он странно держится со мною, я не могу понять – есть ли это полное равнодушие или наоборот. Дает массу заказов, я справляюсь с ними прилично (потом обычно портит цензура), разговаривает в шутливо-приказном тоне (сегодня что-то особо, даже с оттенком некоторой злобы – подлинной), очень внимателен – и эта-то внимательность меня особо угнетает. Видимо, я совершенно не нравлюсь ему как баба, а мое отношение к себе он заметил и считает, что может распоряжаться мною, что ему достаточно протянуть руку, чтоб я рассыпалась мелким бесом. Так, между прочим, и будет, но я хочу показать ему, что я от него не завишу, что мне, вообще говоря, наплевать на него в специфическом отношении... А зачем все это? Но я робею перед ним, сегодня пикировала очень неудачно. Я бываю такая страшненькая, жалкая. М[ежду] п[рочим], когда с 15 до 16 я дежурила в Союзе, он пришел туда, сидел очень долго со мною, мы хорошо разговаривали, однажды он поцеловал мне руку – за стишок; раза два попробовал прикоснуться головой к плечу, я сделала непроницаемое лицо и вид, что не заметила, – от счастливого страха. Дура. Мы сидели, не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров – Ленинград еженощно в кольце пожаров.

Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или не скоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде». (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами.) Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это – самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, будь она трижды проклята, трижды, трижды!! Времени не стало – оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу, хочу еще иметь минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтоб он сказал, что любит меня, жаждет, что я ему действительно дороже всего на свете, что он действительно (а не в шутку, как сейчас) ревнует к Верховскому и прочим.

А завтра детей закуют... О, как мало осталось! Ей дела на свете: еще с мужиком

пошутить, И черную змейку, как будто прощальную жалость, На белую грудь равнодушной рукой положить...

А может, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же, а я – живу. И разве я не в равном со всеми положении, разве не упала рядом со мной бомба, разве не влетел осколок в соседнее окно, в комнату, где я сидела? (Артиллерийская стрельба стала слышнее – немцы или мы по ним? Ведь ими взято Детское, Павловск. Господи, они же вот-вот могут начать штурм города – и с воздуха, и с суши, уцелеть можно будет чудом, – и вот рухнет все с Юрой... Тем более что его и Яшку все время хотят взять «политбойцами».) Да что и перед кем тут оправдываться? Я делаю все, что в силах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут, – мне рассказывали об этом сегодня, это «Письмо Мусе». Да. Оно хорошее. Не хуже было и «Обращение» – да изуродовала цензура и милые мои редакторы. Как бы написать еще что-либо подобное «Машеньке – письма Мусе»? (Ого, артиллерийские снаряды хлопают совсем близко от нас – это немцы. Интересно, откуда бьют? Может ли хлопнуть по дому? Но я их боюсь почему-то меньше... Черт возьми, ну совершенно рядом лопаются, наверное на Нахимсона.) Пойти вниз, Колька на дежурстве у подъезда, узнать – как и что, и, м. б., сходить в райком за материалом для Юры или самой придумать этого отрядника, ведь придумаю все равно лучше? (Сволочи, они и в темноте бьют, значит, даже не боятся обнаружить свои точки? Господи, да как часто пошли! Ежеминутно! Схожу вниз, узнаю.)

А завтра детей закуют...

Жить! Жить!

24/IX-41

Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич – я ее очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А одна машинистка, ушедшая в убежище, уцелела. Значит, надо ходить в убежище! Надо бежать туда, сломя голову, как только завоет сирена... Надо спастись, спастись, спастись можно... О, как гнусно! Мне жаль тех людей, а первая мысль – о себе, так сказать, извлечь уроки. Я знаю – так у всех. И верно А. О. говорила: ахнет бомба, и первая, подленькая мысль – не в меня!.. Оправдание лишь в том, что еще не в меня! А работники «Сов. писателя» – это уже мы. Это мы гибнем от бомбы. Это давно знакомые люди, конкретно введенные в сознание. Гибнет вместе с ними что-то и в тебе – хотя я всегда терпеть не могла Семенова, впрочем, он жив (но поражен). Значит, меня все-таки убьют? (Вот опять гремит артиллерия.) Не помню, записывала ли, что при ужасном отступлении из Таллинна погибли Филипп Князев, Цехновицер, Лозин, Инге, Гейзель – все наши. Непонятно.

Все, как зачарованные, говорят о бомбах, бомбах и бомбах. Ночью сегодня опять были бомбы – на Лиговке и углу Невского и Лиговки – рядом с Пренделями. Говорят, что вчера (вчера было 11 тревог) фашисты били с воздуха Кронштадт – значит, пытались уничтожить флот. (Интересно, эта артстрельба – по нам или наша?) Ой, какой у меня кашель, убийственный. Это-то еще к чему?

Я трушу, я боюсь, мучительно боюсь – это очевидно. Как и 99, если не 100 % живущих. Вернее, не смерти боюсь, а жить хочу так, как жила, в основном. Как это так: ворвутся немцы или засыпят нас бомбами – и вдруг Коля будет лежать с выбитым чудесным, прекрасным его глазом (мне почему-то гибель его рисуется именно так, что глаз у него будет при этом выбит), и Юра будет убит с залитым кровью лицом, и Яшка ляжет где-нибудь за камушком, маленький и покорный...

(А артиллерия-то не наша и бьет где-то поблизости.)

Я совершенно не боюсь; в наш дом не попадет, мы за домами, вот на Троицкой – другое дело, там под самой крышей, дом жилой, если туда упадет даже не очень большой фугас – вся середка его рухнет «по винтику, по кирпичику». О, зачем мы сбежали оттуда! Ведь живут же там люди, а я еще политорганизатор дома. Но ведь это липа, липа, это райкомы придумали от беспомощности своей, да и некогда мне заниматься этой липой. Какие тут политорганизаторы помогут, когда государство бессильно?! Конечно, надо брать судьбу в свои руки – а руки связаны мертвой системой управдомов, РЖУ, штабов, райкомов и т. д. Бюрократическая железная система сковывает все...

Нет, все же попробую хоть что-нибудь сегодня сделать для дома – подать еще раз всякие докладные и т. д.

Кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда... о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем... Мне не дали даже никакого материала, что я буду писать? Их на декламации не надуешь. Я хотела бы написать от сердца, от себя, – даже пусть подписное бы шло. (Тревога, идти в убежище или нет? Подожду, пока не будут палить... О-о!..) Хотелось бы объясниться с нею, сказать: «Ну, что ж ты, спаси нас, помоги нам, мы почти на краю гибели»... Но ушла в убежище.

Ночью, 3 часа.

Вот когда умирала Ирочка, я тоже все время писала и писала дневник. Видимо, это помогает не думать о главном.

День прошел сегодня бесплодно, но так как времени нет, то все равно. Зашла к Ахматовой, она живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Желябова) в подвале, в темном-темном уголке прихожей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, на досках, находящихся друг на друга, – матрасишко, на краю – закутанная в платки, с ввалившимися глазами – Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии – неповторимый, большой сияющий Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас, в трагический такой момент, не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова...

А я должна писать для Европы о том, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня физически опускаются руки.

Она сидит в крошечной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все сегодня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказала: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную...» О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы – «Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств – сами, сами будем жить»... А говорят, что бомбу на Таню сбросила 16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет будто потом сбили и нашли ее там, – м. б., конечно, фольклор.) О, ужас! О, какие мы люди несчастные, куда мы зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бессилие и ужас. Ничего, ничего не могу. Надо было бы самой покончить с собой – это самое честное. Я уже столько нагала, столько наошибалась, что этого ничем не искупить и не исправить. А хотела-то только лучшего. Но закричать «братайтесь» – невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?

Все эти учения – бред, они несут только кровь, кровь и кровь.

О, мир теперь не вылезет из этой кровавой каши долго, долго, долго, – уж теперь-то я это вижу... Кончится одно – начнется другое. И все будет кровь.

Надо выжить и написать обо всем этом книгу... (Только что припадок у Кольки – зажимала ему рот, чтоб не напугал ребят за стенкой, дрался страшно.)

Зачем мы с ним живем, Господи, зачем мы живем, разве мы мало еще пострадались, ничего же лучшего уже не будет, зачем мы живем?

Очень устала душевно за сегодня. Еще эти разговоры с Олесовым (он чудом спасся, убегая из Таллинна, на их пароходишко было 38 воздушных налетов с бомбежкой) – он бормотал о самоубийстве, его приятель, бормотавший о том, что «мы 20 лет ошибались и теперь расплачиваемся», несчастное лицо А. А. Смирнова, сказавшего просто: «Да, я очень страдаю»...

Чем же я могу помочь им всем? Если б мне еще дали возможность говорить то, что я хочу сказать (опять припадки у Кольки), в том же нашем плане, – еще туда-сюда... А мне не дадут даже прочесть письмо маме так, как оно есть, – уж я знаю.

Нет, нет... Надо что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, потому что все, что за войну, – ложь)... Надо пойти в госпиталь. Помочь солдату помочиться гораздо полезнее, чем писать ростопчинские афишки. Они, наверное, все же возьмут город. Баррикады на улицах – вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей. Вожди вообще никогда не думают о людях...

Для Европы буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо близкое к правде.

Я дура – просидела почти всю ночь, а ночь была спокойной, а с утра – тревоги, страхи, боль...

28/IX-41

Сегодня в 8 ч. вечера, когда я сидела в газоубежище Дома радио, в соседний дом упали бомбы и рядом тоже нападало. Дом радио № 2, а попало в дом № 4. Убежище так и заходило, как на волнах. Люди сильно побледнели, и говорят, что я тоже стала совсем голубая. Но, по-моему, я не испугалась. Да и некогда было испугаться – не слышно было, как они свистели, – предварительного страха, значит, не было. Так лучше, когда перед этим не пугают, и хорошо бы еще, чтоб убило сразу, чтоб не задыхаться под камнями, чтоб не проломило носа, как Семенову.

Я уже не знаю теперь, когда я боюсь, когда нет. Вчера, когда была в «слезе» и было четыре тревоги, я очень боялась, руки были ледяные, и – конечно, над нами – вились немцы, и мне моментами хотелось крикнуть: «Да ну же, бросай, скорей бросай, я не могу больше ждать»...

14/XI-41

Записываю что-то такое кое-как, на разных листках. Хотя и очень поздно, и ночь спокойная, – хочу урвать у себя время – чуть побыть одной с бумагой, пером и черным кофе. Нерационально, – все время поступаю нерационально: не экономлю кофе, – а голод сверхреален, – что буду делать потом? Не сплю, когда бомбят, – а предыдущие ночи все время выло – и спать было трудно... Ну а иначе – совсем не жизнь...

Только что был большой припадок у Кольки, наяву. Едва очнувшись, он шептал

мне – «любовь моя», – и у меня все рвалось внутри.

Я никогда, никогда не оставлю его, ни на кого не променяю! Я люблю его как жизнь, – и хотя эти слова истерты, в данном случае только они точны. Пока он есть – есть и жизнь, и даже роман с Юрой. Если его не будет – кончится жизнь.

14/1-42

О Коля, сердце мое, неужели ты погибаешь?

Твое сегодняшнее лицо стоит передо мной неотрывно...

Оно страшнее той дикой ледяной ночи, которую я провела с тобой 11 января. Я не в силах была остаться рядом с тобой – я начинаю сама сходить с ума, я изнемогаю от сознания своего бессилия перед снедающей тебя болезнью: быть рядом с тобой, ничем тебе не помогая, а только слушать твой бред и глядеть в твоё лицо – нет, я не могу, это гибель и мне, и тебе.

Солнце и жизнь моя, единственный мой свет, что я могу еще сделать для тебя, кроме того, что делаю? Ничего! Ничего.

Да еще эта проклятая бюрократическая машина, из-за которой тебя до сих пор не могут отправить туда, где бы тебе могли оказать реальную помощь.

Завтра буду звонить Никитскому, буду звонить в Смольный, звонила Хамармеру, – но Охта не работает уже второй день... Ленинград, блокада, развалившаяся жизнь города душат нас с тобой своими чудовищными обломками.

Радость моя, и жизнь, и гордость, если ты погибнешь, я хочу погибнуть с тобой.

Вот я оставила тебя на попечение добрых людей, сама сижу на радио и что-то пишу, пытаюсь вынырнуть из бездны ужаса и смерти, куда меня и тебя тянет.

Или мне надо сидеть над нею, над твоим безумным, страшным лицом?

Но мы оба должны выжить. Я только истерзаюсь рядом с тобой, только потеряю последние силы, нужные для тебя, – и всё. И всё, что будет в результате.

Даже если это твои последние часы на земле...

НЕТ!

Не может этого быть! Инстинкт подсказывает мне правильно, – мне нужно сберечься, выжить, потому что нужно вытащить тебя, а если ты погибнешь, я жить перестану. Даже не умерев, – перестану существовать. Боюсь, что не хватит сил покончить с собою. Ну, умру так...

О, боже мой... О, что же делать, что делать, как поскорее помочь тебе?

Держись! Ничего, я вытащу тебя... Я буду клянчить пищу у кого попало, покупать у спекулянтов – и бешено работать, чтоб иметь деньги, мы устроимся у Линки, и, господи, – ведь скоро конец блокады!

Скоро мы вздохнем с пищей... Но все равно – мы уедем отдыхать, мы уедем в глубокий тыл, к маме, к хлебу, к тишине... Держись! Держись еще немного, мой единственный, мое счастье, изумительный, лучший в мире человек!

Держись!..Скорее бы утро, чтоб узнать, что ты жив, и начать что-то делать для тебя.

А я должна писать. Я должна что-то делать, чтоб выжить, чтоб не сойти с ума, не лечь...

Потом, потом, если ты погибнешь, я лягу. Да, мы должны выжить, и я буду писать – работать, потому что иначе – смерть.

7/II-42

...А между тем, может быть, меня ждет новое горе. Собирался часам к 7 прийти батька, но перед этим должен был зайти в НКВД насчет паспорта – и вот уже скоро 10, а его все нет. Умер по дороге? Задержали в НКВД? Одиннадцатый час, а его нет. М. б., сидит там и ждет, когда выправят паспорт? Может, у меня в Ленинграде уже нет папы?

Народ умирает страшно. Умерли Левка Цырлин, Аксенов, Гофман – а на улицах возят уже не гробы, а просто зашитых в одеяло покойников. Возят по двое сразу на одних санях. Яшка заботится об отправке – спасении нашего оркестра, 250 чел. Диктовал: «Первая скрипка умерла, фагот при смерти, лучший ударник умер».

Кругом говорят о смертях и покойниках.

Неужели мы выживем – вот я, Юра, Яша, папа?

.....

Пол-одиннадцатого – папы нет. О, Господи...

Папа так и не пришел. Просто не знаю, в чем дело. Он очень хотел прийти – я приготовила ему 2 плитки столярного клея, кулек месячки, бутылку политуры, даже настоящего мяса. Что с папой?

Мое омертвление дошло до того, что я даже смеюсь с ребятами...

8/II-42

Папу держали вчера в НКВД до 12 ч, а потом он просто не попал к нам потому, что дверь в ДР была уже закрыта. Его, кажется, высылают все-таки. В чем дело, он не объяснил, но говорит, что какие-то новые мотивы, и просил «приготовить рюкзачок». Расстроен страшно. Должен завтра прийти. В чем дело – ума не приложу, чувствую только, что какая-то очередная подлая и бессмысленная обида. В мертвом городе вертится мертвая машина и когтит и без того измученных и несчастных людей.

Я ходила к отцу несколько дней назад, как он трогательно и хлопотливо ухаживал за мною, как горевал о Коле. И никогда не забуду я его лица при свете свечки, ставшего вдруг каким-то необычайно милым, детским, когда он сказал мне:

– А у меня, понимаешь ли, какая-то такая жажда жизни появилась, – сам удивляюсь. Вот я уже думаю, как мой садик распланировать, – весной. Деревянный-то забор мы уже сожгли, но я тут моток колючей проволоки присмотрел – обнесу садик колючей проволокой... Понимаешь, мне семена охота покупать, – цветы сажать, розы. Покупать вообще хочется. Я вот пуговиц накопил зачем-то, пряжек, обои хочу купить, комнату оклеить. Страшная какая-то жажда жизни появилась, черт ее возьми...

В его маленькой амбулатории – тепло, чисто, даже светло – есть фонари и свечи. Он организовал лазарет для дистрофиков, – изобретает для них разные кисельки, возится с больными сиделками, хлопочет – уже старый, но бодрый, деятельный, веселый.

Естественно – мужественно, без подчеркивания своего героизма человек выдержал 5 месяцев дикой блокады, лечил людей и пекся о них неустанно – несмотря на горчайшую обиду, нанесенную ему властью в октябре, когда его ни за что

собрались высылать, жил общей жизнью с народом – сам народ и костяк жизни города, – и вот!

Что-то все-таки откопали и допекают человека.

Власть в руках у обидчиков. Как их повылезало, как они распоясались во время войны, и как они мучительно отвратительны на фоне бездонной людской, всенародной, человеческой трагедии.

Видимо, рассчитывая на скорое снятие блокады и награждения в связи с этим, почтенное учреждение торопится обеспечить материал для орденов, – «и мы пахали!» О, мразь, мразь!

Практически лучше, чтоб отец уехал из этого морга (говорят, что умерло уже около полутора миллионов ленинградцев). Если обида – только обида, черт с нею, – пусть едет. Доберется до мамы, там устроится, только бы вынес дорогу...

С утра настроение было рабочим, хотелось писать о Хамармере, а сейчас, из-за отца, вновь все кажется ложью и фальшью.

К чему все наши усилия, если остается возможность терзать честного человека без всяких оснований?

Ни к чему! Ни к чему.

Друг мой, ты честен: покинь этот край!

25/II-42

...Утром, когда уходили, на район был дикий артоналет, и снаряды свистели над нашим домом без секундной паузы, как в зоомагазине птицы. Нас не убило, хотя ложились везде, близко. Мне было страшно, я хотела жить и, очень стыдясь своей трусости, уговорила его обождать налет в подъезде...

А когда пришли в Дом радио, оказалось, что из Москвы приехала Муська, моя сестра.

Она приехала к нам на грузовике, с продовольственными посылками для Союза писателей, мне тоже – большая посылка, и она кое-что привезла.

Она ехала кружным путем, одна с водителем, вооруженная пистолетом каким-то, в штанах, в полушубке, красивая, отважная, по-бабьи очаровательно-суетная. Спала в машине, вступала в переговоры и споры с комендантами, ночевала в деревнях, только что освобожденных от немцев, забирала по дороге письма и посылки для ленинградцев.

Горжусь ею и изумляюсь ей – вздорной моей, сварливой Муське – до немоты, до слез, до зависти.

Хочет как можно быстрее выволочь меня отсюда – и так напирает, что я вроде как способность к самостоятельным действиям утратила, и такой жалкой себе кажусь!

Она привезла много отличных вещей – 3 кило шоколаду, 4 банки сгущенного молока и т. д.

Кое-что возьмем обратно в Москву – там тоже плохо, – порядочно отдаем папе, хочу хороший подарок сделать Марусе Машковой.

А в свой отъезд – тем более на самолете – все больше не верится. Ну, могу и на машине – с Муськой, что было бы лучше всего, но рискованно – могу вытрясти ребенка...

Надо собрать Марусе подарок. Хорошо было бы дать ей банку молока – да жалко все же...

Мы идем над Дорогою жизни. Неумолчно гудит самолет. Как тиха и печальна отчизна – Только ели, сугробы да лед. А равнины пусты и безлюдны, Точно нет ни войны, тишина. О, как бьется жестоко и трудно В этом диком молчанье страна. Неумолчное слышу страданье Ненаглядной России моей. Не поют молодые пилоты, Пролетая над тихой страной. За туманным стеклом самолета Только снежное поле одно.

1/III-42. Москва

Вот я и в Москве, на Сивцевом Вражке.

О, поскорее обратно в Ленинград.

Моего Коли все равно нигде нет.

Его нет. Он умер. Его никак, никак не вернуть. И жизни все равно нет.

Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, – неудержимо, с тупым, посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов. Я была у него сегодня, он все же чудесный.

Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио – «Февральский дневник», ни издать книжки стихов так, как я хочу... Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях «героев» фильма «Светлый путь»...

Я попытаюсь издать книгу (не ради себя), и выступить, и читать свои стихи, где можно, но это все на 50 % напрасно, они все равно ничего не понимают, а главное – ни на миг это не исправит ничего!

О, Коля... О, как же это случилось... Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел, и умер, не дождавшись его... Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым...

Господи, хоть бы скорее приехала Муся.

Жива ли она? Жив ли Юрка? Господи, Господи... Нет, нельзя жить...

9/III-42. Москва

Аще забуду тебе, Иерусалиме...

Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков, блокнотов, тетрадок – записей, сделанных за дни войны. Я долго не решалась продолжать эти записи в этой тетради. Как все, что было до войны, – эта тетрадь со всеми ее записями мучительно ранит меня. Впрочем – пусть ранит, пусть. Я не заслужила ничего лучшего, кроме ран и муки. То, что люди любят меня, заботятся обо мне, – их глубокое заблуждение. Да и мне и не надо ничего этого.

За это время, ничтожные записи о котором уместятся между двумя страницами, – ...хотела перечислить, что было за это время, но просто перечислять – немислимо, и даже для простого перечисления нужны тома.

Я с удивлением почти мистическим читаю свою запись от 4/VI-41. Да, вот так

и вышло: война сжевала Колю, моего Колю, – душу, счастье и жизнь. Я страдаю отчаянно.

11/III-42

Я совершенно не понимаю, что не дает мне сил покончить с собою. Видимо – простейший страх смерти. Этого-то страха мы с Колей и боялись, когда думали о смерти друг друга и о необходимости, о потребности умереть после смерти одного из нас. Но он бы все-таки не струсил, а я медлю; люминала, который остался после него, наверное, хватило бы на то, чтоб отравиться.

Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него.

Меня корчит мысль о том, как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил – я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви, – только пусть бы жил, пусть бы жил...

Нет! Нельзя, недостойно, бессмысленно жить!

12/III-42

Живу в гостинице «Москва». Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода.

В Ленинград! Только в Ленинград... Тем более что вовсе не беременна – опухла просто.

В Ленинград – навстречу гибели... О, скорее в Ленинград! Уже хлопочу об отъезде...

14/III-42

И все-таки живу.

Сегодня – новая издевка жизни, я бы сказала, какая-то даже непристойная: оказывается, я не беременна. Был врач, обследовал и заверил, что никакой беременности нет. А я растолстела немислимо, и живот, живот – на добрые 6 месяцев с виду...

Господи, столько шумела, Шолохову хвасталась, он очень доволен этим был, в кумовья просился, я всем об этом раззвонила и ходила, не убирая живот, – и вот, будьте любезны – блеф.

М. б., это уже просто климактерия – бесполость, бесплодие? И вот жирею на этой почве... А на морде появились какие-то пятна, но главное – этот отвратительный (если не беременность) – живот и раздутая талия вместо моей осинной, гибкой. Завтра пойду к профессору, проверю еще раз.

Просто не знаю, как писать об этом Юрке... Значит, Коля умер, не оставив мне ребенка. Я так всегда боялась этого. О, как мы горько жили, как несчастно жили, как бесплодно погибаем – без нашего ребенка. Он все равно был бы нашим ребенком.

В Ленинград.

В Ленинград – навстречу гибели, ближе к ней, хоть я и боюсь ее.

Сегодня шла по Москве – пурга, ветер, а в мутном небе гул самолетов, – и так страшно стало: вот сейчас будут бомбить. Гадость, что боюсь этого.

20/III-42

Из Ленинграда прилетели Томашевские и Азадовские. М. б., Ирина придет ко мне. Она говорила что-то, что Ленинград сейчас в кризисном положении, – видимо, немцы делают еще попытку взять Ленинград. А я на кой-то хрен болтаюсь здесь.

Совершенно ясно, что книжку стихов в таком виде, как она у меня есть, не примут и не издадут. Здесь не говорят правды о Ленинграде, не говорят о голоде, а без этого нет никакой «героики» Ленинграда. (Я ставлю слово «героика» в кавычки только потому, что считаю, что героизма вообще на свете не существует.) Писать такие рассказы, как Тихонов, я могу, конечно, – и даже они немаловажная вещь в заговоре молчания вокруг Ленинграда, но это все не то, не то...

Единственное, что удалось мне сделать для наших ребят, – это выклянчить в Наркомпищепроме 7 ящиков апельсинов и лимонов, 100 банок сгущенного молока, 10 кило кофе. Это все же! Сегодня моталась – собирала по разным складам лекарства, – собрала. Вот завтра еще все это отправить самолетом в Ленинград, – и все-таки хоть кое-что можно считать с моей стороны для Ленинграда сделанным.

А для слова – правдивого слова о Ленинграде – еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще? Будем надеяться.

Известие об опасности Ленинграду как-то наполнило меня жизнью – вообще, сквозь все, в мелочах и заботах, живу одним – всепоглощающей, черной, безысходной скорбью о Николае, видением его, тоскою о нем – женской и человеческой.

Но вот теперь немцы грозят измученному городу новым ужасом. Я не хочу, чтоб они гадили на братскую могилу, где вместе с другими, скрюченный и страшный, лежит мой прекрасный, мой единственный человек. Я не хочу, чтоб они убили Юрку – живого, любящего меня, такого человеческого и красивого. Я не хочу, чтоб они уродовали Яшку.

Я хочу быть вместе с ними. Хочу быть с Юркой. Я не грешу этим перед Колей, – мертвого я люблю его, как живого, и плотью и душой – больше всех. Я не грешу перед ним тем более, что, м. б., меня ожидает участь еще более страшная и печальная, чем его. М. б., он уже счастливей меня.

Господи, хоть бы пришла Ирина, чтоб узнать от нее, что с городом!

Да, скорее туда, обеспечив тут, елико возможно, милую мою Мусю.

23/III-42

Сейчас ездила на аэродром сдавать груз для Радиокomiteта. Чудесное розово-голубое утро, пахнет весной. А Коли нет. Мне до галлюцинаций ясно представляется, ощущается:

Троицкая улица, наша квартира – утром, вот таким же, когда солнце и разлитые в воздухе голубые и розовые краски. Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, – а он не придет. Там будет все так же, но его не будет. Нет, на свете не существует ничего, кроме его смерти.

Господи, что делать. Я не могу жить. Мука становится все огненнее. Меня корчит в ней, дышать нечем – физически... Боже мой, что же делать, – не могу, не могу так жить, никакого смысла нет.

Ирина рассказывала о Ленинграде, там все то же: трупы на улицах, голод, дикий артобстрел, немцы на горле. Теперь запрещено слово «дистрофия», – смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут. Умер в пути Миша Гутнер; я услышала и тотчас подумала: «Скажу Кольке». Я все время, все время так думаю. Но его нет. Я все еще не отправила письмо Молчановым – страшно.

Третьего дня после рассказов Ирины ходила в смертной тоске, с одним желанием – «в Ленинград; в Ленинград – и там погибнуть». Очень хочу туда, хотя страшно туда ехать. Наверное, умерла Маруся, умерли Пренделюшки – или вывезены. Жив ли отец? Цело ли бедное наше гнездо на Троицкой, наши книги, Колины рукописи? Может быть, они уже разнесены снарядом? 20-го Юрка был еще жив и здоров – а теперь? Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть, как труп. Начнется весна – боже, там ведь чума будет. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков.

В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием – прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает «нехорошие политические последствия». На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не смогли достать для Р. К.

У меня страшная, инстинктивная тревога за город. Его сейчас взять проще простого: кто же будет драться? Армия, стоящая в кольце, истощена. Население вымирает. (По официальным данным, умерло около 2 миллионов!) Город ждет страшная судьба.

Вообще, такое чувство, что мы опять завязли: весна на носу, а у нас нет решающих побед. Гитлер же, видимо, не терял времени. Ужасной будет эта весна!

Господи, хоть бы со мной что-нибудь поскорее случилось...

25/III-42

Сегодня была на приеме у Поликарпова – председателя В. Р. К. Остался очень неприятный осадок. Я нехорошо с ним говорила, я робко говорила, а – наверное, надо было говорить нагло. Я просила отправить посылку с продовольствием на наш Радиокомитет. Холеный чиновник, явно тяготясь моим присутствием, говорил вонючие прописные истины, что «ленинградцы сами возражают против этих посылок» (это Жданов – «ленинградцы»!), что «государство знает, кому помогать», т. п. муру. О, Иудушки Головлевы! Проект нашей книги «Говорит Ленинград» не увлек его. Что касается вывоза ребят сюда, – оказывается, он предлагал это Ходоренко, но тот заявил, что «ленинградское руководство будет против этого категорически возражать», и отказался от этого предложения. Ходоренко же заверил Поликарпова, что «все отправил и достал», – а это капля в море, то, что Я выклянчила. Говнюк-то чертов!

В немыслимой тоске по Коле я не ощущаю живого чувства к Юре, но, когда подумаю, что этот ладный, милый, с ясными добрыми глазами и крылатыми бровями парень лежит с пробитым осколком черепом – хочется визжать, выть по-собачьи от тоски.

Война надолго, надолго! Еще берега не видно этой печали, этой горечи.

Очень трудно выжить, выкарабкаться из этой каши.

27/III-42

Вчера из Вологды получили телеграмму от отца: «Направление Красноярск, просите назначить Чистополь. Больной отец». Я, наверное, последний раз видела его в Ленинграде в радиокомитете. Его уже нет в Ленинграде. Он погибнет, наверное, в дороге, наш «Федька», на которого мы так раздражались, которого мы так любили. А - о!..

В Ленинград! Скорее в Ленинград, ближе к смерти. Она все равно опустошает все вокруг меня. Все уходят, все падают. Что с Юрой-то? Почему от него нет ни слова. Двадцатого он был еще жив. А сегодня? Сейчас?

28/III-42

Только что была ВТ. В Москве во время ВТ работает радио, поют, говорят и играют. Вначале меня рассмешило, как дикость, когда сразу после воя сирены дали разухабистую русскую песню, а потом даже понравилось, - что ж, пускай поют, не слышно бомб...

29/III-42

Опять воздушная тревога. В комнате громко говорит радио, и рокота зениток почти не слышно. Не уходили из номера, и это зря - надо было бы поберечь Муську. Я не то что совсем не боюсь, а как-то не могу решить - идти в убежище или нет.

Сегодня была на 7 симфонии Шостаковича. О, какая мука, что нельзя рассказать об этом Коле, какая обида и несправедливость, что он не услышит ее. Как он любил музыку, как благоговейно он относился к ней.

Я внутренне все время рыдала, слушая первую часть, и так изнемогла от невыносимого напряжения, слушая ее, что середина как-то пропала. Слыхали ли ее в Ленинграде, наши! Мне хочется написать им об этом. Может быть, это можно будет передать по радио. Я завтра зайду к Шостаковичу, подарю ему свою поэмку, попрошу его написать несколько строк для ленинградцев и, если удастся написать о концерте, отправлю в Ленинград с оказией.

1/IV-42

Позавчера - огромные письма от Юрки, - пламенные и нежные до безбоязненности.

Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви «давно, безраздельной»; узнав, что ребенка нет, зовет в Ленинград. Наверное, он и в самом деле любит меня; странно, что это удивляет меня, вызывает какое-то недоумение, сомнение, - а вот Колина любовь была для меня несомненна и вызывала изумление гордое, я гордилась собой за то, что он меня любит. Я все еще ощущаю, и особенно после Колиной смерти, Юрку как чужого и испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему, не любил его, я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И из-за этого я испытываю к нему неприязнь, что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную, он нравится мне, он мне мил и дорог. Позавчера была почти счастлива от его писем и думала о Ленинграде уже не как о месте гибели, но как о месте жизни, где дышать можно будет, - здесь я ничего не делаю и не хочу делать, - ложь удушающая все же! - здесь я томлюсь, и жизни во мне - только любовь к Муське. Но я уже вся - в Ленинграде. И когда я вернусь в Ленинград, я, наверное, буду любить Юрку настолько, насколько могу чувствовать сейчас вообще.

Я - баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик.

Иногда я думаю, – а, смерть на носу, солнце мое, <неразб.>, Колька, – я отдам Юрке остатки сердца, – куда их мне, отдам ему счастье, которого он жаждет... Да, так и надо, надо отпустить сердце.

Но он стоит передо мною таким, как я видела его последний раз: со скрещенными, сведенными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрепил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны... Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда, – не предала, а оказалась слабой и малодушной.

Как зовет меня к себе Юрка! Но ведь это – изменить Коле!

Я НЕ ИЗМЕНЯЛА ему, – никогда. Отдать сердце Юрке – изменить ему...

Надо написать для радио о Хамармере, обещала им же об отце, но об отце писать не буду. Если не написать о нем всего, и о себе тоже – значит, соврать, а врать о Ленинграде я не хочу. Юрка правильно чувствует, что работать я могу только в Ленинграде; я написала им о концерте Шостаковича, по-моему, хорошо вышло. Жаль, если он не напишет ничего для Ленинграда, если ему не понравится «Февр. дневник», который я дала ему прочитать. У меня приняли книжку, приняли в «Кр. новь» «Февр. дневник», он вообще пользуется здесь огромным успехом вплоть до Ц. К. У меня сейчас хорошее имя. Зачем портить его ложью?

О Хамармере напишу во весь голос и не дам портить. Видимо, на этом мои отношения с радио кончатся. Ну, попробую написать о нем, потом выпьем с Мусей и буду писать стихи.

Скорей бы в Ленинград! Только как вот Муська моя! Как страшно с нею разлучаться! Э-хх, жизнь!

2/IV-42

Дни бегут неудержимо. Я, так сказать, не сделала в Москве ничего существенного. Полагаю, что этим не стоит удручаться, – все это было нужно только ради суеты. Правда, надо еще сделать попытку напечататься в «Правде». Но кое-что печатать не хочется, «Февр. дневник» не напечатывают, а новое – не пишется. Вот даже Хамармера никак написать не могу, а о Ленинграде – и подавно невозможно. После смерти Коли ложь стала совершенно для меня непереносимой.

Я, вообще, могу сейчас писать только о себе и только в связи с его смертью, даже не упоминая его. Эгоцентризм горя, видимо. Да, я очень мало «преуспела» в Москве. Ничего! Не в этом дело. Зато я не «затруднялась», как говорил Колька. Да. Нет смысла затрудняться, – и так паршиво жить, зачем создавать себе дополнительные тяготы в виде тщеславия и т. д.

3/IV-42

До удивления обкидало какой-то пакостью все лицо и даже грудь, – никогда ничего подобного не было. Наверное, перехватила витаминов – и вот, диатез... А впрочем, – неважно.

Получили письмо от отца, с какой-то станции Глазовой от 28/III. Он пишет: «родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия и т. д.), но освободите меня отсюда». Он едет с 17/III, их кормят один раз в день, да и то не каждый день. В их вагоне уже 6 человек умерло в пути, и еще несколько на очереди. Отец пишет: «силы гаснут, страдаю животом...» Он заканчивает письмо – «простите меня за все худое...».

Боже мой! За что же мы бьемся, за что погиб Коля, за что я хожу с пылающей раной в сердце? За систему, при которой чудесного человека, отличного военного врача, настоящего русского патриота вот так ни за что оскорбили, скомкали, обрекли на гибель, и с этим ничего нельзя было поделать? А ведь «освободить» отца почти невозможно. Кто же будет заниматься спасением какого-то доктора? «Спасати народ!» К кому кинуться? Писать челобитные – я же знаю по опыту, что это просто волокита. Попробую поговорить завтра с Фадеевым, но разве этот вельможа сделает хоть что-либо реальное? Вот центр, клуб НКВД просит устроить им вечер и выступить у них. М. б., там удастся растрогать кого-нибудь из чинов и добиться до Берия или кого-нибудь в этом роде? Все это бесполезно, я знаю, но буду пробовать. Если отец выживет, он доберется до Красноярска, куда его направляют, – а м. б., он уже погиб? Где искать его? Кто этим сейчас будет заниматься? О, подлость, подлость.

Хотела писать для радио о Хамармере и стихи о себе для «Правды» – и после письма отца ничего не могу, – отравы заливают, со дна души поднялись все пузыри, все обиды. Черт знает что, преследуют и преследуют с самой юности – и меня, и друзей, и близких, да за что же, доколе же... Может быть, Коленька мой и впрямь счастливей меня?!

7/IV-42

В ночь на 4/IV на Ленинград было сброшено 200 бомб, гл. обр. на Васильевский остров, на корабли. На В. О. разрушено 40 домов. Юрка, Юрка! На город шло 130 самолетов, прорвалось 50. Налет длился час. О, Юрка! Миновал ли его этот час смерти? Где он был в это время, в городе?

Неужели я и тут опоздала? Какие неласковые письма писала я ему отсюда, – я даже ни разу не написала «люблю», – а он жаждет, чтобы я говорила ему это. Коля держал меня, я не могла написать этого, хотя писала ему, что он дорог мне, что я хочу быть с ним...

А город-то, бедный город, люди его: истерзанные голодом, обессиленные – и еще это!

9/IV-42

Вчера получила письмо от Юрки от 3/IV, полное любви и преданности. 3/IV он был жив. Оказывается, я написала-таки в одном из писем – «люблю». Сама не помню, что писала. Ну, и хорошо, что написала, – он пишет, что счастлив, и, м. б., верно – счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен. Я несчастлива в полном, абсолютном значении этого слова. Сегодня все время приступами – видение Коли во второе мое посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, все время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку. О, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен, – еще в первый день, в день безумия, он был красив, и тут – вдруг не он, хуже, чем во сне.

Мне нельзя жить. Это все равно не жизнь. Я оправдываю свое существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели. Я, наверное, недолго просуществую, – все как-то, помимо меня, логически идет к этому, сокращается и сокращается жизнь, сжимается, как шагреневая кожа, – и вот человеку остается только одно – умереть; и если человек видит и знает, что она сокращается, – это ужас, этот человек несчастен.

В душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя, становлюсь равнодушной к людям или воспринимаю их только через себя –

вот как сегодня такого же несчастного, как я, Юльку Эшмана. Он потерял жену, отца, – теперь, видимо, мать и брата.

– Как ты живешь, – спросила я его.

– А я не живу, – ответил он. – Если живу, то только дочкой.

Мы сидели с ним в троллейбусе, плечом к плечу, и говорили – он о жене, я о Кольке. Оба чувствовали себя глубоко виноватыми перед ними, и я на мгновение ощутила всем существом, что у нас совершенно одно горе.

– Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны, – спросила я его.

– Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Москву, вижу, что нет...

Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей – и то не можем добиться мы правды!) xxxxxxxxxx после телеграммы Жданова о запрещении делать индив. посылки в Ленинград, после разговора с Поликарповым – и т. д. и т. д. «ОНИ» делают с нами что хотят.

Мы были слугами весел, но владыками морей...

Мы, владыки морей, – слуги весел!

Была сегодня у секретаря парторганизации НКВД, – мордастый такой «деятель тыла». «Беседовали...» (не могу без судороги ненависти говорить о них!). Взял мое заявление, обещал сегодня ночью доложить наркомму. Неужели что-нибудь сделают? Что-то плохо верится.

Ох, скорее бы в Ленинград, скорее бы!

Васька Ардаматский говорил, будто Жильцов (пол. ПВО Л-да) говорил, что бомбы упали гл. обр. на Парголово и центр не пострадал, – значит, Юрка жив? Он все же хороший, и его любовь греет меня.

11/IV-42

Самое скверное, что, может быть, не улечу в Ленинград еще очень долго, – это может быть и 10, и 15 дней.

Надо было, плюнув на все и на всех, рваться в Ленинград в самом начале апреля, вот тогда, когда отправляла груз.

«Сейчас – говорят в Аэрофлоте – развезло аэродромы, и недели полторы может не быть самолетов».

А мне кажется, что это врут, что это просто сговорились люди, опекающие меня, от Муськи до самодура Ставского, которые считают, что я «делаю глупость», стремясь в Ленинград, считают себя вправе заботиться обо мне, навязывать мне свою опеку и тягостную заботу о моем здоровье.

О, как я одинока без Коли, – он один, при всей трепетной его любви и обмирании за меня, не давил на меня, не отягощал меня своею любовью и заботой.

Я очень, очень люблю Муську, и мне страшно оставлять ее, маленькую, одну, но у меня же есть – пусть ошметки какие-то СВОЕЙ жизни.

Я хочу в Ленинград, хочу приняться за какое-то дело, хочу к Юрке, ждущему и жаждущему меня.

Мне день ото дня невыносимей в Москве. Да и стыдно, – агитировать за ленинградский героизм в то время, когда там Юрка и Яшка работают по 18–20 часов в сутки, а я тут разоряюсь насчет Ленинграда, да мне еще всё корнают и выхолащивают, как хотя бы очерк о Шостаковиче.

Была на заводе № 34, в трех цехах читала и говорила о Ленинграде, – рабочие очень хорошо слушали, этот день доставил какую-то хорошую отраду. Они написали письмо в Ленинград.

Сегодня был вечер в клубе НКВД. Читала «Февральский дневник» – очень хлопали, так что пришлось еще прочитать «Письмо на Каму», – тоже хорошо приняли. Что ж, среди них тоже, наверное, есть люди, – а в общем, какие они хамы, какими «хозяевами жизни» держатся, – просто противно. Но к этому надо относиться спокойнее. Секретарь парткома сказал на мой звонок об отце, что передал мои заявления секретарю наркома и что они «решили действовать через Кубаткина, т. е. через Ленинград». Ну, это для того, чтоб отделаться, – и только. А от отца с З/IV нет известий – жив ли? Просто не знаю, как доживу эти дни в Москве, – такое чувство, что просто никогда уже не увижу Л-да, Юрки, – что-нибудь опять стряется. Скорее бы шло время.

Попробовать, что ли, писать свои стихи? Из стихов для Ц. О. о себе что-то ничего не выходит...

12/IV-42

Тоска. Машин на завтра на Ленинград – нет.

Делать мне уже абсолютно здесь нечего. День сегодня был необычайно длинен, – большею частью лежала на кровати, томилась жизнью.

Господи, о господи, будет ли мне выход? Я видела сегодня во сне смерть Ирки и Коли. Я думаю, что вот так хочу в Ленинград, а ведь там тоже нет Коли. Там пустая квартира на Троицкой, – некуда, некуда деться. Там Юрка, – но как же я лягу с ним на ту же постель, где 8 лет лежала с Колей, столько радостей и горя испытывая. Если б он еще был жив, – другое дело! А тут – еще раз похоронить его. И я знаю, что Юрка будет внутренне раздражать меня, никогда, никогда не станет он мне так близок, как Николай, хотя вчера я о нем грустила и думала с нежностью. И, может быть, еще буду жалеть о сегодняшнем своем бесцельном времяпровождении, – об этой теплой комнате, о совместных вечерах с Муськой, полных тоски и томления.

Нет, не найти мне места на земле! Но наиболее из этих мест утоляющее на сегодня – это все же Ленинград. И я хочу туда. И знаю – хотя бы первые дни с Юркой будут радостны. Тихонов тоже рвется в Ленинград. Я знаю, что влечет нас туда: там ежеминутно человек живет всей жизнью, там человеческие чувства достигают предельного напряжения, все обострено и обнажено и ясно, как может быть ясно перед лицом гибели.

Конечно, преждевременно одряхлевшая наша система в ее бюрократическом выражении дает себя знать и там, – чего стоят эти Шумиловы и Лесючевские, и все же это не то, что в Москве.

Вчера объявили сталинских лауреатов. Это мероприятие ничего общего не имеет с искусством. А сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг. И за что награждают! Рядом с титанической Седьмой симфонией – раболепствующая посредственность и лъстивая бездарность, и ее – больше всего. И за нее – возвеличивают, платят. Брр...

Беда стране, где раб и льстецОдни приближены к престолу!

Только бы они догадались пожертвовать все свои деньги в фонд обороны. А то

народ будет очень раздражен, – и не без справедливости. Нет, в таких условиях искусство будет только хиреть. Оно должно быть совершенно независимо. Этот «непросвещенный абсолютизм» задавит его окончательно. Эти премии – не стимул, а путь к гибели иск-ва.

Как хорошо, что я – не орденоседец, не лауреат, а сама по себе. Я имею возможность не лгать; или, вернее, лгать лишь в той мере, в какой мне навязывают это редактора и цензура, а я и на эту ложь, собственно говоря, не иду.

Лауреаты сегодня пируют, меня никто не позвал, – ну, и не надо. Зато рабочие завода № 34 принесли мне письмо для ленинградцев. Я на днях пойду в детдом, где собраны ребятки из быв. оккупированных районов. Почитаю им «Рассказ об одной звезде», поговорю. Не надо мне правительственного почета, хотя разумнее было бы напечататься в Ц. О. – также отдать в Ц. К. Еголину прочесть поэму. Это «возвысит» меня как-то перед г. г. Шумиловыми и, м. б., даст возможность говорить больше, чем до сих пор.

Пожалуй, это все же надо сделать. Хотя больше всего мне хотелось бы напечатать в «Правде» то, что было бы нужно людям...

Я думаю уже о том, что я буду писать в Л-де. Напишу им, как думают и говорят о лицах «за кольцом», – доваторцы, в госпитале, в цехах завода, м. б., в детдоме.

Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием – слушая радио или читая газеты – понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это – как окна в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом, хотя бы все это было – в конечном итоге – бесполезно.

Я выгляжу хорошо. Сошли все отеки с лица, почти нет морщин, кожа – невысказано шелковая, как никогда; широкие, белые плечи, приятная, круглая и упругая грудь... Колюшка так и не дождался, чтоб я располнела, – дурачась, он говорил мне: «Берггольц, я хочу, чтоб у тебя были большие груди!» О, как он любил меня, – все мое тело, все мое женское естество, – он ведь всерьез считал меня «самой красивой женщиной в Ленинграде».

(По радио поют «И кто его знает», – эту песню я слышала впервые в «слезе», у Маргошки, когда был жив Коля... О, какими счастливыми мы были тогда! Нет, нет мне жизни!)

<...>

О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним в его последние минуты! Он наверняка пришел в себя (доктор сказал – «скончался тихо»), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным...

Так пусть же со мной будет все дурное, что может быть!

13/IV-42

Сегодня утром – телеграмма от Юрки, от 11 /IV. Тот смертный час, что гремел над Ленинградом 4/IV, миновал его на этот раз. Слухи о 4 апреля все более страшные – говорят уже о 600 бомбах, о 4 разрушенных кварталах на Васильевском острове.

С отлетом все еще неопределенно, хотя Петрова сказала, что завтра, м. б., она что-либо определенное скажет. Звонила Тонька Гаранина, говорила что-то Муське, чтоб я «сейчас ни под каким видом не ездила в Л-д», вообще все смотрят на меня как на дуру или на героя – за возвращение в Л-д, – чудачье!

Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман.

От отца с 3/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых, – погиб в пути, как погибают тысячи ленинградцев? Ленинград настигает их за кольцом. У Алянского в пути умерла жена, здесь – в Москве – сын. А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать всего» о собственном отце, – они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу! Воюю за то, чтоб стереть с лица советской земли их мерзкий, антинародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова, – во сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии к нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство.

Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!

Юрочка пишет: «Писем нет, беспокоюсь, жду, целую, сообщи, когда прилетите». Скучает, наверное. Я отправила ему ласковую телеграмму, где написала: «Юринька, родной» (самое желанное ему слово), написала, что тоскую, что скоро прилечу. Это, наверное, обрадует его. Боже мой, ничего нельзя жалеть для человека, ходящего под ежеминутной смертью.

Я не сберегла ни Колю, ни папу (надо, надо было идти к Кубаткину и орать!), пусть хоть ему достанутся остатки моего тепла, ему и маленькой моей Муське.

Как мне хочется беречь и лелеять ее, как бы это устроить. Но в Л-д пока боюсь ее брать, пока сама не погляжу, как там теперь. Я думаю, что если б было очень плохо, то Юрка не звал бы меня туда...

16/IV-42

Я все еще в Москве. Говорят, что раскисшие аэродромы могут продержаться в таком состоянии дней 10-12 еще! Неужели я не попаду в Ленинград?!

Вечер, или, вернее, ночь на 17/IV.

Коля все равно уже не прочтет этой тетради, как бы я ее ни прятала. Я могу положить ее на самое видное место, и он все равно не прочтет ее. Я могу писать что хочу. Я могу жить как хочу. Его нет.

Был днем некто Фефа. Он бывал на Троицкой, когда был жив Коля. (О, что я говорю: «когда *был* ЖИВ Коля». Измена! Значит, я признаю его мертвым? Нет, милый псо, нет, – не бойся, не бойся, солнышко, я не признаю тебя мертвым, – я не дам тебе умереть.)

Я, видимо, пьяная, хотя вино после *голода* ни разу еще не приносило желанного самозабвения.

Коля! Коленька! Псоич, солнце. Сердце мое... Ты слышишь, – нет? Ты слышишь, я тебя окликаю. Сколько раз, когда я просыпалась около тебя, мне вдруг казалось, что ты – мертвый, и я звала тебя: «Псо!!» И ты открывал возлюбленные, милейшие, святые свои глаза и глядел на меня с неизменной любовью.

Песинька. Родненький. Милый мой. Это неправда, что тебя нет. Ты там. Ты на Троицкой. Если ты не постучишь, не ляжешь рядом со мной, – значит, меня нет.

Коля. Коленька. Мой милый. Крест мой, мученье мое. Жизнь моя – вернись! Ведь ты же любил меня. Как же ты не веришь, что я так мучаюсь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна без тебя.

И главное – не рассказать. А я все думаю: увижу его, лягу рядом с ним, вздохну

и скажу: «Ох, если б ты знал, до чего я МУЧАЛАСЬ по тебе!» И он обнимет меня и прошепчет: «Псоич мой!..» То есть, как это? Так вот и не рассказать... Псоич мой. Нет. НЕТ.

26/IV-42. Ленинград

За окном гудят патрульные самолеты. Иногда артстрельба. Начала эту страничку 26, а сегодня 28, но все то же. Видимо, через некоторое время начнется ВТ и бомбежка. Они бомбят наш флот и одновременно с бомбежкой ведут артобстрел, во время ВТ и так. Из окна нашей комнаты на 7-м этаже видны крыши – они все в дырах от снарядов, – почти рядом с нашими окнами. Я до сих пор нервничаю, трушу, когда начинают бомбить и когда над самой крышей с плачем пролетает снаряд. Удивительное дело! А были дни в Москве, когда с полной искренностью писала: «в Л-д, ближе к гибели». Ленинград чист, он жив, он есть.

Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью – я вижу это теперь. (ВТ. Начнется сейчас бомбежка.) Я хочу жить. Я не боюсь смерти, – но мне не хочется расставаться с Юркой. (ВТ прошла и на этот раз мимо.)

Он любит меня страшно, не скрывая этого ни перед кем, сияя от счастья, как мальчик, получивший долгожданный подарок, он ходит почти бегом, он говорит громким, возбужденным голосом, он всем, ежечасно – хвастается мною, моими стихами, моими успехами. Даже постороннему человеку трудно не радоваться, глядя на него. Какие восторженные слова говорит он мне – обо мне же, о моих стихах. Не устает глядеть на меня, не устает целовать, трепещет и боится ежеминутно, что «уйду».

Когда я приехала, я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень теплую, даже с мягкой мебелишкой («на этом диване ты сидела в 50 хронике»), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом – мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он приготовил для меня отдельный уголок, человеческое светлое жилье, – правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар – на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных.

3/V-42

Я почти ничего не пишу здесь – не хочу, чтоб Юрка заметил, что я веду дневник. Это только моя жизнь – нелепо и уродливо посвящать его в нее. Вчерашняя телеграмма от Маргариты Довлатовой и так опечалила и встревожила его, – это был ее ответ на мое московское письмо о смерти Коли. Пусть он радуется со мною и мне. Я не жалею и не буду жалеть на него ни ласки, ни приветливости, ни любви. Пусть он будет счастливым! В первые дни возвращения, когда еще особая обида на него за Колю (как будто бы он в чем-то виноват!) держала меня и я скупилась на приветливость и заводила разговоры, чтоб сказать ему: «Я все же любила Николая больше тебя», – вдруг меня озарила мысль: «А может быть, мне еще придется видеть его в нарывах и язвах, умирающего от газов». Бог знает, сколько еще муки придется выдержать и ему и мне. Нет, нельзя жалеть ни любви, ни ласки, и она исходит уже свободно из души, почти не удерживаемая мощной, угрюмой и больной памятью о Николае...

4/V-42

Вчера до 5 ч. утра – тягчайший разговор с Юрой о прошлом. Он старается уверить меня, будто бы с сентября я уже не любила Николая. Будто бы и сейчас не люблю его, а все выдумываю. Какая ерунда!

8/V-42-9/V-42

Все никак не остаться одной, чтобы писать здесь и работать для себя.

За время приезда в Ленинград была два раза на фронте. В 42-й армии - это за «Электросилой», около Дворца Советов, и в 55-й, в Рыбацком и Усть-Ижоре. Как странно, пронзительно-печально, удивительно идти по знакомейшим местам, где было детство, юность, а теперь - фронт. Ощущение единства жизни, горячего, бесплодного, содержательного, грустного не покидало меня, и очень отчетливо чувствовалась поступь жизни. Сколько я прожила, можно уж целую книгу писать... Уже прожита одна, целая человеческая жизнь; в городе нет отца, нет Коли. Нет его родных, умерли мои тетки, давно умерли мои дети. Этого ничего нет. Нет. И невозвратимы - юность, мужание - и все прошлое. Началась, независимо от моей воли, и идет уже совсем-совсем другая жизнь, и я сама - та - тоже как бы умерла.

Со стеклянным звуком ложатся где-то снаряды, вчера и сегодня летели через крышу, отвратительно стена и воя. О, печаль, печаль!

Я в Ленинграде уже 20 дней. Почти не работала, - только написала одно стихотворение «Ленинградцы» - среднее, хотя есть хорошие строчки, и выступления - «Ленинградцы за кольцом» - ничего, его бы прослушали с удовлетворением. «Проходит инстанции» - еще, м. б., и не дадут читать. Пропаганда наша по-прежнему бездарна и труслива, «руководство» тупо и бездарно.

Я живу, главным образом, «медовым месяцем» с Юркой. Три раза выступала с «Февральским дневником» - потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе - просто ликование. В 42-й и у торпедников - бойцы и моряки плакали, когда читала. Особенно большой фурор - у торпедников, - просто слава. Но мне уже как-то больше неудобно с ним выступать, пора писать что-нибудь новое. Успех - и в Л-де, и в Москве, - ошеломляющий успех «Февральского дневника» смущает меня потому, что теперь следующее надо написать еще лучше, а мне порой кажется, что это был мой потолок. А как я писала ее - в феврале, - тупая, вся опухшая, с неукротимым голодом, - я тогда только что начала есть, Юркино, с остановившимся, окаменевшим от недоумения и горя сердцем... Как долго не могла раскаться, злилась - Юрка торопил, я чего-то строчила тупо, с неохотой, а потом вдруг, почти непонятно, начала с бедного, простейшего - и стало выходить... Но, конечно, не совсем вышло, я-то знаю, хоть и не говорю.

Надо написать - смутно вырисовывается нечто вроде поэмы - лирически-балладный цикл «Ленинградцы» - о той самой человеческой эстафете.

Много о чем надо написать и записывать. О Мэри Рид, сестре Джона Рида, умирающей от голода (кое-чем поддерживаем с Юркой, и он старается устроить ее в стационар). О 55-м - вручении гвардейского знамени - бедное торжество на фронте, находящемся в черте города (цикл или стихотворение - «Ленинград - фронт»). О ленинградских детях, романсы и песни. Да, да, надо работать, надо войти в быт города. Я на своей верхотуре, в комнате теплой и светлой и полной еды, - оторвалась от города, от людей, стала эгоистичной и самовлюбленной. Я не считаю стыдом, что упиваюсь сейчас «личной жизнью», но уж хватит, надо что-то делать. Тот восторг, та настоящая человеческая радость, с которой реагируют люди на «Февральский дневник», - ко многому обязывает меня.

Блокаде конца не видно. Пока я тут - немцы дважды атаковали город, но безуспешно. Все уже как-то притерпелись к тому, что фронт начинается на улице Стачек, 100, а за больницей Фореля - немецкая зона! Умирает меньше народа - слишком уж много умерло. Да, умерла Маулишка и Лидия Николаевна. Это очень ударило меня. Какая я скотина, что не позвонила ей в январе... Верно, я ничем не могла бы помочь тогда, - они умерли в те же дни, в те чудовищные январские дни, когда и Коля. О, как больно, как хочется исправить это - прийти

на ту квартиру, сказать ей: «Маулишка, да что ты? Ну же, вставай, живи!»
Я дружила с ней с 30-го года, и она была верной моей подругой. Ах, боже мой.

Юрка спит и храпит ужасно. Вчера, до 8 ч. утра, – опять страшнейшее объяснение... «Ты пойми, что это вовсе не сцена ревности», – говорил он мне, а это была классическая сцена ревности, и пошлейшая притом, но он так молод сердцем и так рационалистичен, что сам не понимает этого. Были у нас Фадеев, Тишка, Прокофьев, – пили, я совершенно невинно повертела хвостом перед Сашкой Прокофьевым – отнюдь не больше того, как обычно с ним – человеком, глубочайшим образом безразличным мне и знакомым свыше 10 лет. То есть более общего, что ли, кокетства, нельзя и придумать. Тем не менее Юра поднял это, плюс звонки одного торпедника – на небывало принципиальную высоту – «ты оскорбляла меня весь вечер, ты разогрела Прокофьева, ты зазывала торпедника, ты показала, что ничуть не дорожишь нашей любовью» – и т. д. Дурачок, дурачок! Он и не подозревает, какая огромная, изумляющая меня самое – его победа то, что я смеюсь с ним целыми днями, как ласкаю его с искреннейшей ненасытностью. Мучительная и любимейшая Колина тень останавливается. Я по-настоящему целыми днями счастлива бываю и обмираю от влюбленности в Юрку, – а он строит какие-то вавилонские башни на трепотне с Сашкой. Знал бы он, как это мне все равно, что это лишь – тоска... Но вчера мне было очень плохо. Сашка упился и стал безобразно грубить и лезть. Юрка наговорил мне несправедливо-обидных вещей – зря, зря. Я с отчаянием почувствовала себя абсолютно одинокой, – ничего подобного не допустил бы Коля, понимая, что всё – ничто по сравнению с любовью к нему, что всё не более, чем ничего не значащее кокетство.

Ну, при Юрке хвостом не повертишь! Крут, что и говорить. Он так натянет удила, что весь рот в крови будет. Хозяин, поглотитель, собственник. Отчасти (вот баба!) это мне нравится, что свидетельствует о том, что любит крепко, по-настоящему. Но, м. б., это нравится, пока свежо? Ведь если такие беседы, с таким криком будут практиковаться, если он собирается так контролировать все мои (чисто внешние) знакомства, – то что же это будет? Как говорится – извиняюсь, я к курям не присужденная! Мне действительно никого, кроме него, сейчас не надо, и игра ничуть не есть для меня самоцель, но ведь от таких пустяков он может пойти и дальше, и дело дойдет просто до домостроя, а это уже – тоска и одиночество.

Я, несомненно, люблю его. Да, как ни ужасно это, но новая жизнь – это факт. Она уже есть. Я уже живу ею – живу без Коли... Коли-то нигде нет. Все еще, ежечасно – невольно – думаю – «расскажу Коле». И нет его. Шли сегодня с Юркой от Тихонова, – все в его квартире связано с ТОЙ жизнью, – шли, и весенний город был пуст, гулок, здания почему-то казались огромными. Весна в Ленинграде – а Коли нет. Тучкова набережная, Тучков мост, где 8 июня 1930 года я сидела ранним утром у воды после первой ночи с Колей, – а Коли нет... Его нет в городе. Нигде нет в нашем Ленинграде!.. Пока Юрка рядом, в комнате, – я пою ему, целую его, счастлива и влюблена в него, – он ушел, я осталась одна – и мгновенно проваливаюсь в холодную, черную прорубь, с ужасом думая: «Да, все это так, это хорошо, но ведь Коли-то все-таки нет?!»

Эти провалы реже сейчас, но тоска – снедающая всю душу, – наверное, еще вернется. Я боюсь ее. Я бегу к Юрке, ныряя в его любовь, в цельное его, милое сердце, – зажмурясь, бегу от самой себя.

Так долго нельзя все же. Должна наступить ОДНА жизнь. Она придет, наверное. Я уже не отказываюсь от нее. Но обе жизни еще борются во мне. Я еще думаю иногда – не лучше ли умереть. Но все чаще, как распахнется дверь в сердце – и ахнешь: ведь может, может быть жизнь – свободная, мощная, одна – жизнь с ОДНИМ Юркой. Ничего, договоримся, – вчерашний скандал – т. с. для пускового периода: так, значит, идти на нее? Идти?

Завтра – во-1-х: отец. Звонок Кубаткину, звонок на ф-ку (деньги).

Мэри.

Работа.

Филармония?

11/V-42

Не то ВТ опять начинается, не то обстрел. Минуты тишины в городе теперь очень редки, и чувствуешь себя в это время как-то странно и даже беспокойнее, чем во время стрельбы, – как-то удивительно, что тихо, и такая недобрая эта тишина, подозрительная, томящая.

13/V-42

Сегодня я могла бы написать – «о вчерашнем моем выступлении говорит весь город»... Это, конечно, не так, но только в одном Радиокomiteте я выслушала сегодня столько признаний, благодарностей и трогательнейших слов – от знакомых и незнакомых людей. Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: «Знаете, когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на помощь приходят ваши стихи. Они были для меня как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня умирал муж, и, знаете, спичек, спичек не было, а коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку и гас, и я кормила мужа, а ложку-то куда-то в нос ему сую – это ужас, – и вдруг мы слышим ваши стихи. И знаете – легче нам стало. Спокойней как-то. Величественнее... И вот вчера – я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, – я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять – слышу ваше выступление и стихи... И чувствую, что есть жизнь». И еще – такие же отзывы, письма. А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте, ослабшие, вялые (Господи, как я по себе знаю это, когда лежала без воли, без желания, в ПРОСТРАЦИИ), и единственная связь с миром – радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол – стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче – голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им – пусть мимолетной, пусть иллюзорной, – ведь это не важно, – значит, существование мое оправдано.

20/V-42

Вчера были у Матюшиной, тетки Тамары Франчески. Тамара – сестра Игоря Франчески и близкая подруга Леньки Анка, – двух людей из б, которые оговорили меня в 38-м году, и из-за них я попала в тюрьму. Они не виноваты, их очень пытали, но все же их показания чуть-чуть не погубили меня. Тамара довольно часто бывала у нас, рассказывала нам о тетке и жаловалась на нее, и мать Леньки говорила, что будто тетка испортила ей жизнь. В деревянном старом домике на Петроградской, на Песочной улице когда-то бывали молодой Маяковский, Хлебников, Елена Гуро. На Песочной улице, в конце ее – умерла моя Ирочка. В другом конце Песочной, в военном госпитале, зимой необратимо захворал Коля. Сюда я несколько раз ходила 6 января, к нему. Пришла, а он лежал связанный, безумный, среди чужих людей, бредил гитлеровским пленом и сразу узнал меня. <...> О, нет! Если начать вспоминать это, то сплошная рана открывается внутри и ясно становится душе, что нельзя, нельзя жить после этого. <...>

Я не знаю все еще, как же жить. Не умом не знаю, а практически. <...>

Матюшина, как и многие другие, тоже говорила мне о моей передаче «Ленинградцы за кольцом» – восторженно и тоже благодарила. Надо написать еще лучше – «Ленинград – фронт», надо написать грустно и сурово, в чувстве ожидания

новых испытаний для уставших ленинградцев. Говорят, что обстановка на Лен. фронте складывается неблагоприятно для нас. Бог знает, что еще будет. Сегодня в городе непривычно тихо, слышно было даже, как в саду отдыха кричали птицы. Ну, а завтра? Немцы подтянули резервы к городу, разбомбили плотину на Ладожском, по Неве все же идет ладожский лед, и среди него - много мин. Говорят, что уже взята Керчь. Как это все щемит и болезненно душит - эти прошлогодние сводки: «наши войска отошли...» Выйдет ли что с Харьковом, и как все это - непонятно. В приказ - окончить войну с Германией в 42-м году - что-то не верится. Демагогия. Конца блокады не видно. О, суровые, замкнутые в себе, черные и голубые лица ленинградских детей. Вчера увидела такую девочку в булочной и опять пронзило: «Как можно жить, терпя этакое?» Хорошо, что Юра уложил Мэри Рид в больницу. Хорошо, что мы отдали свои пропуска в столовку Дома писателей - Мариным. Это их сильно поддерживает, они - старейшие друзья мои и Коли, Коля одобрил бы это.

Но ведь это - капли в океане. А люди голодают и голодают, и многие еще отчаяннее, чем в феврале. Маруся, Фриц, Мэри, Мироновы - прямо об этом и говорят. Уже последние запасы сил выходят. Прендель рассказывал недавно, что трупоедство растет - в мае в их больнице 15 случаев вместо 11 - в апреле. Ему же пришлось и все еще приходится держать экспертизу по определению вменяемости людоедов. Людоедство - факт, он рассказывал о двух людоедах, которые сначала съели трупик своего ребенка, а потом заманили троих - убили их и съели. Это было в апреле. Когда Прендель об этом говорил - мне почему-то было смешно, совершенно искренне смешно, тем более что он еще пытался как-то оправдывать их. Я сказала: «Но ведь ты же не скушал свою бабушку», - после этого уже не могла всерьез относиться к его рассказу о людоедах. А как все это опротивело - людоеды, продырявленные крыши, выбитые стекла, идиотическое разрушение города - тоже, героика, романтика войны! Вонючее занятие, подлое и пакостное. Все героическое живет лишь в том, что идет вопреки войне и не естественно ей. И до скрежета зубного, до потери дыхания от ненависти - жаль людей, и противно, противно, душно во всем этом... Неужели, действительно, этому смраду будет конец?

Иногда кажется - так это и будет тянуться без конца и края.

Сегодня кончила обзорение - ничего, кажется, если хорошо поставят, это способно будет вызвать улыбку. Жалко все это, конечно. Надо писать настоящие вещи, надо писать «Ленинградцев». Надо упорядочить быт - я мало, вернее, «беспорядочно» сплю, уже осунулась и похудела. <...>

Нет, не надо темнить любовь тоской моей, всей этой существующей (пока? навсегда?) жизнью, мучающей его. Буду справляться с нею одна. Буду жить в ней одна. Не буду искусственно ни отгонять, ни питать ее.

...Для всех живых - твоя жена, А для себя - вдова.

Я сказала Юре: «Я хочу, чтоб была одна жизнь». Да, хочу. Наверное, так и будет. М. б., эта одна жизнь начнется с ребенка. Я ничего не делала, чтоб его не было, хотя понимаю все безумие этой затеи сейчас, пока еще приказ тов. Сталина о закрытии Германии - не выполнен. Но я хочу жить всей жизнью, уместить в этот отрезок все - и для него, и для себя. Пусть будет ребенок. Господи! Я так очерствела, что мне трудно представить - неужели это я буду кормить и пеленать ребенка и буду любить его? Разве я способна еще на это? Иногда какой-то сторонний интерес испытываю я к себе: «А ну-ка, как выйдет это? А что? Что? Можешь? Интересно!» Нет, я не выдумываю все это. Юра мой и не знает, какого очоченевшего человека принял он себе в сердце! Я коченею давно. Колина смерть - последняя точка, последняя утрата в цепи страшных утрат - и личных, и общественных, которые начались еще в 33-м году.

Шагреновая кожа почти на исходе. Юра - мое последнее желанье - на исходе ее.

Или я преувеличиваю свою омертвелость?

К черту! Надо работать, надо больше общаться с простыми и живыми людьми, – нет, силы еще есть, и надо отдать их на конкретное дело – помочь карабкаться людям, которые хотят жить... И не думать пока о том, что ждет душу после выполнения приказа т. Ст... Большая жизнь или микрожизни? Цепь микрожизней...

Писала весь вечер, а Юрка спал. Сейчас разбужу его, сооружу что-нибудь на ужин, м. б., ночью буду с ним, – нет, нет, я еще не утолена им – нисколько, мне надо и надо его... Это большая жизнь?

ДА. Да, да!..

26/V-42

Дни идут быстро и бесплодно, хотя позавчера, наконец, передавали мое сатирическое обозрение – получилось действительно смешно. Если в Ленинграде, слушая его, улыбнулось несколько человек – значит, мой труд не прошел даром.

Обязательно сегодня ночью закончу «Ленинград – фронт», кажется, уже есть то внутреннее состояние горького настаоя, и одиночества, и строгости, и отхода от личного, при котором можно написать это.

Нас не ориентируют, как обычно, – попробую написать с точки зрения самоориентирующегося человека, с точки зрения человека, лишённого ориентации и смутно предчувствующего поворота жизни.

Несмотря на ежедневные обстрелы, в Ленинграде все же какое-то затишье. Бомбежек нет и последнее время нет даже тревог. Видимо, он бросил все на Юг. Он взял у нас Керченский полуостров. Тяжелое чувство прошлогодних бегств и позора возникает вновь. Господи, что-то будет, что-то будет еще. Впрочем, понятно что: миллионы новых смертей, новых вдов и сирот. Я знаю теперь, что это такое. И несмотря на то, что, когда особенно начинает крушить тревога, я думаю: «А мне-то что? Все мои горести, весь страх позади – я уже потеряла все, и мне нечего больше терять. Жизнь – это уже не утрата». И все же, несмотря на это, сердце сжимается от жалости и боли к СЕСТРАМ, к женщинам, таким же, как я. Уж пусть лучше я одна! Уж пусть лучше только мне досталось бы это свирепое зияние внутри, но не другим. О, если б можно было ценой своего горя купить покой и отраду другим. Так ведь и этого нет. Бесплодно и бессмысленно.

У меня странно как-то: масса планов и проектов, и жажда – работать, а работаю – ужасно мало, неинтенсивно, и как подходит время – реализовать свои же планы, – так и охоты нет, никак не собраться, не «размозолиться».

Мне нужно гораздо больше одиночества – Юрка почти все время рядом, и я отвлекаюсь на него, разбивается собранность, чувствую себя все время под наблюдением, озабочена из-за этого внешностью, т. к. хочу нравиться ему, и из-за этого работаю медленно. Сегодня он очень занят, – я одна в нашем блиндаже, и можно было бы наработаться всласть, используя это щемящее чувство отрешенности от личного, одиночества и ощущения движения жизни. А я долго маникюрю ногти, мыла голову, потом опять вынула из шкатулки письма Ирины к Юрке, внимательно перечитывала их, неприязненно отчуждаясь от него, потом слезила к нему в карман пальто и обнаружила ответ Ирины на его апрельскую телеграмму. Он писал ей в апреле: «Обеспокоен удивлен четырехмесячным молчанием, сообщи, означает ли молчание прошлогоднюю историю». (В прошлом году она ему изменила.) Он писал ей это в то время, когда я была в Москве, и он писал мне такие нежные, влюбленные письма, полные несомненной искренности. Он тревожился за любовь с нею!..

По приезде я обнаружила черновик телеграммы и, так сказать, потребовала объяснений. Он уверял меня, что не послал этой телеграммы. Оказывается (как я и думала), не только послал, но и получил ответ: «Упреки несвоевременны, обидны,

послала массу писем на Пушкарскую». Ответ пришел уже тогда, когда я была здесь. Он мне солгал самым трусливым образом...

Это как будто мелочь, но ничего подобного за все 11-12 лет не было у Николая. Если б случилось так с ним – это было бы для меня почти катастрофой. Я молилась на его любовь. Но сейчас этот эпизодишко только способствует состоянию внутреннего одиночества – и причиняет боль тупую, почти внешнюю. Я ничего, разумеется, не скажу ему. Постараюсь не сказать. Надо обязательно постараться не сказать – это унизит его, ему станет стыдно, тревожно и пусто. И я теперь так много понимаю! Так много допускаю! В людях, по крайней мере. Я допускаю, что могла быть эта тревога у него, могла быть в порядке простого интереса, могла быть и глубже. Я знаю, как властна может быть инерция отношений. Я знаю, что сплошь и рядом эту инерцию люди принимают за самое любовь, за жизнь. А многие держатся за нее больше, чем за жизнь. Он не был еще уверен во мне, а там – все как будто проверено, там была целая жизнь, одному остаться – страшно, приятно, чтобы тебя любили, – о, сознание защищенного тыла – «хоть кто-нибудь любит», – это серьезная вещь.

Когда я приехала и стала жить с ним, и позволила сказать людям, что я – его жена, возможно, что ему самому посылка этой телеграммы показалась ненужной. «Все уладилось». Я рядом. Возможно, что он заново, м. б., даже всерьез, всей душой полюбил меня с 20/IV. Ему хотелось, м. б., считать эту телеграмму небывшей, не касающейся до меня и нашей новой жизни. И он сказал, будто не послал ее, – соврал. Он не предполагал же, что я буду проверять это. Он не знает, как необходимо мне, чтоб он был действительно только моим, безраздельно, всем сердцем, всеми помыслами. Его прошлая жизнь мучит меня темной, неприязненной ревностью. Я хотела бы вытравить из памяти его все, что было до меня, хоть и знаю, что это невозможно. И я тайно от него проверяю, выслеживаю – что осталось в нем от нее? И вот обнаружила – что осталось, что живо! Нет! Как бы ни понимала и ни допускала я всего, а нехорошо это – слать ревнивые телеграммы, свидетельства любви – другой, когда я люблю его и когда он знает это.

Он может возразить: «А ты? А осень? А теперешняя тоска?» Мне нечего ответить. Я понимаю. Но НЕ ПРИНИМАЮ этого. Дело не в том, что он любил меня, как Николай, – так никто никогда не сумеет. Но хотя бы в том же ключе...

А, зря все это. Можно ли жить с людьми по нормам Кольки? Он несколько раз был в комнате, он чувствует, что я ушла в раковину, а мне невозможно сделать нейтральный и ласковый вид...

Ну, ничего. Вздремну сейчас, м. б., разойдусь. Но – молчать, молчать, боже упаси причинить ему стыд и боль... М. б., – обойдется. М. б., забудет ее.

27/V-42

Ну, что ж – разошлось... Сегодня уже только саднит, но не больше.

(Стрельба. Кажется, работают наши береговые, а м. б., немец кладет снаряды не по нашему району. Если береговые, вернее, корабли, то сейчас он станет отвечать. О, морока проклятая!)

Я ничего не сказала Юрке, хотя не удержалась от намека. Нет, он, конечно, любит меня. Надо было видеть вчера и сегодня утром потухшие его, печальные глаза. У меня сердце поворачивалось, но злость была сильнее, не могла себя одолеть и приласкать его. А сегодня с половины дня как-то само отошло.

Была в Московском районе сегодня. Очень польстило, что они не сняли меня с учета, хотят, чтоб я осталась там, в районе, работала над историей района за год войны, на «Электросиле» и т. д. Завод перебрался обратно, восстанавливают цеха, кое-какие цеха начинают работать. Забавно, что еще до «Элсилы», от ветки –

начинается фронт, стоит первая застава. Что ж, я очень рада.

Ездить туда, конечно, мало приятного – каждодневный обстрел (вот и сегодня тоже, пока была в райкоме), часто шрапнельный, но я теперь почти не испытываю этого омерзительного, не зависящего от ума, животного страха, какой иногда нападал раньше. И это во сто раз лучше, чем в Союзе, – это ж курам на смех, тамошняя партийная организация из трех человек! А здесь я смогу принести реальную пользу людям – меня там знают и уважают.

Господи, да ведь я, кажется, в самом деле стала популярным человеком – персонально приглашают на выступления, вот завтра – сразу два, потом 1 числа на антифашистский женский митинг в Куйбышевском райкоме.

Но пора и честь знать. Сейчас в Ленинграде неудобно выступать даже с «Февральским дневником» – уже не та обстановка. Еще умирают в домах, где с зимы держится холод и тьма (окна-то забиты), но общий тонус выше, и жажда жизни говорит все громче, нет того чувства всеобщей обреченности, как в феврале.

Писать, писать.

29/V-42

О, какая весна.

Теплый, теплый, благодатный день и воздух, где-то играет радио (рояль), пахнет листьями, нежная зелень одевает деревья, из окна моего среди розовых, продырявленных крыш видны зеленые клубы деревьев, – а Коли нет.

Не слышно ни стрельбы, ни зениток. Мгновение мира.

А Коли нет.

Я умру в первый день окончания войны, в первый день мира, потому что его не будет и в этот день, и это будет означать, что он уже никогда не придет.

Мне страшно думать об этом дне.

Мне кажется, что я умру, хотя я знаю, что не покончу с собой, – снова, как сразу после Колиной смерти, не хватит сил.

Что мне делать? Коля всюду, каждую минуту, неотступно со мною. Даже в сладчайшие и страшные минуты с Юрой я каждый раз непроизвольно едва-едва не восклицаю – «Коля, Коля», потому что и само наслаждение связано с ним.

Я не хочу забвения. Но так долго не проживешь. Что-то лопнет внутри, как чрезмерно натянутая струна.

Тем более что я действительно люблю Юру. Я люблю его все больше, все серьезней. Сейчас мне было бы очень трудно без его любви. Она – настоящая, радостная, трепетная. Меня иногда дрожь охватывает – господи, кому он ее доверяет, полупаралитику, человеку, не сумевшему сберечь самое драгоценное, что у него было.

Я, я отпустила Колю!

За то, что я руки твои не сумел удержать, За то, что я предал соленые нежные губы, Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать. Как я ненавижу плакучие древние срубы!

О, как болит сердце, пронзительно, нестерпимо.

Весна, и смертная тоска о Коле, и трепетная любовь к Юрке, и сознание вины

перед ними обоими – и одиночество, одиночество...

Попробую писать стихи.

Сегодня обязательно надо написать «Ленинград – фронт». Это как раз то, что сейчас людям нужно, тем более что говорят – немцы готовятся к новому натиску на город.

31/V-42

Вчера было совещание писателей армии, города и флота.

Объективно – грандиозно. В блокированном городе художники собираются, как бойцы, обсудить свой опыт, наметить дальнейшие пути борьбы славнейшим людским оружием – словом.

Солнце останавливали словом, Словом разрушали города.

А субъективно – плохо прошло. Неделовито, неподъемно. Эти тупые «руководители» – Маханов, Фомиченко, – чем они могут зажечь? Да и личный писательский состав – в основном – сер и лениво-мыслящ.

Я тоже выступала плохо, почти без подъема, потому что в середине совещания совершенно очевидна сделалась его никчемность. Я вообще не люблю этого организованного лицемерия, хотя на этот раз его было значительно меньше, чем в <неразб.> время.

Меня много хвалили – хвалил Тихонов в докладе, дважды Фадеев в своем выступлении, Вера Кетлинская в докладе, Юрка, выступая.

Мне же неудобно до крайности: сколько времени вожусь с «Ленинград – фронт» – и одна трепотня, а работа ни с места, а другое, насущнейшее – ждет. Трепло я, и всё. И стихи пишу какие-то «вумные», холодные, взяла тон непомерно высокий, – проще, проще, проще надо, ближе к сердцу каждого.

Нет, сегодня хоть спать не буду, а выступление закончу, а то и так уже перестаивает. Сейчас поем – и за дело.

Слишком много сил уходит на личную жизнь. Появились систематические головные боли – это от непрерывного недосыпания, – грызем с Юркой друг друга еженощно.

Он любит меня – это факт. Я уже вхожу в его любовь, как в свою комнату.

И все же я сказала ему все с телеграммой. Он долго рассказывал мне обо всей истории с Ириной, – как это все дико, – и его «разочарование» в женщинах, и его, как он говорит, «суки-сынский» период в обращении с ними. Видимо, он в значительной мере все это только облакает в такие теоретические декорации. Чем-то ото всего этого веет чрезмерно извечным, очень далекая проблематика, типа начала века. Гм... оказывается, и в наше время это имеет место.

Сегодня облачное небо, видимо, будет ВТ. Целый день отдаленная воркотня орудий, около четырех – очередной обстрел, били по нашему району.

Третьего дня в час ночи была дикая зенитная пальба, налет, на Выборгской бомбы, – оказывается, со стороны Карельского было наступление.

Упорно говорят, что немцы готовятся к страшнейшему натиску на город.

3/VI-42

Третьего дня у меня была Галка. Милый мой, верный, прекрасный друг. Как я рада ей была, говорили до 10 часов утра, поплакали, пели. Рассказывала ей о Колиной смерти, почти спокойно, т. к. когда говорю об этом – все кажется, что что-то выдумываю, что это – неправда, недоразумение.

А Юра прочел мой дневник, говорит, что будто бы только от 1/VI, и было объяснение. А-ах, господи, как это все мучительно. Я понимаю, что ему тяжело оттого, что я тоскую о Коле, я бы, наверное, просто не смогла жить с ним, если б у него было так, как у меня, но что же я могу поделать?!

Его борьба с Колиной памятью томит и мучит меня еще потому, что книгу стихов, самую лучшую, самую мою, которая должна быть, – я обязательно хочу посвятить Колиной памяти. Я буду еще писать о нем, если б удалось мне выразить это в слове – какой он был добрый, прекрасный НАШ человек... Что ж, Юрка будет страдать из-за этого, – ведь не хочу я причинять ему боли и не могу не помнить Колю всем сердцем.

Но вчера был удивительный вечер: Юрка купил по дороге большой пучок березовых веток. Мы принесли их, поставили в комнате, а окно было открыто настежь, видно было тихое, могучее небо, прохладный ветер веял в окно, в городе было очень тихо – и так пахло березой, так пахло, что вся жизнь, самые счастливые дни ее ожили во мне и – в чувстве – шли через душу счастливо, страстно, ликующе. Вечера, сырые и пахучие, в Глушино, в детстве; наш самый первый вечер с Колей на Островах, где он первый раз поцеловал меня – молодой, красивый, – а я была в вышитой русской рубашке, – там тоже пахло березой, так же, как вчера. И я жила той неясной, томительной отроческой тоской глушинских вечеров, и ясной, слепящей радостью вечера на Островах, и теперешним вечером – этой минутой тишины и радости, когда около лежал красивый, любящий мой теперешний муж, и я ощущала всем существом, что это счастье – что он лежит сейчас около меня и любит меня, и я люблю его, и тихо, и пахнет, пахнет, пахнет свежей березой. Все это сливалось в одно, без боли, вернее, со счастливой болью – все это было счастье, то есть жизнь, все это было неистребимо, прекрасно и едино. Если б мне удалось выразить это, наверное, я написала бы гениальное произведение. Но это невыразимо, это, наверное, тайна, которую нельзя выразить. Так ясно было душе, что нет времени, нет горя, что жизнь – и есть счастье, что высший мой день – сегодняшний, вообще – каждый день жизни – и есть высший ее день; но все же, может быть, высший день именно был вчерашний вечер, высшая жизнь – теперь, потому что у меня уже так много накопилось счастья – опыта жизни, потому что у меня уже ЕСТЬ ЧЕМ ЖИТЬ – и детством, и сияющей любовью с Колей, и сегодняшней любовью, и предчувствием, основанным на опыте, – что счастье будет. И это ощущение слиянности, единства, независимости от времени, это ощущение счастливого напоминания – это есть зрелость, лучшая пора человеческой жизни.

Юра пошел дежурить на ночь в 6-й этаж, – сегодня я, пожалуй, напишу «Ленинград – фронт», напишу его именно на этом ощущении зрелости, зенита жизни: «Вот для чего я жила, и что бы ни было сейчас со мною и с миром, я в этом живу, живу всем сердцем, потому что это мой зенит, потому что я жила для этого давно».

И – страшно писать – глядя на Юрку вчера, вдыхая глушинский, кировско-островской запах березы, запах детства и юности, запах как бы прошлого счастья, я думала: «Да, все складывалось так, чтоб я дошла до него, и все как бы для этого и было, для этого вечера с ним, – и это моя судьба, и это, как война, как Ленинград, – моя зрелость, мой зенит. Принимаю? Да, принимаю!»

8/VI-42

Аще забуду тебе, Иерусалиме...

Сегодня - 12 лет нашей жизни, нашей любви, - нашего брака с Колей.

Я помню все так, что ничего не надо ни вспоминать, ни записывать. Наверное, скоро кончится моя жизнь. Наверное, скоро кончится. Где-нибудь за углом уже подстерегает меня конец. Потому что невозможно человеку долго жить на такой острой высоте, ходить по таким остриям, как я сейчас живу и хожу. Последние дни меня ранит и терзает какое-то дикое, безумное счастье, ощущение счастья, жизни предельное. И я чувствую - это уже всё. Это уже предел, дальше которого ничего нет, ничего не может быть. Или смерть, или с ума сойду. Потому что (кошунство, может быть) - память о Коле вдруг стала сияюще-счастливой. Как будто бы не видела его с ввалившимися вороночкой щеками, в моче, со сведенными руками <неразб.> этот образ без боли и исчезнет, - да нет, не было, не было такого! А был и есть тот - золотоглазый университетский Коля Молчанов. И он со мной. Я радуюсь ему и знаю, что он рад, что я счастлива с Юрой, что я люблю Юру. «Хорошо?» - спрашиваю я Николая и вижу, как, смеясь, уже почти не грустя, он говорит мне: «Хорошо, псо, хорошо». О, душа моя, совесть моя, верный мой и преданный друг! Как я чувствую тебя, светлого и прекрасного, в себе, как счастливо мне знать, что ты любишь меня, раз благословляешь на жизнь и счастье.

Все хорошо. Все почему-то эти дни легко. Все жизнь.

Сегодня получила письмо от Сережи. Удивило оно меня, обрадовало и озарило - и настоящей человеческой радостью, и помельче - женской, тщеславной.

Мальчик явно вырос и возмужал духовно - безмерно. Это видно хотя бы по стихам. По самому письму - суровому, сдержанному его тону. Он не забыл меня! Он удивительные слова пишет обо мне вначале, он вдруг заканчивает письмо - «Я люблю тебя, Оля. Люблю». Он женился, у него родилась дочь, он назвал ее Ольгой - моим именем. Я искренне говорила Юрке, который прочел письмо и немножко побушевал, что расцениваю это «люблю» как чисто человеческое, но Юрка уверяет, что - нет, мол, вовсе не человеческое, а специфическое. Гм... странно! Он никогда не писал мне этого в письмах и даже не говорил этого с такой прямоотой и силой, как в этом письме. Неужели и впрямь вспоминал, понял и полюбил? И хотя мне это не нужно - это веселит и лукаво радуется меня. Любви с ним не может быть. Я слишком зреее его сердцем.

- Что нам с тобой до их мечтаний, До их неопытной любви, -

так говорили мы с Колей, чувствуя, какое зрелое, несравнимое ни с чем, двойное, обоюдное чувство у нас с ним, любовь, включающая в себе всю жизнь... И вот опять-таки кошунственно, быть может, но я чувствую, что такой же, подобной же зрелости и глубины наступает любовь с Юрой, любовь, обнимающая жизнь. И в этом нет оскорбления Коле.

А я люблю Юру уже жизнью своей, все свободнее, все преданней. Я принадлежу ему с восторгом, и даже сегодня, в наш с Колей день, ласкала его и говорила ему о любви из сердца, и это сливалось со светлым ощущением Колиной жизни.

17/VI-42

За 14/VI в «Кр. Звезде» - прекраснейший фельетон Эренбурга о Париже. Дело не в том, что этот фельетон стоит всего его романа о Париже. Здесь ни при чем литературные оценки - это выше их. О, дикое, страшное, позорное и прекрасное наше время! Неужели ты не принесешь людям хотя бы долгого отдохновения, если не прозрения? И как я рада, что дни июня 1940 года, когда немецкие танки на нашем бензине шли на Париж, - я всей душой протестовала против этого, ощущая гибель Парижа как гибель какой-то большой части своей души, как наш позор - нашу моральную гибель. Я тогда писала -

- Я знаю, как ты погибал, Париж, По бессилию своему.....Я знаю, как ты

восстанешь, Париж, По ненависти моей!..

Сюда надо было бы вписать многое: о детском доме и о детях, где я была. О вчерашнем разговоре с Юркой, опять до утра – родной мой Юрка, как он меня мучит, он сам не знает того!.. Но я буду писать стихи, хорошо бы выступить с ними 20/VI. Немцы стягивают силы и готовят наступление на город с трех концов. Быть может, скоро тут начнется сущий ад. Быть может, мне и Юрке жить осталось недолго. Так жить же и жить и успеть что-то сказать людям...

24/VI-42

Опять постылый свист снарядов, И город, падающий ниц. Не надо, Господи, не надо, – Мне все страшнее эти дни...

На Харьковском наши отступили, Севастополь, видимо, на днях падет. Недавно безумно обстреляли наш район, снаряды врезались в пельменную, где мы с Колей всегда брали пельмени, в набережную перед самым райкомом, – я пришла туда через час после обстрела – аж ноги отнялись: если б там, в этих комнатах, сидели люди – их разорвало бы стеклом! И вот сейчас опять грохот – это по городу, не очень далеко от нас, – и с каждым этим ударом – убивают Колю. ЕГО УБИВАЮТ И УБИВАЮТ – каждого убитого я воспринимаю сейчас как его, каждую смерть – как его смерть. Мне трудно объяснить это. <...>

2/VII-42

«Тихо падают осколки...» Весь день сегодня то и дело зенитная пальба – по разведчикам, и время от времени слышен гул немца. Неужели они возьмут Севастополь? Подумать об этом больно, – пожалуй, верно сказал Яшка, что людям, защищавшим его, останется только одно – умереть. Немцы продвигаются на Харьковском, видимо, и на Курском направлении, когда же, когда же их погонят?! И всё падают, и всё умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессилевшего или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту.

А дети – дети в булочных... О, эта пара – мать и девочка лет 3-х, с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими, без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением глядящие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте – пальчики пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком... Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так – часами... Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам – безжалостнее которого не может быть.

Все – ложь, – есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами.

Все – ложь, – есть только эта девочка, есть Коля со сведенными руками и померкшим Разумом – его светозарным разумом, – все остальное ложь или обман, и в лучшем случае – самообман.

Вспоминая эту девочку и Колю непрерывно, я чувствую всю ложность своего «успеха». Я почему-то не могу радоваться ему, – вернее, радуюсь, и вдруг обожжет стыдом, тайным, бездонным, холодным. И я сбиваюсь, мне отвратительно становится все, что я пишу, и вновь, вновь и вновь осознаю – холодно и отчаянно,

что жить нельзя.

Сложное какое-то внутреннее существование: то вот это, о чем написала только что, то сознание, что – нет, все-таки говорю что-то нужное человеческим сердцам.

Меня слушают – это факт, – меня слушают в эти безумные, лживые, смрадные дни, в городе-страдальце. Нет смысла перечислять здесь всех фактов взволнованного и благодарного резонанса на «Февральский дневник» – отзыв Коткиной, электросиловцев, еще каких-то незнакомых людей, группы студентов ин-та Покровского, от которых приходил делегат за рукописью «Дневника», – и т. д. и т. д., – многое я уже просто забыла.

В ответ на это хочется дать им что-то совсем из сердца, кусок его, и вдруг страх – не дать!

Очень трудно, рассудочно идет «Эстафета», видимо, потому, что слишком ясна идея и одолевает трясучка...

Но завтра с самого утра сяду за нее... На той неделе – поэма, «Дети Ленинграда».

Но это как-то не особенно актуально. Актуально – это об ожесточенных боях, о том, что – е. т. м. – они все же двигаются!

«Ты проиграл войну, палач, – едва вступил на нашу землю!»

Об этом сейчас надо!

В Ц. О. от 30/VI – напечатали «Ленинграду». Правда, сняли одну ценную строфу, – но в целом – это акт, достойный удивления: пропущено и «наше сумрачное братство», и «наш путь угрюм и ноша нелегка». Это – первое мое выступление в Ц. О., и оно не стыдное – честное, и стихи неплохие, хотя и не отличные. В них есть, по крайней мере, боль и чувство. Юраш очень доволен этим, больше, чем я. Записали также на пленку – для Москвы, хорошо было бы, если б оттуда дали на эфир – это сокращенно «Ленинград – фронт», и это будет интересно людям. В «Смене» – без ред. извращений напечатали «Дорогу на фронт», и это тоже приятно и удивительно: стихи суровые, прямые.

Ах, скорее надо закончить «Эстафету». М. б., ее сделать с вступлением – проза или стихи – об июле – августе прошлого года – ведь скоро год – господи, год, как мы в блокаде!

Видимо, скоро немцы кинутся на нас вновь...

Неохота записывать о том, что Юрка несколько пыжится на меня. <...>

3/VII-42

Вчера немецкое радио сообщало, что 1/VII в 12 ч. дня немецкие войска взяли Севастополь. По нашим сводкам – «рукопашные бои на окраинах города» – ну, наверное, взят. Нет слов, чтоб выразить мучительную печаль о Севастополе и людях его.

Очень угнетенное состояние, прорезаемое бешеным, холодным ожесточением.

Почему, черт возьми, он все еще сильнее нас?!

Значит, из таких городов остались одни мы, один Ленинград. Оборона Киева, Одессы, Севастополя кончилась трагически. А м. б., немцы все-таки врут насчет него? М. б., совершится чудо – и город отстоят? Неужели – так-таки нечем и не с чем?! Ясно, что теперь немцы кинутся на Ленинград. О, какой ад они тут устроят! Навряд ли мы выживем. Только я не хочу теперь переживать еще и Юрку – нет, нет, – если суждено, то пусть сперва меня, не надо мне еще и такой

смерти, что это за судьба: все время быть свидетелем гибели самых дорогих людей – и все же жить.

Гнет на душе, томительное ожидание губительной беды.

Хорошо, если б это настроение сменилось вызывающей дерзостью, как было днями в прошлом году. Но навряд ли... И вот забавно – уже три дня задержки, – неужели беременна? Но пока не убежусь окончательно – ничего не скажу Юре, не хочу его зря волновать надеждой. Это хорошо было бы, пусть хоть и под гибель, – все-таки все бы в жизни было исполнено.

Надо написать письма родным – м. б., скоро будет уже не до писем, м. б., это будут мои последние письма. Надо бы хоть короткую записочку все же послать Сереже.

6/VII-42

Три дня назад, позавчера, – мы сообщили об оставлении Севастополя...

Мне хочется сказать им, севастопольцам, простейшие и торжественнейшие слова, но таких нет.

Вечная память павшим, Вечная слава – живым.

В городе по этому поводу некое смятение умов, количество желающих уехать резко подскочило: «очередь за нами»...

Да! Что-то будет? Ну, что бы ни было – все равно уж.

9/VII-42

Третьего дня мы с Юркой переехали с нашего 7 этажа, из «блиндажа» с небом – в пятый этаж, в отдельную квартирнку из 2-х комнат. Это, как и сотни квартир в Л-де, – вымершая квартира. Ее хозяин, какой-то киноактер, убит на фронте, брат его умер зимой. В моей комнате, – она же наша спальня, – рояль, книжный шкаф с книгами, которые человек подбирал, видимо, специально, в этом же шкафу ящики с фото – в изобилии снимки какой-то славной, мирно улыбающейся, спокойно глядящей женщины, и шкаф, который был набит разным домашним барахлом: старые шляпы, наполненные медицинскими банками, лоскуточки, посуда (масса блюдец и две подходящие к ним чашки, ситечко неизвестного назначения, ржавая мясорубка и т. д.).

Я разбирала и осваивала все это, расставляла мебелишку, раскладывала наше белье со смутным, многослойным чувством недоумения, иронии и печали. Мой быт накладывался на чей-то чужой, потухший, умерший быт. Меня не покидало ощущение, что это – чужая квартира, что хозяева еще могут вернуться, хотя я знаю, что этого не будет. Вот и я не живу на Троицкой, и я лишена своей квартиры, своей прежней жизни, и, приходя туда, замираю в удивлении и внутренне мечусь: неужели я, теперешняя я, жила там, и у меня был Коля, и была жизнь, абсолютно не похожая на эту? Все сдвинуто, перемещено, плоскости отдельных чуждых жизней пересекают друг друга, и вернуть прошлое – нельзя. Мне все еще часто кажется, что сегодняшней мой быт – это «невзаправду», «понарошку», нечто вроде игры, или какая-то вторичная жизнь – как на том свете, как после смерти. Это не сплошь, не все время. Юра – это жизнь, это взаправду. Но иногда – такая томящая неуверенность в реальности существования!

Неужели же я настоящий, И действительно смерть придет?

Ощущение печальной нереальности, недоуменности своего бытия обострилось в связи с переездом в эту вымершую квартирку. И вчера весь день и особенно

вечер, когда мы с Юрой разбирали чужие пожитки, часть выбрасывали, а часть оставляли себе, – неотступно было передо мной лицо Коли, и вспоминала, вернее, видела его только в минуты, когда я наносила ему обиды: как в одну из бомбежек, когда мы вышли на улицу, вечером, это был уже ноябрь, конец ноября, я нервничала, т. к. стреляли зенитки и падали бомбы, и я просила его – довольно зло – прибавить шагу, а он шел не быстро, и рассердился на меня, и на углу Невского и Фонтанки сказал, что зайдет в аптеку – переждать тут, а я помчалась в р[адио] к[омитет]. Мне хотелось добежать до подвала быстрее, т. к. было страшно, я прибежала туда, и сразу стало стыдно, что бросила Кольку на улице. Но через минут 10–15 Юрка сказал мне: «Пришел Коля», – я так обрадовалась, вышла к нему в вестибюль и, кажется, усадила его потом – но не в «нашей» с Юркой комнате, а в общей. Коля сказал: «Я знал, что ты нервничать будешь, что я остался на улице». Боже! Он все время в те дни думал не о своей опасности, а о том, чтоб я не нервничала и не боялась за него. Ох, ну не надо...

И только совесть с каждым днем сильнее беснуется: великой хочет дани...

В «Комсомольской правде» от 5/VII напечатан «Февральский дневник» – полностью, без единой поправки и купюры. Ну что ж, хоть и задним числом обнародовано, – но все-таки это здорово... А стихи, надо прямо сказать, отличные. Читала их в газете сама с волнением и со слезами. Такие можно было, наверное, написать один раз, и уж, наверное, лучше ничего не напишу. Я сама поражена сейчас – как я написала их – тогда? Откуда все это пришло – эта суровая, прямая мысль, точная формулировка, внутренняя, рыдающая, жгучая страсть при внешней – почти холодности. Ведь я была просто психом тогда на почве голода, а Колина смерть, вырвавшая из меня душу с корнем? Непонятно. Перечла сейчас свой январский дневник – господи, это сплошной голодный бред, и только. Я сейчас в ужасе – как я не ходила к Коле ежедневно, как я могла одна сожрать печенью, присланное Мусей, как я могла ЧАСАМИ писать о еде? И из этих страниц видно, что я была ненормальным человеком. И ведь я тогда еще рассказы о партизанах писала! Но – вспоминая, что же я могла делать? Я ведь что-то запасала – на предмет, когда Коля выйдет, что-то делала, а сидеть рядом с ним, безумным, ничего не понимающим, – и ему даже белья нельзя было сменить – не было! И что мы знали о дистрофии тогда!

Ах, эти все записи бесплодны, и я – бесплодное и жалкое существо: не сберегла Колю, не умела его любить, а сейчас мучу тоской своей Юру – он все видит и понимает, и я не могу и не хочу скрывать ничего...

«Эстафета» идет очень плохо и явно перенашивается. Надо писать по ночам. Трясучка днем одолевает – и то одно, то другое. То Юрка зайдет, то звонки – я в моде, мне предлагают всякие заказы и т. п., в общем, висят над душой. И Юра торопит с поэмой, спрашивает о ней – трясучка еще злее.

Главное – такой период, что хотя на время работы надо быть одной, совсем одной – и внутренне тоже. Это всего достижимее ночью, когда ничего не висит.

12/VII-42

Понурое, расслабленное состояние. Видимо, сказывается почти бессонная ночь – до утра работала над поэмой, потом долго не могла уснуть, а ночью снились мучительные, томящие сны: война, бомбежки, я убила какую-то страшную старуху (я иногда убиваю во сне ужасных старух), и Ирочку видела – будто она ослепла, но так хорошо видела ее личико, живое, а не оборотня.

Колю во сне никак не вижу.

Это тяжелое, унылое какое-то, бескрылое состояние тянется довольно давно, и я не могу найти конкретной ему причины. Тут и равноноющая тоска о Николае, и тоскливое ожидание штурма города – бессмыслицы всей этой кровавой, и тупое

терзание из-за общих наших дел – т. е. от сознания, что гибнут и гибнут люди, такие же, как Николай, и все растет и растет ком страданий.

О, что мне до них, что мне до всей этой большой жизни, большой земли, – с досадой думаю я иногда, – довольно, довольно! У меня есть Юра с милыми его пушистыми глазами, человек, любящий меня, красивый и желанный мне. У меня есть какой-то отрезочек времени – «до штурма», до всей этой идиотской катавасии, когда уж нельзя будет вздохнуть, – ну, и живи, радуйся весь этот отрезочек.

И все же томит, темнит жизнь, отымает легкость в душе – пусть и горькую...

Наверное, на днях немцы возьмут Воронеж. Они – в области Дона, форсировали его. От Купянска до Россоши они махнули в неск. дней, – видимо, наши бежали, произошла какая-то катастрофа, говорят о гибели наших двух армий. И это после того, как был приказ № 130! Нет, наверное, хватил тут Иосиф зря. Но люди правы, нужно выстоять до открытия второго фронта. Просто выстоять, чтоб не погибло государство. Немцы должны же изнемочь, захлебнуться в крови. И тогда, когда ударят по ним с запада, – мы начнем фронтальное наступление здесь. Логически – все верно. Но что будет к тому времени с нами – с Л-дом, со мной, с Юркой, с будущей нашей жизнью? Это никому не интересно.

Пример Севастополя сильно повлиял на психику ленинградцев. Из Л-да бегут. Вообще, настроения подавленно-панические – даже «военная группа» писателей собирается дать тягу под разными предлогами. Все ждут штурма и боятся его.

Я тоже боюсь... А может, нет. В общем, если расчет не на жизнь, а на «дожитие» – то все равно, даже хочется крикнуть, как хотелось тогда, когда немец кружил и выл над домом, кружил и выл: «Да ну бросай скорей, сволочь, бросай бомбу, убивай»... И боюсь – и ни под каким видом не уеду.

Нет. Ни к черту все эти мои рацеи не годятся. Живешь, так живи, как человек... Это расчет на «дожитие», на «скорей бы кокнуло» – предательство по отношению к Юре и – и к Колиной памяти тоже. От боли за наши поражения – не отделаешься. Но надо жить «стиснув зубы, с железной решимостью». Надо радоваться тому, что есть. Надо говорить что-то людям, – ну, если мы все так опустимся, – а мы уже так устали, – что будет?

Что будет – то и будет. Времени нет. Есть вся жизнь в сегодняшнем дне. Жить им и говорить об этом.

Поэма может быть хорошей, а если подниму финал – перед колыбельной, то и отличной, не хуже «Февральского дневника», хотя другого типа.

Видимо, все же беременна – уже 13-й день задержки и что-то вроде легкой тошноты. Ну, и все это – «перед штурмом», перед разлукой с Землей? Зачем же привязываться к ней – любовью, ребенком, работой? Не лучше ли обрубить все связи с нею? Но это означает – сдать раньше, чем тебя возьмут.

Нет. Не сдаюсь. Я просто не выспалась – плохо сплю последние дни вообще, – еще не приспособилась спать вдвоем с Юрой...

18/VII-42

Сегодняшняя сводка немного получше: «Бои в р-не Воронежа и южнее Миллерова, на остальных – без изменений». Неужели они – захлебываются уже? О, если бы! Эти сводки – как пульс держишь у больного, любимейшего человека, – как у Ирочки держала, как у Коли – во время статуса...

О, вытани, выдержи, выстой, земля моя, мое войско, потому что я хочу жить, потому что ты сможешь жить, даже пролив столько крови.

В Ленинграде тоже очень тихо, даже дня два, как обстрелов нет. Наша судьба, конечно, решается на Юге. У нас еще есть время – до штурма, м. б., недели две, может быть, целый месяц. М. б., если их там поколотят, – штурма не будет. Но пропаганде даны новые – тревожные – установки: не пропагандировать победы в 42-м году – это, мол, фатализм. Не пропагандировать непобедимости антигитлеровской коалиции, – это значит – не надейся на союзников; пропагандировать, что Л-д получил лишь временную передышку и что штурм обязательно будет, – надо готовить к нему людей, отрешиться от благодушия и вообще «бить в набат».

Да, невесело. Эти директивы были получены дня три назад, и настроение у людей было очень напряженное, Юрка даже начал говорить о том, что я «в случае катастрофы» должна буду уехать из Л-да и т. д. И у меня было смутное, бередящее, раздраженное состояние ожидания несчастья, катастрофы, конца, хотя, конечно, мысль о бегстве – вернее, перспектива его – еще ужаснее... К чему, ну к чему спастись, тем более – бросив тут Юрку, собственно говоря, единственное, что держит меня на поверхности, не дает с головой погрузиться во мрак? Потом это чувство сгладилось, т. к. пошли мелкие и мельчайшие бытовые дела, суетность, за которой все скрывается.

Получила от портнихи черное бархатное платье – идет, очень идет, «страх как мила», и пальто новое летнее идет – просто душка в нем, – ну, разве может быть при этом гибель, катастрофа и т. п. Пальтишко, конечно, подправить нужно, – ну, ничего, она подправит, – рвач, расчетливая, корыстная баба, неискренняя со мной, но отличная портниха.

Написала поэму – и ведь получилось явно ничего, местами так прямо здорово; лучше, глубиннее всего, конечно, начало, и мне нигде не удалось подняться до него – так оно неповторимо по самой ситуации (это уж от меня не зависит... хотя... ведь стык-то – «не отдам» – «возьми» – я придумала!), так трагично и открывает какие-то новые людские отношения – без объяснения их. Затем – отрывок с Мусей, затем – Семен Потапов, потом озеро. Истребитель Митя Карамазов – никуда не годится, фальшив и жалок, надо переписать все, и уж не знаю – выйдет ли, тем более сейчас, когда хочу спать, – почему-то недосыпаю перманентно, и в башке – муть. Но, однако, даже с этой мутью попробую дожать.

20/VII-42

За окнами – гул артиллерийской интенсивной стрельбы. «Может быть, это начался штурм?» Мы встречаем этой фразой, шутя, теперь – каждый очередной обстрел – и сейчас Юрка так пошутил, – а м. б., и в самом деле – так. Ведь это же реальность – будущий штурм. В центре города матросы строят бойницы в домах, особенно оборудуют и укрепляют углы домов на перекрестках, – боже мой, неужели это может пригодиться? Мне кажется, что если немцы войдут в город – то ничего уже не поможет.

Страха смерти нет. (Это стрельба – на передовых, ясно. Ходоренко зачем-то срочно вызвал Юрку.)

М. б., завтра мне не удастся уже прочесть мою поэму по радио? Читала ее сегодня в ДК, на собрании женщин нашего гарнизона. Приняли – исключительно, с восторгом, хотя Юра говорит, что читала плохо и многого не доносила. Вчера читала у Марины, для работников Публички. Марины перебрались из своей комнаты с 996-ю медведями во второй этаж, в вымершую квартиру (и тоже почему-то с роялем!); у них были работники Публички, и Танька Г. была, исключавшая Колю из комсомола за то, что он не хотел отказаться от меня, когда я сидела в тюрьме (он сказал: «Это недостойно мужчины», – и положил свой комсомольский билет, который носил, как знамя, с 1924 года), и Филиппова была, приходившая ко мне как к жене бойца, когда Коля был мобилизован во время Чехословацкого конфликта, и все другие, с кем он работал, – были, а его – не было. Непонятно! Нет,

непонятно... Я читала им, пела, а жила в это время не этим, а в себе, совсем одна, жила только тем, что его нет, и что это – непонятно и изумляюще несправедливо...

23/VII-42

Оказывается, действительно был штурм, только с нашей стороны.

25/VII-42

Многого не записывала – моталась. Главное: Юрку уволили из Радиокomiteта и разбронировали по военному учету. Значит, его могут в любую минуту взять в армию, даже рядовым, значит – реальна наша разлука. А я почти наверняка уверена на этот раз, что беременна, хотя еще не проверялась.

Что же, так и не даст мне жизнь счастья – никогда?

Стоило вылезать из могилы, выходить с того света, с такой мукой продраться к нему, привязаться – чтоб разлучиться и – боже, боюсь верить сердцу – наверняка потерять его.

Его уволили потому, что по его отделу, по радио была дана поэма Шишовой. Горком запретил ее и сказал об этом Широкову, преу РК, а Широков забыл сказать об этом Юрке, и когда горком осатанел – «как так ослушались и дали», – Широков свалил все на Юрку. И его уволили. Виктор и Яшка вели себя при этом как последние бляди, особенно Виктор. Вот цена зимы, проведенной ими всеми вместе! Вот «новое» в отношениях ленинградцев... О, сволочи, сволочи. Яшка теперь что-то «выправляет», – но боюсь, что никто не поможет.

Скорей бы он пришел и рассказал все.

Главное – чтоб не разлучаться...

За эти дни я особенно как-то почувствовала, как он мне дорог, с милыми его, серыми, пушистыми, немножко близорукими глазами, почти всем, что в нем есть хорошего, как-то сближающийся с родным моим Колькой.

Я думала иногда, что настолько омертвела, настолько стала собственной тенью и живу какой-то вторичной жизнью, что новое горе – например, утрату Юры – уже не восприму... Нет. Боль, наверное, будет уже последней, объединяющей все предыдущее, замыкающей все – иначе, – смертельной.

3/VIII-42

Вчера было два ВТ, по 2 ч. 50 м. каждая, но самолетов над городом не было, – видимо, бои шли на переднем крае или бомбился наш передний край. Сегодня – с рассвета и до сих пор дичайшая наша канонада, – говорят, наступление наше, и хорошее. Опять Лигово берем? Уже три раза брали, и три раза нас оттуда выставляли – за конец июля.

А на Юге – ужасно. Немцы прорвались к Сальску, – махнули от Ростова в неск. дней. Вот и сейчас по радио говорят – «обстановка на Юге усложняется». О Господи... Я уже ни ужасаться, ни болеть – не могу: жмуришься при каждой сводке, точно сейчас тебя раздавит. Но странное дело: хотя опасность больше даже, чем в прошлом году – есть какая-то внутренняя успокоительная уверенность: «Выдержим. Не возьмет...» Недооценка угрозы – нежелание уставшей души воспринять ее? Или то, что выжил сам в такой дикой зиме, дает эту общую уверенность? Или то, что это – «далеко, не у нас»...? Но ведь понимаю же я, что сегодня «не у нас», а завтра – у нас, и как!..

- А завтра детей закуют...О, как мало осталосьЕй дела на свете...

Да, устала, - как все, устала от войны, - от дергающего нервы быта, от работы своей, - точно телеграфные ленточки со значками тяну и тяну из души, с болью и кровью, и расшифровываю их с мучительным трудом.

Вот Юрка поехал в полк за продуктами, - каждый этот его поход стоит и нервов, и известного унижения, - эх, как все это осточертело, как приходится перелезть через все это, как через колючую проволоку...

4/VIII-42

Ночью наша артиллерия буйствовала, и, ей-богу, это было даже приятно слушать.

Сегодня извещение - что взяли пункт Я, армия Свиридова, - видимо, Ям-Ижору? Говорят, что это хорошо, что оттуда можно ударить в тыл по Пушкину. <...>

После поэмы - ничего нового не написала, хотя набрала ряд заказов, и с ними надо справиться в срок, особенно для союзников, - это прозвучит у них, - о Публичке, о Седьмой симфонии.

Успех поэмы превзошел все мои ожидания. Нет смысла записывать все перипетии борьбы за нее - походы к Маханову, разговоры с Шумиловым и т. д. Главное, что с очень небольшими, неприципиальными словесными изменениями (разумеется, ненужными и ухудшающими эти строки) она была напечатана в «Лен. Правде» от 24 и 25 июля и читана мною по радио 21/VII.

И вот - огромное количество восторженных, взволнованных и несомненно искренних отзывов - от Всеволода Вишневского (который даже письмо мне прислал) - до техсекретаря С. П. И много писем - большинство с фронта и с флота, от людей неизвестных мне. Особенно дорого мне письмо одной фронтовички, Чижовой, матери, которая вместе с сыном пошла на фронт, и сын ее там погиб, «спасая жизнь друга, сражаясь за Родину». Прекрасно, что во время войны так приблизилось к человеку понятие Родины, так конкретизировалось: «спасать жизнь друга» в бою - это и значит сражаться за Родину! Она пишет - «великое спасибо от русской женщины-ленинградки», она пишет о том, как с новой силой вспыхнула в ней ненависть к врагу после прочтения поэмы... И очень дорого сегодняшнее письмо в стихах, написанное «Красноармейцем Полиной Кагановой по поручению бойцов и командиров части, где командиром капитан Кожевников и военком старший политрук Харичев».

В наивном, слабватом стихе описывается, как читали в - ской части на фронте «Ленинградскую поэму»:

- Когда читали, в это времяКазалось, что Вы рядом, здесь,И мы увидели в поэмеВсю нашу силу, нашу честь.И вот, в дыму больших пожарищ,Примите наш привет простой;Клянемся Вам, поэт-товарищ,Что скоро наш победный бой.

Я хожу сегодня целый день взволнованная, возрожденная и смущенная. О, милые мои люди! А мне - чем благодарить вас за это признание?! Только бы не обманывать, только бы не обмануть вас в дальнейшем - и найти в себе силы сказать вам о вас самих самое жгучее, самое сокровенное, самое открывающее. И я согласна ради этого вновь пухнуть и бродить в темноте, и ежиться от близких разрывов и стоклятого свиста бомб. Господи, они *мне* клянутся, что «скоро победный бой»! Я помню, когда я читала Коле письмо одной дружинницы у Будилкиной - «клянемся, тов. Будилкина, Вам и правительству, что ничего не устроимся», - он сказал - «вот это авторитет...» И вот - и мне написали так незнакомые люди. И еще письма - от моряков, - «эту поэму должен знать каждый грамотный человек в СССР», и от какого-то комиссара, - «мы взяли ее на вооружение», и рассказ Ёски Горина о том, как какой-то командир, отыскивая

список поэмы, предлагал за нее ХЛЕБ, и сегодняшний подарок от дивизионной газеты, где редактором – муж Галки, Соркин, но политрук, принесший этот хлеб, консервы и сахар, сказал, что «это от всех нас», – как все это драгоценно мне, – сказать не могу.

И еще письма о «Февральском дневнике» – от О. Хузе, от Аньки Рубин, – письма из глубокого тыла, полные волнения и восторга, и письмо к А. Крону, где пишут, что «Февр. дневник» исполняет в Сибири Алиса Коонен и артисты Александринки – с громадным успехом. И т. д. и т. д.

Что же это – слава? Да, похоже, что слава, во всяком случае – народное признание. Меня знают в Ленинграде почти всюду. Недавно выступала в большом госпитале, – а там у комсостава в списках «Дневник», давно известный им... Из московского райкома мне звонят – «т. Берггольц, мы приглашаем вас и других *знатных* женщин»... А у меня – ни ордена, ни лауреатства, ни прессы! Я ни на минуту в стихах не потрафляла начальству, не подделывалась под народ, не снижала мысли. Известность пришла ко мне не через Союз, не через печать обо мне, в труднейшее время, когда человек необычайно чуток на ложь, известность пришла суровая, заработанная только честным трудом, только сердцем – открытым, правдивым, – я ни в чем не лгала себе. Даже Маханов сказал: «Какое вы хорошее имя себе заработали», – да, это так. Самое главное в этом хорошем имени можно сформулировать так: «Она пишет правду».

О, мне сейчас будет очень трудно – мне надо очень беречь это имя и писать так, чтоб не приносить разочарований моим читателям.

Я искренне и непосредственно рада этим письмам, хотя знаю, что – «восторженных похвал пройдет минутный шум», – и все, следующее за этим. Пусть хватит сил до конца войны! А там – неважно... Признания начальства – тоже неважно. Хлеб за поэму и «клянемся Вам, поэт-товарищ» – больше и реальней любого ордена. Ночь, снова гул и шум нашей артиллерии. О, если б Коля, любимейший, чудесный мой Коля – знал и видел все это! Боже мой! Ведь если верно, что в послезянварских стихах появилась и особая мускулативность, и сжатость, и глубина стиха при скупости и даже скудости слов – то ведь главная-то причина этому – его гибель...

Это горе, такое огромное, что я не могу рассказать о нем, даже Мусе не могла ничего приоткрыть, горе, которое испытывают, м. б., одни Молчановы – его кровь, – вот это горе дало моему стиху ту «мужественность», которая так нравится всем. Его гибель... Нет! Я ничего, ничего еще не написала, – НИЧЕГО, и только одна я знаю это. Я всем обязана ему – и этой, ТАКОЙ славой тоже. Он учил меня ценить только народное признание, – и слабые знаки его – хотя бы десятки писем детей – так радостно принимал, так радовался им. «Какой тебе славы еще нужно», – говорил он, узнав, как заучивали в тюрьме мои стихи. Как он переживал мои неудачи с калеченьем книги, как настаивал на том, чтоб я не шла ни на какие компромиссы с цензурой и редакторами, – и он был непримирим, и сам никогда ни за что не шел на беспринципные уступки.

Как он учил меня *пренебрегать* внешней славой, прессой, отзывами «высокопоставленных», – даже иногда перегибая в этом, – но я всегда буду следовать ему в этом. Как радовался первым моим успехам во время войны, и поддерживал как, и говорил: «Ты всегда делаешь то, что нужно! До войны ты была, в меру сил, на защите „угнетенной личности“, и это было правильно, – сейчас – с борющейся за страну демократией, с народом, и это верно»... А строгость его, почти тираническая и придирчивая! Он не прощал ни пафоса, ни пустых слов, ни риторики, ни «учительства»... О, вдохновение мое, разум мой, свет мой безмерный... Если б дал бог – написать о тебе, рассказать о тебе людям, чтоб и для них, даже не знавших тебя, остался ты вечно живым – светом, опорой! Если б дал бог...

Не ценой ли тебя купила я эту славу, боже мой? Не потому ли, хоть и дорога она мне, но мучит меня она в то же время, как нечто, приобретенное почти

преступлением – моим? Но ведь я хотела уехать с ним, я делала для этого все, господа...

Я знаю, что так же очень многим обязана я Юрке и его любви, – но основным, решающим, главным – все же ему, Коле... Он писал мне в тюрьму: «предан тебе в этой жизни до смерти – и в вечном бытии»... И его преданность, как живую, чувствую я в себе непрестанно...

В городе тихо. Утро. Много работала над заготовкой новых стихов – м. б., что-либо выйдет. Надо написать о сегодняшнем моменте – об отступлении нашем, о том, что нужно все выдержать, – в ОДИНОЧЕСТВЕ выдержать, без второго фронта, ведь эти буржуи, они ненавидят нас, – вот о чем надо писать, я знаю... И я об этом тоже буду писать, но тема, данная Юркой, тоже интересная и может получиться...

7/VIII-42

Ай ты, боже мой, до чего не получается с работой, – просто перед Юрой неудобно. Да и вред делу. Просит меня сейчас писать для т. н. союзников – США и Англии – Информбюро. И надо было бы срочно отправить очерк о Седьмой симфонии и нашем оркестре – 14 у них в США премьера, и для «К. П.» надо написать, а у меня время идет как-то зря, в башке – муть.

8/VIII-42

Мутит до обморока – ужасно. Надеюсь, что это – беременность, а не что-нибудь иное. Я рада, если это так, – хоть за что-нибудь надо держаться в этом хаосе и нереальности, в буре всеобщего разрушения.

Немцы уже в Армавире. Они идут неудержимо. Они выходят на Волгу, к Сталинграду, до Грозного – всего 500 км, они движутся неудержимо! Они перережут наши нефтяные коммуникации, кубанская пшеница вытаптывается и сжигается (навряд ли ее успели всю убрать и вывезти) – значит, голод все реальнее, и – наши отступают и отступают.

Не отчаянье, а тупое, тягостное недоумение, тоска, почти парализующая, охватывает каждую клетку мозга, души, тела... Все, что делаешь, – кажется ненужным. Надо во что бы то ни стало написать о Седьмой симфонии – неудобно перед Юрой и перед ТАССом, но это же ни к чему, хоть и интересно.

Хочется крикнуть Западу: «Да что же вы, сволочи, медлите? Вам же хуже будет, если нас погубят!» Хочется крикнуть Югу: «Стойте же – все равно погибнете, даже если будете бежать! Стойте, у нас нет выбора, – смерть идет на нас, стойте, – быть может, тогда спасемся!»

Стихи «Именем Ленинграда» могут получиться, да отвлекает эта Седьмая. Попробую сейчас отстучать ее, чтоб освободиться и писать стихи. Но не стихами решается там наша судьба, я же знаю! Даже невероятный успех «Ленинградской поэмы», которая стала событием в жизни множества ленинградцев, чему получаю все новые и новые свидетельства, – не обманывает меня.

11/VIII-42

О, бедный Homo sapiens, Существованье – бред...

Немцы уже в районе Краснодара, Майкопа, Армавира. Черт знает что! Немыслимо вдумываться даже в размеры этого поражения, грозящего катастрофой. Э-эх, дела!

Вчера с Яшкой были у Маханова по поводу Юры, – не безуспешно, – по крайней

мере, в приказе не будет никаких компрометирующих его политических формулировок и «руководство» поставлено в известность обо всей этой грязной истории. Юра, видимо, останется здесь редактором – это хорошо в смысле того, что мы сможем жить здесь, в Радио, где есть свет, а след., может быть, относительно тепло. Видимо, если немцы не кинутся на Л-д и не возьмут его, – придется и вторую зиму зимовать в кольце. Надеюсь, что прошлогоднего кошмара не повторится, принимаются меры – люди переселяются в первые этажи, покучнее, готовится топливо, говорят, что есть продуктовые запасы, хотя вот за июль академического пайка так и не дали, сволочи, но все же надо готовиться к худшему – к трудной, нудной зиме...

Ох, как мы увязли! Вчера шли с Яшкой из горкома и говорили о том, какая уже усталость гнездится в душе, сознание бесперспективности какой-то, долгих-долгих дней лишений, нужды, напряжения страшнейшего...

Нервное, раздраженное, угрюмое состояние, невыносимо трудно работать, хотя едим неплохо и в городе после местных боев – тихо, то ли сбили ихние батареи, то ли они готовят чудовищный удар. Но работаю с диким усилием, – все кажется ненужным, смехотворно жалким по сравнению с положением в стране, и чувство собственной личной беспомощности – трудно преодолимо. Да и распустилась я, наверное, – «лавры» опьянили. Надо попытаться написать стихи «Именем Ленинграда», хотя дуб-Маханов в чем-то прав, когда говорит, что пора перестать кричать о героизме ленинградцев, надо написать стишки для 42-й – уж очень они привязались... Надо собрать и сдать книжку – собственно готовую уже, и как-то все кажется глупым, хотя я и знаю, что слово сейчас – это тоже сила...

От Серези нет писем, – неужели мальчик погиб, ведь он где-то там был, на Юге... Надо запросить его мать, – мне так хочется, чтоб он вышел из этой каши живым. Боже мой! Неужели никогда уже не вернуться нам всем к морю, к безграничному, единственно нужному человеческому счастью – слиянию с природой и покоем? Я, наверное, все же хочу жить, хотя иногда кажется, что все равно – жить ли, погибнуть ли...

Странно, я люблю Юру и жду его ребенка, и хочу его, – а вот жажды жизни, ожесточенного протеста против гибели – нет. Может, это и лучше? А м. б., это равнодушные просто потому, что в Л-де сейчас спокойнее, чем где бы то ни было?

13/VIII-42

Говорят, что немцами уже взят Пятигорск, хотя об этом у нас не сообщалось... Они отрежут у нас нефть – ясно.

...Все равно, надо жить, – м. б., уже недолго осталось. А если долго, если еще впереди много серого существования, мрака, тяжелого труда – тем более надо жить. Что же еще делать?

Личная жизнь омрачается круглосуточной тошнотой в соединении с февральским голодом, акцентированным на потребности острого, которого нет.

А так вообще пищи – много. Прилетела из-за кольца Кетлинская – привезла разного, в том числе моя радость – кофе...

20/VIII-42

Завтра во что бы то ни стало – с утра – пошлю отцу все, что ему надо, и буду работать.

Напишу для Информбюро о коме, пожарном полку и о Публичке (Колина

Публичка), и надо стихи писать.

Я просто завалилась на лаврах – это становится неприлично. Сейчас с тошнотой чуть полегче, надо поменьше сил отдавать стряпне – и работать, работать. К этому обязывают меня хотя бы те многочисленные трогательные письма, которые продолжают поступать ко мне, гл. обр. с ленингр. фронта. Они радуют меня необычайно, горжусь ими страшно, но и смятение охватывает: ведь в ответ на это надо что-то такое написать, что не разочаровало бы всех этих людей, ждущих от меня «новых вдохновенных песней...». Поэму массой отправляют за кольцо – родным, знакомым.

Я хотела бы написать несколько лирических песен-стихов, которые человек мог бы петь или бормотать один на один с собою, – ведь война идет через сердце все глубже.

Если б мне удалось написать что-нибудь вроде «Трансваля» – вот было бы счастье... Да разве такое простое и великое можно написать!

Разболталась я... Конечно, надо было иметь какую-то передышку после того, как оторвала огромную поэму, которая взяла массу сил, но уж, кажется, – довольно. Сашка Фадеев говорил, чтоб ни на что не транжирилась, а сидела и писала значительные вещи, но это, пожалуй, люкс.

Да, надо еще для партизан, выступление. М. б., 27-го поедем в Кронштадт, – к сожалению, выступать, но думаю, что увижу что-нибудь интересное, если по дороге не убьет немец – путь туда опасен. М<жду> п<рочим>, отв. ред. «Комс. правды» прислал телеграмму, что будут печатать «Лен. поэму». Но пока еще не опубликовали. Ах, хорошо было бы! Но Сашка Прокофьев лопнет от зависти уже наверняка! Моя бешено взлетевшая известность после опубликования «Лен. поэмы» уязвила некоторых наших «инженеров душ» в самую печень. Решетов и Прокофьев – теперь мои враги! Прокофьев сегодня на совещании в Обкоме комсомола вел себя просто непристойно: Иванов (секр. Обкома) стал говорить о том, что вот я собрала сборник «Молодежь Ленинграда», что они послали мне благодарности, а Сашка стал выкрикивать: «А она нам это не послала» – и потом после заседания бормотал – уже мне: «Мы заменим вас, т. Берггольц, заменим», да с такой злобой! Боже мой, точно я суюсь куда-нибудь, чего-то добиваюсь... Сашка у меня сегодня – как отрыжка, вот идиот-то! Через горком должна идти моя книжка – через Паюсову, а муж Паюсовой – Решетов, уж он, конечно, наговорит такого, что книжка будет признана «вредной», «любованием зимними трудностями» и т. д. Ну, увидим. Тьфу, какая пакость – эта литературская зависть, – даже в такое время люди не могут освободиться от нее! Ну, что нам всем – дела мало, места мало, читателей, что ли? Я просто понять всего этого не могу, – я радуюсь успеху «Жди меня» – ведь это наш брат, писатель, написал такое, милое всем, – а значит, как бы и я... Даже Ленке Рывиной, необычайно неприятной мне, я желаю всяческого успеха с ее поэмой, и хотелось бы, чтоб она получилась хорошей...

Юрка неожиданно имеет шанс ехать в Москву и тянет меня с собою, но это куча хлопот, и – неприличие, ездить за кольцо ни для чего... Он говорит, что там мы сможем обеспечить вылет в феврале – марте, к сроку моих родов, – но это мне кажется химерой, утопией. Что сейчас можно заранее обеспечить? За 6 мес. вперед? Вздор! Здесь нужно обеспечивать... Ну, он так хочет смотаться за кольцо, что, видимо, придется уступить, но, м. б., ничего не выйдет?

Он хотел сначала ехать в Балашов – у него безнадежна мать, и я обалдела втихомолку от этого его желания – как, в такие дни оставить меня здесь?! Но я ничего не сказала ему, хотя задышалась от обиды, и он сам решил без меня не ехать, даже в Москву. Юра мой хороший, милый, нежно люблю его...

На Юге дела плохи – все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу... Оставлен Армавир, Майкоп, Краснодар... Дерутся в Пятигорске. Черчилль был у Сталина, – неужели все же они, эти мудаки, откроют второй фронт? И вдруг – скоро конец?

Трудно как-то этому поверить...

...Да, все это так - и слава, и завистники, и немцы на Юге, и ребенок, который, видимо, будет, - но ведь Коли-то все-таки нет? Ведь нет его все-таки!..

Записи о Старом Рахине

Колхоз, 1949 год

20/V-49

Нахожусь в селе Старое Рахино, у женщины, о которой когда-то, в 44 году, писала по рассказам Юрки, бывшего здесь после Выборгской истории.

Он, конечно, 99 % придумал тогда, мой Юра. А может, тогда было иначе, и иначе все воспринималось, в дни, когда сломали Финляндию и шли по Европе.

Первый день моих наблюдений принес только лишнее доказательство к тому же, все к тому же; полное нежелание государства считаться с человеком, полное подчинение, раскатывание его собой, создание для этого цепной, огромной, страшной системы.

Весенний сев, т[аким] о[бразом], превращается в отбывание тягчайшей, почти каторжной повинности; государство нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем: нет лошадей (14 штук на колхоз в 240 дворов) и два, в общем, трактора... И вот бабы вручную, мотыгами и заступами, поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об огородах. Запчастей к тракторам нет. Рабочих мужских рук - почти нет. В этом селе - 400 убитых мужчин, до войны было 450. Нет ни одного не осиротевшего двора - где сын, где муж и отец. Живут чуть не впроголодь.

Вот все в этом селе - победители, это и есть народ-победитель. Как говорится, что он с этого имеет? Ну хорошо, послевоенные трудности, Пиррова победа (по крайней мере для этого села) - но перспективы? Меня поразило какое-то, явно ощущаемое для меня, угнетенно-покорное состояние людей и чуть ли не примирение с состоянием бесперспективности.

Хозяин мой говорил: «Конечно, если б не новая подготовка к новой войне, - мы бы встали на ноги, но ведь все же силы брошены на нее...» И в самом деле, все тракторные заводы продолжают ожесточенно выпускать танки.

Вырастить лошадей - тяжело, да и много лет пройдет, пока они будут работоспособны, а ждать, чтоб их дали, - не ждут.

Но больше всего поразила меня сама Земскова. Ничего общего с тем обликом, который мы, видимо, просто сочинили. Милая, обаятельная, умная и - страшно уставшая женщина. Она сказала вчера, почти рыдая: «Понимаете, жить не хочется, ну не хочется больше жить», - и несколько раз повторила это в течение дня.

И сама же указала одну из причин: вчера, например, приезжали двое - секретарь обкома и секретарь райкома, и ругали ее за отставание с севом. Советы - пахать на рогатом скоте, вскапывать землю вручную, мобилизовать всех строчильщиц.

Мужики, верней, бабы жалеют коров, и пахать можно не на всякой.

Поэтому в качестве основной меры для выполнения плана вспашки применяется... женский ручной труд. Старик, отец хозяина, сказал: «Да ведь тут *львиная сила* нужна, а не женская».

Конечно, жалко «конягу» Салтыкова-Щедрина, ну а представить себе на месте этого надрывающегося коняги на том же пейзаже - бабу с мотыгой или - уж куда «натуралистичнее» - бабу, впряженную в плуг, а и это - вспашка на себе - практиковалось в прошлом году, да и в этом - всюю, на своих огородах - там исключительно.

Земскова с горечью и слезами в голосе говорила, что дом у нее заброшен, - еще сегодня: «А я и обед-то не варю; вот сегодня щей сварила, - так, пожарю немного

рыбы, молока похлебаем... Маленькая семья, что ли, так потому и *не естся*».

Если б эта женщина занималась только домом, – он процветал бы. В общем, они живут неплохо – корова, свинья с поросятами, поросенок, 0,5 огорода. Но она отрывает для дома время от общественно-партийной нагрузки – она секретарь (нелепой по идее, по-моему) территориальной парторганизации, и вот бесконечные «пустоплясы» дергают ее, «руководят» и т. д. Вчера только их было тут двое, и один из них дико накричал на нее за то, что она разрешила колхозной лошадю одной больной вдове вспахать огород. «Нельзя, – весенний сев, колхозу надо пахать». *Для колхоза*. Вдова – колхозница, и у нее трое сирот, дети убитого солдата...

Колхоз все более отчуждается от крестьян. Они говорят: «Это работа для колхоза». Земскова говорит, что «придется итти работать на колхоз». И это у тех, которые с верой и энтузиазмом отдали колхозному строительству силы, жизнь, нервы... Это – общее отчуждение государства и общества.

Нет, первоначально было не то, и задумано это было не только для выкачки хлеба... Да они и сами понимают это.

Третьего дня покончил самоубийством тракторист П. Сухов. Лет за 30 с небольшим. Не пил. За несколько дней до этого жаловался товарищам, что «тоска на сердце, и с головой что-то делается». Написал предсмертную записку: «Больше не могу жить, потерял сам себя». «У него, правда, что-то все не ладилось, – говорила Земскова, – но человек был неплохой. С женой неважно жили, она его слишком пилила, чтоб и в МТС работал, и тут норму выжимал».

Он повесился на полдороге от Старого Рахина до станции, недалеко от дороги. Путь к себе заметил – пучками черемухи и сломленными верхами ели, – «партизанская манера путь указывать», – заметил Земсков.

Говорила вчера с председателем колхоза – Качаловым. Потерял на войне троих сыновей, один имел высшее образование, историк. Жаловался на сердце, – у всех неврозы, невращения, все очень мало и плохо едят, «больше молоко».

Земскова вчера говорила: «После войны мне труднее стало. Из-за мужа. Очень трудно с мужчинами стало – они на войне к водке привыкли, от дома отвыкли. Споримся часто; сначала из-за водки начнется, а там и пойдет. И я его, и он меня всяко обругает. Так – неделю мирно, а три недели – ругань. Поэтому и трудней, чем одной. Никакого облегченья, новое расстройство – и всё».

Ответ бойцов из части т. Земскова на наш очерк был, как и следовало ожидать, подсказан политруком и явился результатом проработки. «Поклонись своей жене», – писали мы, и они отвечали в том же патетическом тоне. И вот – жизнь. А разве не все мы были тогда искренни? Или сами не замечаем фальши, привыкнув обращаться с массивными категориями фамильярно?

23/V-49

Позавчера и вчера (явно схожу с ума, забываю и путаю дни) на экзаменах в 4, 5 и 6 классах сельской семилетки. Тут много отрадного. «Есть горячее солнце, наивные дети...» Есть и позиция: осознать себя в тюрьме и так спокойно жить. Ведь и там смеются и учатся – я знаю... Осознать и пропагандировать, что это – единственный принцип жизни и общежития.

Вечер у директора школы.

Его рассказы о колхозе: негласное постановление правительства о выселении (с арестом) «лиц, разлагающих колхоз», – не желающих подчиняться дисциплине, и суд над двумя семьями, и их увоз с милиционерами, без захода домой.

«Сразу появилось 80 рабочих рук, очень повлияло».

Рассказ о женщине, которая умерла в сохе. «Некрасиво получилось». Коняги. Вчера многие женщины, по 4-6 человек, впряглись в плуг, пахали свои огороды, столь ненавидимые государством. Но это – наиболее реальный источник жизни и питания. На колхоз – надежда неполная, тем более что пахут и сеют «от горя», кое-как.

И чудные, молодые девки – учительницы, некоторые – *моложе Ирки*, – мои дочери.

Глядя на них, впервые ощутила зависть к их физической свежести и привлекательности, – наверное, начало старости, и очень ясно почувствовала, что Юра, все еще молодой и очень красивый, захочет таких, а может, уже и имеет...

Всю зиму я, как намеренно, старила себя, не занималась собой. <...>

Вчера, сидя на экзаменах, взглядывала на озеро, вспоминала 44 г., и вдруг слезы кидались на глаза, и чувство горечи и одиночества захлестывало.

Зачем мне это все? Ну, они милые, эти ребята, эти учителя, эта Земскова, – а я? А Юрка? О них почему-то надо мне писать, они интересны, они – народ, а мы? Почему счетовод Земсков интересней, чем Юра? Почему судьба Земсковой грустнее или значительнее моей? Зачем я сижу здесь, ем отвратительную пищу, от которой уже явно ослабла и похудела, дрожу от отвращения перед девушкой с волчанкой? Ну да, я довольна, что все это повидала, надо знать «жизнь народа», но моя-то, моя горькая и уходящая жизнь – тоже что-то значит. Но нет, она ни для кого – ничего не значит, и сами мы все время самоумалеемся.

Баба, умирающая в сохе, – ужасно, а со мною – не то же ли самое! И могу ли я быть, при этом-то родстве (конечно, «негласном», «неопубликованном», «секретном»), – могу ли я быть при этой бабе – «пустоплясом», как Грибачев и К°.

Приступы эгоизма очень одолевали вчера. Не знаю даже, так ли они постыдны, м. б., в них есть что-то зрелое.

И вот опять – милые ребяташки, старательно отвечающие, а я опять взгляну на озеро – и тоска о Юре. Пришедши домой, в чужую и, собственно говоря, чуждую семью, – ревела в одиночку все время, еле оглушила себя валерьянкой, – оттого, что старею, оттого, что он не любит и – не понимает и я одна, и только одна знаю, что все со мной кончено.

Удивительное безмолвие в душе.

Даже запахи берез, полей и земли – запахи молодости и детства, запахи Глушина – волнуют как-то глухо, не певчески. Ощущение «всей жизни» – то ощущение, которое дало мне в 42 г. «Ленинградскую поэму» и в итоге «Твой путь», – томит... Только раз или два прошелся по душе творческий трепет и тотчас же угас.

Внутренняя несвобода – *обязанность* написать то-то и то-то, – видимо, больше всего сковывает меня. Надо плюнуть на это, но должно «само плюнуться».

А ведь мне «необходимо обелиться», – в чем, е. т. м.?! Меня будут слушать на бюро, – как я «исправилась после критики моего творчества» – Кежуном, Друзиным и Дементьевым. Это мне-то, за мою блокаду, каяться и «исправляться». Эх, эх, эх... Соха!

Сейчас иду в школу – там у меня встреча с учителями. Сама, фактически, навязалась – «чтоб знали» (меня тут вообще никто не знает, кроме какого-то доктора, да знают еще «Жену патриота», но без имени), а сейчас что-то неохота... Но все же – пойду...

23/V-49

Оказывается, то, что написано выше, я писала сегодня, а у меня уже слилось все в голове: может быть, от резкой перегрузки впечатлениями, – «барометр перестал падать».

Первое, наверное, в том, что учителя очень хорошо слушали и очень понравилось, хоть сами ничего не говорили о себе. Но большое самолюбие успокоено... Нет, всерьез, дело не в «славочке». Просто среди работающих людей мне не хотелось прослыть бездельником.

Потом была у одного старика-строчильщика. Он очень мил, но мы уже об этом писали, и больше навряд ли что выжмешь... Надо еще одного такого же навестить.

Потом была у одной женщины, Марии Васильевны Сочихиной, – «сочиняет стихи». Кажется, в общем – графомания, хотя отдельные строчки вдруг настораживают какой-то предельной буквальностью, тоже свойственной только графоманам. Но жизнь ее чудовищно тяжка. А мальчик ее Коля – очарователен до слез...

А в общем – я хочу домой.

Неужели Юрка больше не влюбится в меня, совершенно заново, неужели я не услышу его – того – бурного, почти рыдающего стоны, за который могу тут же погибнуть?!

Отвратительные сны снились мне сегодня – с арестами, с потерей друг друга, с бегством... <...>

Вот только что опять поговорила с Земсковой. Она заявила, что Коля – вредный мальчик: «От него учителя даже плакали. Стали разбирать крепостное право, а потом – как теперь вольно живут, а он говорит – и теперь как крепостное. Все в колхоз, а оттуда государству, а нам остатки... Мать тоже политически вредная, мы б ее поставили на работу получше, да она властью недовольная...» Два брата у нее – оба были в заключении, по 58 ст., в 37–38 гг. попали... Второй сын Сухова, работающий в войсках охраны заключенных, был в плену, потом в лагере и теперь отбывает там службу, уже после заключения. До 50 г. подписку дал.

Так-так... Чуть копни – и сразу – заключение, или до, или после...

Почти в каждой избе – убитые или заключенные.

24/V-49

Сижу на пригорочке среди сосен, и такой простор кругом, такой голубой, пологий, русский, добрый, – такой только снился, да и то давно, – когда еще снилась «та полянка», тоже новгородская, открывшая этот простор в детстве.

Дивной красоты сосна стоит рядом, со зрелой, широкой, архитектурной кроной, темно-зеленая, вся в золотых свечках. И все сосенки – в свечках, самые крохотные. Белые звездочки цветущей земляники, ярко-голубые с сиреневым фиалки – умиления бескрайнего.

И этот голубой оком, и холмы то в нежно-зеленых, то в желтовато-кирпичных красках, и синее-синее озеро среди холмов и леса. Жаворонки наполняют воздух упоительным, ликующим щебетанием, томно, глухо восклицает где-то в лесу кукушка.

«Господи, люблю Тебя и верю радости Твоей, без которой нельзя жить и быть».

Господи! Господи...

И правда, – молиться хочется и плакать.

Вчера, когда вечером бродила по дороге среди холмов, встретила женщину – щуплая, маленькая.

- Не попутчицей будете?

- Нет.

- А то идем в Кашино. У нас хорошо, люди приветливые.

- Я уж по вам вижу.

- Это верно, я приветливая, человека сразу в сердце принимаю.

Пошла с ней рядом, она рассказала сложную историю: идет из Крестец, там дочь в заключении (ну конечно, – в заключении).

- Молодая девчонка, только кончивши семилетку, пошла в магазин работать, там у нее недостача в 1700 руб... Ну, теперь-то я недостачу покрываю, но она второй месяц в заключении сидит, – за то, что уехавши была, пока дело не разобрали, – а мы и не знали, что уезжать нельзя... Прокурор говорит, – защитника брать нужно. А защитник, говорят, 700 руб. берет, а казенного теперь не дают.

И поплакала, и все рассказала (муж убит), и так сердечно приглашала к себе, точно знает меня много лет. – «Живем хорошо, очень хорошо». Куда лучше.

Наверно, о ней все уже всё знают, захотелось поплакаться незнакомому человеку на дороге, – да еще этот человек явно городской, – вдруг что-то скажет, поможет.

Живую душу укачала, Русь, на своих просторах ты, И вот, она не запятнала Первоначальной чистоты.

И сегодня, когда брела, нагнала меня тоже баба, но старорахинская, Евгения Фед. Савельева. И тоже плакала, и тоже рассказывала всю свою жизнь и про жизнь в колхозе.

Муж убит в эту войну, на Ладого.

- Наши мужики старорахинские какие-то несчастные. Всех скопом взяли да в одно место и отправили, под Ленинград, там они под Лугой, говорят, скопом и полегли...

Жить тяжело, «питание очень плохое», «все женщины стали увечные, все маточные больные, рожать не могут, скидывают; одного-двух родит, уж матка выпадает. Так ведь потому, что работа вся на женщине, разве можно это?»

Сама – калека, вывихнула руку, ездив на бычке, потом «залечили». Под гипсом завелись черви и клопы.

- Нет, мы теперь, может, и выберемся, с госсудой разочлись... Да ведь что, главное, обидно? Зачем начальство (чинарство) так кричит на людей? Ведь разве мы не до крови, пота убиваемся? Что ж оно кричит-то на нас.

И заплакала... Громко-громко, как дети на экзаменах, выкладывала она мне это среди неоглядных, дивно прекрасных древнерусских просторов; после нее я вот взобралась на пригорок и сижу...

...Так нагоняли меня на дорогах бабы, плакали и рассказывали о своей судьбе, а Русь вокруг зеленела и голубела, и кукушка далеко-далеко в темном лесу отсчитывала годы... Уходящие, невозвратимые годы, их и мои.

А все же хорошо, вдохновенно-хорошо кругом. Покурю сейчас и пойду бродить и напевать тихонько...

Нет! Еще будут, будут стихи...

25/V-49

Вчера на холме так сожгла себе лицо, что боюсь сейчас на солнце высунуться. Подглазники отекли и старые-старые, как у 50-летней старухи. Я здесь уже 7 дней, а от Юрки ни открыточки, ни телеграммки... Ох, будет мне еще от него последнее, самое страшное горе – бросит, уйдет к другой.

Но мне уж, наверное, к тому времени будет пора «подбираться», – так и совпадут концы жизни.

Все равно, жизненной миссии своей выполнить мне не удастся – не удастся даже написать того, что хочу: и за эту-то несчастную тетрадчонку дрожу – даже здесь.

Была вчера у дяди Саши Кондрашова, о котором тоже писали и напечатали очерк. Старик очаровательный; Юрик все время твердил: «Ты, главное, судьбы, судьбы людей узнавай».

Старший его сын погиб на войне, два других вернулись инвалидами. У обоих – по 6–7 человек ребят, живут плохо, хотя один – пастух, хорошо зарабатывает, – «да как-то все у него не клеится», – говорил мне вчера предколхоза. Старуха его умерла в прошлом году. Живет с сыном Володей (25 лет, бывший кузнец, теперь «библиотекарь») и женой его, «агрономкой». Никаких работ этого замечательного мастера не сохранилось, – ни у него, нигде.

Еще запомнить чаепитие у фельдшера Влад. Францевича Бурака, его жены Алекс. Петровны и дочери Кати. Их рассказ об убитом сыне Андрее, – как она просталась с ним в день войны, в лесу, около куста можжевельника. «Он ушел, а я руками рву можжевельник, полными объятиями, думаю – на память, на память».

Попрощалась – не задрожала, А ушел от того куста, Можжевельовый куст прижала Прямо к сердцу [к телу], к лицу, к устам Холодеющими руками. Наломав объятье [охапку] ветвей, Бормоча – «на память... на память».

.....

Хочу домой. Хочу сидеть и вслушиваться в себя – нет, нет, там есть стихи, хотя каждая фраза сейчас, которую пишу, и не только стихотворная, – любая, даже здесь, – кажется мне совершенно не тем, совершенно не выражающей мысль, – ни на йоту. Никогда такого не было: ощущение, что все слова не те.

Вроде как вкус не тот, – или пересолено, или переслащено, или непропеченное, что-то вязнущее в зубах, противно...

Все нужно снова: слова, ритм – внутренний, дыхание. Дыхания в стихе нет, вот что, воздуху нет. Дыхания души, дыхания внутренней гармонии...

И «первых слов» нет, – тех, с которых начинается стих, тех таинственных первых слов, которые потом, м. б., отомрут или будут в самом конце, в которых зародыш и главный звук-мысль.

Очень звучат зато внутри Блок и Есенин, которого по-новому слышу...

А «декадент» Блок писал о России так, что и сейчас эти стихи живее, созвучнее и глубже миллиона Грибачевых.

Кто взманил меня на путь знакомый, Усмехнулся мне в окно тюрьмы? Или – каменным путем влекомый Нищий, распеваящий псалмы? Нет, иду я в путь никем не званный, И земля да будет мне легка... Много нас – свободных, юных, статных – Умирает, не любя... Приюти ты в даях необъятных! Как и жить и плакать без тебя!

Все ли благополучно дома? Наверно, пришло решение о моем проигранном деле – не описали бы мебель. Как-то Андрюшка, Кузька? Я полюбила эту глупую

собачонку – она так беззащитна, трогательна, доверчиво-оптимистична и глупа: ребенок!

Ох, скорей бы домой! Работать надо, Юрка, бедняга, замаялся один. Тоже – баба в сохе. Ему, с его крылатым умом и дарованием, – нужен досуг, нужен достаток, нужно спокойствие... (Вот чего не даю я ему – это правда.) Это варварство – так работать, как он, спеша и задыхаясь...

А у меня – экзамены по истории партии. О, мерзотина... только, «размозолившись», садиться бы за работу – так на, сдавай эту муру, рви себе нервы.

26/V

А вышезаписанное – перебил приход хозяев вечером.

Короче говоря, в этой тетрадке с той стороны, под рубрикой «Земскова», уже совсем собралась написать итог личных наблюдений: «колхозный вариант Кетлинской или, м. б., даже Кривошеевой». Размышляя о бездельниках, изобилующих в сих местах, я несколько раз думала, – а П. П. – не бездельница ли уж тоже? Вчерашние и сегодняшние разговоры с завдетдомом и учителями полностью, даже сверх меры подтвердили мои догадки, которые я всячески проверяла и обставляла разными объективными «но». Но на самом деле все сложнее, страшнее и занятнее.

В том очерке мы писали вообще не о ней, а о том, что сочинил Юра, как я и подумала.

Да, это государственный деятель, но деятель именно *того* типа... Ее называют «хозяйкой села». Ее *боятся*. Боятся и, конечно, не любят. В ее распоряжении строчка, – она любого может уволить, отправить на сплав, в лес и т. д. Т. к. все в основном держится на страхе, – а она проводник этого страха, его материализация, ей подчиняются. Она ограничена и узка и совершенно малограмотна. Усвоенные ее ограниченным, малограмотным умом догмы низшей политграмоты – т[ак] с[казать], база «идейная» ее деятельности. Она употребляет разные термины и слова без точного понимания их значения. Но это бы полбеда. Как все чиновники, держащиеся за эту систему и смутно понимающие, что она – основа их личного благополучия, – она бессердечна, черства, глуха к людям.

Об этом говорили решительно все, начиная от Сочихиной, простой бабы, кончая директором школы.

Сочихина сказала: «Она властвовать очень любит. Я бы вот властелином не согласилась быть. По-моему, у кого совесть, тот никогда себе властелином быть не позволит, совесть и власть – это врозь идет». (Очень интересная, кстати, думающая, хоть и хитроватая баба.)

Да, у П. П. властный характер и умение властвовать, т. к. она совершенно не любит людей.

Ее отзыв о повесившемся Сухове: «Его не в гробу везти, а на веревке тащить надо».

Ее отзывы о Сочихиной и Коле, – выше уже писала: «Мы ей не даем ходу как недовольной».

Спокойствие, с которым она говорила о «заключении», недобрая усмешка при моем упоминании, что я говорила с Краевой, недоброжелательство по отношению к учителям, врачам и т. д.

Ее история с Федоровой (завдетсадом) – чуть не выгнала ее из партии за то, что та отказалась устроить пункт голосования во вновь отремонтированном детсаде. Оперирование терминами – «не партийный поступок», «не наш коммунист» –

трижды знакомый набор! Слова, отделенные от смысла и человека.

И эта страшная «установка»: «Не вооружать паспортами!» Оказывается, колхозники не имеют паспортов. Молодежи они тоже не выдаются, – чтоб никто не уезжал из колхоза. Федорова взяла к себе «техничками» двух молодых колхозниц и выправила им паспорта. Земскова рвала и метала:

– Зачем ты вооружила их паспортами?

То же самое говорили мне и учителя:

– Земскова чинит всяческие препятствия к тому, чтоб молодежь, даже ушедшая от нас в район, получила паспорта. Это ужасно действует на ребят. Они говорят: зачем нам кончать, нас отсюда все равно никуда не выпустят, а еще говорят, что молодым везде у нас дорога...

Итак, баба умирает в сохе, не вооруженная паспортом...

Вчера, идучи к фельдшеру Бураку, видела своими глазами, как на женщинах пашут.

Репинские бурлаки – детский сон.

Итак, Земскова не дает людям «вооружаться паспортами».

– Она каждый раз выступает, страшно неграмотно, но обязательно кого-нибудь обидит, изругает, и так грубо.

О том, что она обижает, «навешивает на человека», «собирает материал», – говорят решительно все. Тоже понятно. Она, видимо, полагает, что это – парткритика и самокритика.

А я чуть было не умилилась, когда она бранила избачку Любу, телушку совершенную: «Где доска показателей?» Выше писала, что это – ерунда.

И вот со всем этим сочетается в этой женщине – темное, языческое суеверие, причем этому поверить странно.

Приехала весной 48 года сюда молоденькая врачиха – главврачом в больницу – и через два дня исчезла.

Искали ее упорно. Настроение у всех было подавленное. Бурака заподозрили в том, что он ее... убил.

П. П. тогда подает мысль (сам Бурак сейчас говорил), что она «попала в худой след». В след, оставленный нечистой силой. Если попадешь в этот след, нечистая сила тебя закружит, толкнет на смерть, иногда на злодеяние – в общем, на гибель.

Она говорила ему об этом с той же непоколебимой самоуверенностью, как в райкоме о чем-либо. «Надо поворожить, спросить у одной женщины». «Дали задание» этой женщине, – колдунье, живущей рядом с Бураком. Она вообще каждый вечер ходит под мост и там ворожит. Вот она под мостом поворожила, «доложила» Земсковой о результатах. Земскова сообщила фельдшеру: «Я знаю, – она здесь и отыщется». Затем нашли врачиху: повесилась в лесу, около озера. «Вот видите, – сказал парторг села, – я говорила! Отыскалась... А что задавилась, в худой след попала».

В худой след верят здесь твердо.

Мы писали – со слов Юрки! – о том, как она любит мужа, а оказывается – он женился на ней по принуждению, бивал ее, уходил от нее и т. д.

Тогда она сходила к бабке, поворожила, «взяла у нее средств». Это было уже после войны. Сейчас живут лучше, по крайней мере он перестал рыпаться.

Смешно, в общем.

Все, вместе взятое, – почти неправдоподобно.

Вообще минутами мысль, что все это похоже на сон. В особенности – оттого, что никак не могу поверить, что наяву вижу эти снявшиеся, волшебные русские просторы, и обрыв сегодня точь-в-точь такой, как в Глушине, на мельнице в Запольске, где мы ловили стрижей... И девочка, беленькая Зоя Алексеевна, учительница 22 лет, на год старше Ирки, водила меня на точь-в-точь такой же обрыв над омутом, окруженный курчаво-зелеными и сине-голубыми просторами, и прыгала по краю обрыва, засовывала руку в стриговые норки и кричала с детским восторгом:

– Ой, О. Ф., рука по локоть ушла, а ни до чего не добраться! Вы подумайте, как глубоко, а?

Господи, верю радости твоей... Верю радости твоей и хочу жить и быть...

Завтра еду. Слава богу, ссылка кончилась. Жаль только уходить от просторов этих, холмов, озер и омутов...

27/V-49

Земскова говорит – рассказывая о вчерашнем заседании в Крестц<ах>: «Она ставила вопрос в сторону Ив. Мих. по части производства, а у него получился вопрос больше в сторону ее выступления»... «Она не ставила вопрос в продолжительности данного момента времени».

Инвалид (кот. ее слушает):

– А-а! Все понятно!

Несчастные люди!

Этот инвалид-бухгалтер в строчке. Алексей Михайлович Митькин. Коренной старорахинский, образование низшее, но потом как-то поднаторел на бухгалтерии. Воевал, сыновья тоже.

– Мы все впятером воевали. Под старшим сыном 13 танков сгорело, в Сталинграде.

Они с Земсковым выпили за завтраком, он пошел говорить...

Ногу ему оторвало в 41 году в Пушкине. Лежал всю блокаду в ленинградском госпитале, в университете. В общем, как и все, всё понимает, только говорить боится.

Однако сказал, например:

– Я за что правительство ругаю? Почему от меня пенсию забрали? Мне ее, может, и не нужно в денежном выражении, пусть она мне как воспоминание будет, – что вот, тов. Митькин, участвовал ты в Великой Отечественной войне, пролил кровь, – мы это помним, и ты помни... Нет, отобрали... Так вот иногда идешь на озеро по рыбу, растянешься на своих костылях, и тут уж все как-то сразу вспомнишь, – ну и почнешь и в родину, и в правительство...

О Сочихиной сказал:

– Сочинения у нее с некрасовским духом. Она это больше всего Некрасова обожает. Ну так оно и верно, жизнь такая... некрасовская... А вам, извиняюсь, наверно, тоже рамки ставят? Правды-то ведь не пишут. Не думаю, чтоб сами писатели к неправде стремились...

Я была очень выдержанна, хотя две-три либеральные фразы сказала, а он все понял – очень остался доволен беседой.

Женщина идет, и все темнее
Вслед за ней ложится борозда,
И звезда, звезда горит
над нею, Ржавый Марс, тяжелая [неженская] звезда...
Несытый [Голодный] [Кровавый] Марс горит над полем...
И видно все ясней, все боле
(Когда померкнешь ты, когда?) труда
Багровый [Бесплодный] Марс горит над полем
Всегда несытая звезда
Еще голодная. И вот все явственней, все доле
Стоит [Горит] [Встает] несытый навсегда
Багровый Марс над синим [русским] полем,
Давно бесплодная звезда.
Валдай – родина знаменитых бубенцов.
Колыбель бубенцов знаменитых
Тех, поющих [звенящих] по-русски, навзрыд,
Тех, что могут и петь и рыдать,
Валдай – рыдай.

Тот же Митькин говорил:

– Мы все же думаем, что при Ленине было б иначе... Он, конечно, говорил, что можно в одной стране. А вот Бисмарк, кажется, говорил: если уж надо строить социализм, то надо взять страну маленькую, с небольшим народом, – в общем, такую, которой не жалко... н-да... а мы размахнулись на одну шестую часть мира, ну, где ж тут... н-да... Конечно, кто ж против этого строя возражает, но ведь жить-то хочется... н-да... Ну, это верно Миша Калинин говорил, – на ошибках учимся, а может, в маленькой стране и ошибки были бы помене, ну и народу меньше пострадало бы... н-да...

Совершенно просоветский инвалид.

Коля быстро сказал: «Про войну читать люблю».

– Что ж ты, не навоевался? Ведь сам был на войне.

– Ну, кака это война. Я люблю про настоящую, где героизм и подвиги.

[И пока не наступит] конец
Расступись-ка, дорога, раздайся,
Снова в сердце звучит бубенец.
Бубенец серебристый валдайский.
Плачет в сердце [песне] моем бубенец,
Плачь же в песне моей, бубенец,
Бубенец, бубенец, бубенец.

Записи на отдельных листах

Октябрь 1949 года

Предсельсовета Елена Михайловна читает «Говорит Ленинград», – какими словами говорит она мне о нем, – простая женщина, далекая от лит-ры. Я могла бы быть истинно народным поэтом, если б не этот гнет, – и я была им во время войны, и я могу, – могу писать.

Свободы! Свободы от ревности, от любви, от него...

31/X-49

Были неск. дней в Ленинграде. Уезжала туда на большом подъеме: по-настоящему, по-настоящему пошли стихи, чудесно было с Юрой, – «чудовище» вдруг притихло, и северное сияние полыхало.

В Ленинграде было много суеты, и жизнь текла бессодержательно и в общем мучительно для сердца. Наш день, 26/X, мы провели хорошо и любовно. На другую ночь вдруг вспыхнул скандал, – я перечла переписанное мною письмо Бычкова, все залило внутри ядом, опять подозрения, опять одна боль. Ночь была ужасной, наговорили друг другу бог знает чего, встали разбитые, измученные, с ясным ощущением трещины, но все же решили поехать сюда.

Перед скандалом приходил Волька, – сказал, что ПБ получила задание – доставить компрометирующие материалы на «Говорит Л-д». Дело в том, что все наше бывшее парт-рук-во во главе с Кузнецовым, Вознесенским и т. д. – посажено. Сначала сняли (это произошло вскоре после смерти Жданова), нам объявили – противопоставление Л-да Москве, без спросу организовали оптовую ярмарку, подделали перевыборы, обогащались за народный счет и т. д. В общем, «отец» выразился – «вроде зиновьевской оппозиции». (?) Отправили их на учебу, – а недавно пересажали всех, решительно всех – «антипартийная группа, связанная с Югославией». Теперь в Л-де массовые исключения из партии, аресты (много у нас в Союзе) – директива – ликвидировать все, связанное с этой группой, в особенности по части идеологии.

И хотя у меня нет ни единого имени из этой группы в моих книгах, а не то что «восхваления» их, хотя красной нитью через все мои стихи проходит идея единения Л-да с Родиной, помощи Родины Л-ду, хотя «Лен. поэма» посвящена только этой идее, – не будет ничего удивительного, если именно меня как поэта, наиболее популярного поэта периода блокады, – попытаются сделать «идеологом» ленинградского противопоставления со всеми вытекающими отсюда выводами, вплоть до тюрьмы. Такой «идеолог» должен быть, и его «сделают». Видимо, уже идет работа.

В день отъезда Юра прибежал из из-тва дико взволнованный и сказал, чтобы я уничтожила всякие черновики, кое-какие книжонки из «трофейных», дневник и т. д. Он был в совершенном трансе – говорит, что будто бы услышал, что сейчас ходят по домам, проверяя, «что читает коммунист», т. е. с обыском. Кроме того, откуда-то запрашивали изд-во, – какие из моих книг, Саянова и Прокофьева – изданы.

Меня сразу начала бить дрожь, но вскоре мы поехали. Ощущение погони не покидало меня. Шофер, как мы потом поняли, оказался халтурщиком, часто останавливался, чинил подолгу мотор, – а мне показалось, – он ждет «ту» машину, кот. должна нас взять. Я смотрела на машины, догоняющие нас, сжавшись, – «вот эта... Нет, проехала... Ну, значит, – эта?».

Уже за Териоками, в полной темноте, я, обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. «Эта». Я отвернулась и стиснула руки. Оглянулась – идет

сзади. «Она». Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это – луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой... Дорога идет прямо, и она – все время за нами. Я чуть не зарыдала в голос, – от всего.

Так мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник. Лесной царь – сказка. Наконец мотор отказал совсем – ночью, в 50 км от дому! Идиот-шофер опустил руки. Помогло чистейшее чудо, – Юрка за бешеную сумму уговорил шоферов автобуса, идущего в другую сторону. И вот ночью, одни, в огромном пустом автобусе мчимся среди леса, – сказали им – 35 км, обманули со временем, – едем, и мне все время кажется – не та дорога! Ни я, ни Юрка ночью тут не ездили. Она тянется бесконечно и адски долго. Нервы – как струны. Почти в 2 ч. ночи все же добрались, угостили шоферов, затопили печь в моей комнате, сели перед огнем. Добежали! Наверяд ли «они» приедут сюда, если не схватили по дороге. Но ведь может быть!..

Юрка сказал, – «никогда у меня не было такого физического ощущения удушья, смыкающегося кольца вокруг нас».

Легли поздно, спали тяжело, – от всех этих событий, сведений, этой кошмарной поездки, водки, – было ощущение нереальности жизни.

Утром я собрала завтрак, нарядилась, – выхожу к столу, говорю – «здравствуй, Юрик», – и вдруг вижу, что он, глядя в окно, – плачет, навзрыд, тяжело, истерически, и катятся огромные слезы, – и губы дергаются – первый раз в жизни вижу, чтоб так плакал мужчина, – так горько, обильными такими слезами, с такой беспомощностью и отчаянием.

У меня ноги подкосились, – думаю, сейчас скажет, что будет ребенок от Ю., или что-нибудь такое.

А он обнимает меня и плачет, плачет отчаянно.

– Я не могу, не могу, у меня чувство, что тебя уже отобрали от меня, уже разлучили нас. Вот уже руки к тебе протянуты, уже не вырвать тебя. Господи! Все, все, только не это, только не разлука – а я третий день хожу сам не свой и чувствую, – вот она, вот...

Я утешаю его (сразу откуда-то твердость и гордость в душе), а он цепляется за меня, целует мне руки и рыдает, рыдает в голос, страшно, истерически.

фрагменты и подготовительные материалы: вторая часть книги «Дневные звезды»

Я здесь, чтобы свидетельствовать. С вами Пройду весь путь до самого конца, Чтобы
кровоточащими словами Сказать о ваших <...> сердцах. Вот, не пугаясь неизбежной
муки, По самый локоть я вложила руки В раны ваши... <...> В твою таинственную
рану Вложила слабые персты... Дверь на засов и душу – на засов... Мне не уйти
от этих голосов, От этих силуэтов величавых, От этой жизни, горечи
и славы Мне не уйти...

Вновь о Главной книге, о современной форме прозы, – о том, что она вечный
черновик, записи на полях, дневниковые записи. Последовательность,
хронологическая последовательность и логика (хронол.) заменяется здесь
последов. и логикой эмоций. Если по лабиринту этому ведет сердце, – читатель
будет все понимать.

Страстное желание читателя «выразить себя» (Герцен) – вот современное
содержание и современная форма.

Ну так вот пока я и буду писать так – как писала первый отрывок.

Как писать дальше: смешается прошлое, настоящее и будущее, память жизни
и предвосхищение ее, раздумья о сегодняшнем дне (здесь будут повторы, возвраты,
новое раскрытие уже сказанного).

Я не уверена, что даже смогу перечислить все события, но знаю, что, о чем бы
ни говорила, – это будет о человеке, – значит, день сегодняшний, это будет
о сегодняшнем состоянии души человека. А если вольно или невольно что
не доскажется, не выскажется, – я знаю теперь, читатель, у которого главная
непрочитанная книга – еще впереди, который вместе со мной пишет мою (нашу)
главную книгу, – поймет меня до конца.

А если что – не по доброй воле моей, а по неумению или другим каким причинам,
не будет досказано мною... (*лист оборван*).

Мысль. После вступления первой главы «Звезд» – прямое обращение к Коле.
«Дорогой мой, ты не узнаешь этого. Это было уже после тебя. Я рассказываю тебе,
я рассказываю это вслух. О, ничего, ничего, пусть они все это слышат,
мне не стыдно, мне надо, чтобы они знали, слышали о тебе, о моей, нашей любви».

Его письма в тюрьму, мне.

Мои письма и стихи из тюрьмы ему, тогда и теперь. Из тюрьмы. Как бы я написала
ему об этом теперь. Непрерывное, хронологическое, диалогическое обращение
к нему.

Начать на разбеге

...Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 37–38 гг. –
значит, я не расскажу главного и всё предыдущее – описание детства,
зов революции, Ленин, вступление в комсомол и партию, и всё последующее –
война, блокада, сегодняшняя моя жизнь – будет почти обесценено.

Название круга «Испытание».

Пишу кругами. Восходящая ввысь спираль. Я же предупреждала, что это все лишь
черновик, что будут дополнения, сноски и т. д.

Сноска к отцу.

Или P. S.

Красноярск, подробности смерти. Я ехала твоей дорогой, Отец мой милый, До Красноярского острога, Вплоть до твоей могилы. Салютую тебе тюрьмой. Салютую тебе тюрьмой!

Был зеленый день, и мы отправились в горы, на Медео. Начать: I – Вот так мы войдем в социализм.

Это был 1931 год. Чума, холера, черная оспа. Там хранили воду в выдолбленных тыквах и пытались замостить почти болотистые улицы Алма-Аты, там, где пламенеют канны и где сейчас асфальт (даже слишком много асфальта), так много асфальта, что перестаешь чувствовать землю под ногами. Но повторяю, – тогда не было асфальта. Были прилавки, были чудовищные окраины, пузатые (коричневые круглые животы и тощие задки), грязные ребятишки на тоненьких (тонюсеньких) ножках, изможденные женщины... Все было далеко не только до социализма – до нормальной человеческой жизни. Жизни, достойной человека.

Но мы круто повернули, послушные дороге – пути, и сразу открылась сверкающая красота земли.

– Вот, ребята, – сказал Ленька, – вот так мы войдем в социализм.

И мы молча и безоговорочно согласились с ним, только кивнув головой (молча от волнения).

Это был 1931 год, мы были молоды, очень молоды, я и Коля, приехавшие работать в казахскую газету, и друг наш, Леонид Д., – сотрудник той же газеты. Да, свидетельствую, мы так думали тогда, мыслями, подсказанными любимым нашим поэтом, властителем дум – Маяковским. Он только что застрелился тогда, и рана эта была для нас пронзительна, огненна, но то была рана навывлет, – мы все равно продолжали ощущать его живым – и вслед за ним повторяли:

Кажется, вот только с этой строчкой развяжись И взбежишь по строчкам в удивительную жизнь...

И мы, как он, так же считали, – что вот социализм наступит... нет, не наступит, придет... да нет, просто вдруг грянет, обвалится на нас после мгновенного какого-то шага, развернется, воссияет, взметнется перед нами, вместе с нами, – мы влетим, вбежим в него по строчкам пленительно-отважной поэзии, по этой крутой, но прямой горной дороге, окруженной красой, – ну еще два шага, еще несколько опаляющих, опьяняющих строк – и вот он.

Все было не так, как нам в тот зеленый день казалось.

Всем нам троим, и мне, и Леониду пришлось выдержать 37-й, 39-й год.

И даже самоотверженную работу нашу в 31-м, в дни мечты о социализме, – оклеветали и представили как вражескую деятельность. Потом была война. Николай умер от голода в январе 42-го года. То, что было с нами троими, было с миллионами.

Вот и вновь я пишу как будто бы только о себе. Но, думается мне, нет сейчас ни одного взрослого, серьезного человека, который не задумался бы над жизненным путем своим, прошлым, настоящим и будущим. Вот встал он, как бы на том перевале, на Медео, на том, куда в 31-м году вошло молодое наше поколение, – встал и взглянул себе в сердце, он оглянулся на пройденный путь и увидел все, вплоть до тех пузатых детей, скинул очами толпящиеся, дыбачиющиеся впереди вершины, дымящиеся пропасти, рыкающие потоки, и задумался глубоко и тихо, и взглянул себе в сердце, без слов спросил у сердца (души) своего: «Какое же ты? Верить ли?» – «Ну а что ты можешь – лично? Что ушло, что сохранилось, что накопилось в тебе такого, что (которое) может пригодиться тебе, что открылось тебе на съезде и, главное, – товарищам твоим в дальнейшей дороге?»

И строго, и страстно спрашивает (допрашивает, пытается) он свою душу, стоя лицом к будущему, готовясь к новому переходу (вместе с народом). У всех единое, и каждый вступает по-разному.

Так вот и я, стою рядом с этим человеком и думаю то же, что думает он. И как он желает помочь мне – так и я по силам своим, своим умением, своей профессией, всеми секретами своей профессии хочу помочь ему.

Я напишу во второй части «Дневных звезд» о том, что все было не так, как мы в тот зеленый день мечтали.

Отсюда переброска может быть к другой главке: к Эренбургу, Маршаку, Паустовскому, Твардовскому, Солоухину, Смуулу, – к себе. Я вижу во всех этих книгах залог великой будущей литературы. Жан Биэль... Здесь же – я соотношу это почему-то с Безымянными героями...

Закончить этот разделец – Литература Единения. Программа не без учета нашей литературы. Записала – в скобках, а может быть и без них, об источнике радости.

Дать в зубы С. Васильеву.

За трагическое в литературе. За наивысшую правду...

Мой долгожданный, мой сибирский путь... Моя – за далью даль. Не за твоей ли дальней далью и я иду все с тою же... печалью непрощенной, с несбывшейся любовью.

Сибирь – Норильск.

Многочисленное место народных трагедий.

Твардовский. Пишет о Саше Фадееве, и я о нем и о Твардовском. Их горькая судьба. Их размолвки, их ссоры, особенно после XX съезда.

Не Сибирь ли легла меж ними?

Сибирь – с ее людским горем и сталинским режимом, невольным утвердителем которого и невольником которого был Фадеев. Осознав это, он и покончил с собой. Больше нечем было жить – не было прошлого, не было будущего.

Впереди – густой туман клубится, и пустая клетка позади...

Его гибель, наши разговоры с Твардовским и Иваном Макарьевым, – а он только что из Сибири, из Норильска, – помню, как он приводил ко мне секретаря партийной организации (партийная организация среди заключенных, воздвигнувших Норильск).

И вот и Макарьев покончил с собой, вскрыл себе вены. Не выдержал – «в миру» оказалось еще труднее, чем в Сибири, да и 19 лет Сибири дали о себе знать. Она потребовала к ответу как заимодавец, потребовала свое... Даже не долг, а именно нечто свое, временно данное человеку, дарованное на время.

Свое – тайное – повладел, побаловался? Хватит! Ложи взад.

И вот отняла это. У Фадеева, у Макарьева – и неужели отнимет у Саши Твардовского?

И вот одна осталась я считать пустые дни... О, вольные мои друзья, О, лебеди мои!

Надо широко писать о Сибири (уже символ) – в плане народной и моей судьбы.

А я смотрю тебе в глаза без страха.

Я у тебя ничего не брала, не занимала... О, судьба моя, Сибирь

кандальная, Огненная, светлая Сибирь...

Сибирь – родина.

Сибирь – Россия.

«Да, скифы мы...»

Так взглянула в глаза Сибири.

Не забыть: в Туве есть (строится?) электростанция, возле которой камень с надписью: «Центр Азии».

Путевые записки. Сибирь, весна 1959 года

Когда человек все утратил, у него остается одно: реванш иронии и мечты.

Имя твое я сделал из хлеба такого же черного, как мой день... –

так писал писатель Николай Баршев Вале, своей жене и моей подруге детства, когда сидел в тюрьме в 1937 году. Он действительно сделал ее имя, имя дочки и матери из хлеба и украдкой передал их на волю – Вале.

Валя хранит их до сих пор, нашив на бумагу. Из хлеба же, на «воле», сделала она его имя и пришила на ту же бумажку.

Ее биография, начиная с Невской заставы: «Смена». Юность. Борис Лихарев и Борис Корнилов. «Я жила в состоянии предвосхищения жизни, активного доверия к ней». Второй ее муж – Баршев, бывший муж Людмилы Толстой. Людмила была секретарем Алексея Толстого и потом вышла за него замуж.

Она дала мне машину отвезти умирающую Ирочку в Ленинград из Детского Села.

Потом за смертью Ирины – 37-й год.

Эпилепсия Коли.

Арест Корнилова, арест Баршева. Мое исключение из партии, изгнание из рядов демонстрации в честь 20-летия Октября. Юбилей Пушкина в 37-м году.

Защита Колиной диссертации.

А Валя ходила в прокуратуру, узнавать, как Баршев. Ее свидания с ним в пересылке. «Ходила на свидания как невеста, вся в белом и обязательно с цветами». Разговор их через решетки, другие женщины, и тоже с цветами, – у одной охранник вырвал цветы, бросил под скамейку, Баршев приказал: «Подними, сволочь, и отдай женщине». Стражник молча сделал это.

Валя предложила: «Давай умрем вместе, сейчас». Он сказал: «Мы встретимся».

Ее выслали с годовалой дочкой и семидесятилетней свекровью раньше, чем отправили по этапу Баршева.

Два или три года мытарствовалась в Бугуруслане...

О, Бугуруслан, Бугуруслан, – город разлук, общероссийский этап...

Надо бы побывать в нем...

Валя бегала к этапным поездом, подбирала выброшенные из вагонов письма, наклеивала на них марки и отправляла их, носила, как и другие, еду и табак нашим

каторжникам.

Великая, печальная, молчаливая вторая жизнь народа!

История любви, одной любви, прошедшей сквозь эти годы, лежащей во второй жизни народа...

Эта вторая жизнь. Если б мне только написать о ней.

А потом Валя вернулась в Ленинград (с помощью Людмилы Толстой) и, голодная, нищая, разутая и раздетая, вышла замуж за какого-то инженера.

Объяснила это просто: «Жить надо было, чтобы встретиться с ним, чтобы спасти дочь. Спала с ним, а казалось, что рядом лежит Коленька...»

Писала Баршеву каждый день, получала ответы с перебоями, потом перестала получать ответы, потом известили – умер.

26 мая 1955 года делала я нечто вроде доклада в Пушкинском Доме на Пушкинской сессии Академии наук.

Говорила хорошо.

Вспоминала о Бахчисарайском фонтане в Бахчисарае. Слезы Юры – его восторг и изумление перед величественной бедностью фонтана (он думал – нечто вроде Петергофских водометов). Две неувядающие розы – Пушкинские розы в чаше фонтана...

Фонтан любви, фонтан живой, Принес я в дар тебе две розы...

(Валины цветы на пересылке...)

И я говорила о бессмертии этих роз и о том, как много исчезло с лица Земли во время войны, а эти две розы – остались нетленны, потому что они, потому что «фонтан любви, фонтан живой» – всего нужнее человечеству.

Восторг Оксмана – пушкиноведа.

Его рассказ о своих мытарствах в лагерях в проклятых топях Колымы.

Как заполучил он томик Ахматовой, который вертел в руках какой-то «чучмек» – стражник.

Оксман пообещался ему за ночь владения этой книжкой «устраивать ванну», то есть бочку с водой, куда кидали горячие камни.

Я читал всю ночь и рыдал, рыдал... Тот город, мной любимый с детства... Моим промотанным наследством Сегодня показался мне...

И вдруг Оксман говорит о том, как он был там вместе с Баршевым.

– Он не работал, он был «отказником», а читал он только письма своей черненькой жены. И вот пошли мы – в день выборов в Верховный Совет – через Владивосток и дальше, дальше к океану, – грузиться на пароход на остров, – на Магадан. И оба мы упали – я и Баршев. На нас спустили собак, и собаки стали терзать нас, – это хотели проверить – не придуриваемся ли мы? И мы лежали, пока собаки рвали на нас одежду, добирались до белья, до тела. Я решил – все равно. Но собака рванула на Баршеве тот мешочек, в котором он хранил Валины письма. Мешочек разорвался, был сильный ветер, и письма полетели в стороны, по ветру, и Баршев из последних сил вскочил и рванулся за ними. «Побег!» Его ударили прикладом под колени, он упал, письма разлетелись, стражники втоптывали их ногами. Нас погрузили на грузовики, повезли. Баршев с тех пор совсем отчуждился, совсем не стал работать. Его стаскивали, сбрасывали с нар, били, лишали еды, – он не работал.

Вскоре он погиб.

<...>

Социализм – это учет. Коммунизм – переучет.

Коммунизм – это Советская власть минус НКВД.

Испания, 1938 год. Вошла в тюрьму. – Что с Мадридом? – Мадрид вчера сдан. – Все встают. «Испанцы» в тюрьме.

(Женя Шабурашвили, дочь грузинского банкира, три языка, в Испанию ходила официанткой. После войны была посажена, как шпионка в пользу... (следователь так и не придумал, в чью).

Встреча в грузинском подвальчике (я, Герман и Макогоненко) – ресторан «Кавказский».

Окошко – «глазок» – бдительное око пролетариата... – Испания и судьба ее защитников. Испания – гитлеризм, сталинизм – мы.

К главе «Узел». Внутритюремный допрос.

(На внутритюремном допросе с Иваном Тимофеевичем Мусатовым.)

Он добивается, чтобы я сказала, какие шифры я передала Лизе Косульниковой. Я чувствую, что Лиза явно предала или кто-то другой, кому она доверила. Лизе так хотелось к Ванечке и Виталику. Мусатов говорит под конец:

– Ольга Федоровна... Вы поступаете нечестно.

Я взглянула ему прямо в глаза, и взгляды наши столкнулись и вошли друг в друга, – всепонимающий то был, единый взгляд людей.

Взгляд людей друг другу в глаза, взгляд коммунистов – не боюсь сказать. И так мы говорили друг с другом не менее трех секунд, целую вечность.

– Иван Тимофеевич, я поступаю честно, – сказала я, не отводя своего взгляда от его человеческого взгляда (коммуниста), – и вы понимаете это.

– Я понимаю, – ответил он и опустил глаза на мое «дело» и несколько раз быстро сожмурился, похлопал веками, как делают люди, которые, прямо взглянув на солнце, сразу вновь погружаются в сумерки... и какие-то темные пятна ходят перед очами ихними.

И в то мгновение я увидела его веки: темные, темно-коричневые, в частых, выпуклых, вдоль идущих, набегающих друг на друга желтых морщинах, с черной полоской под глазным яблоком, усталые, страшные веки смертельно уставшего человека. Несчастливого, несчастливового человека. Не кутилы, не развратника, не горного рабочего, не бессонного художника или поэта.

Нет, таких век не могло быть ни у кутилы, ни у фанатика, ни у развратника, ни у бессонного поэта.

Усталый человек, усталые, коричневые, в мелкую продольную желтую складочку веки... Да ведь он устал... устал этот человек... Потому что он – тоже человек... (как с немцами). Это мгновенное видение век прошло сквозь сознание сквозным, но не колющим, а тупым прободающим ударом, но не задержалось в сердце, в сознании... Я как будто бы отложила его. «Потом, – сказала я себе, – потом...» С чего ты устал, так твою...

– Ну так как же, значит, у вас в камере вы врагов народа не обнаружили?

Мы вновь были не людьми, а следователем и подследственной, но то, что хоть

на миг блеснуло между нами...

А глаза у Вани были как голубые игрушечные блюдечки, глаза как будто без век и ресниц. Этакие выдупленные круглые глаза. И вот они опять стали такими... Сколько раз он наклонялся к моему «делу», и я смотрела на него, иногда с любопытством, иногда с ненавистью, такой, что мне казалось, – вот он сейчас услышит ее пропущенный сквозь зубы стон-стенание. И только сегодня я заметила эти огромные, темные, складчатые усталые веки – веки усталости, веки опустошенности.

Не потому ли это случилось, что мы первый раз по-человечески взглянули друг другу в глаза?..

- А если я дам вам с ней очную ставку?

- Прошу вас. «Хоть в рожу ей плюну». Выдать Пушкина! Выдать секрет двух букв...

Размышления. «Он устал...» А от чего, ё. т. м., устал!

А почему он терпит! Почему он делает все это...

Мои даты:

7/XI-37

Меня выгнали из демонстрации.

Ничего. Я не сержусь на вас. Я еще напишу о вас такое, что вы будете плакать над этим. Парикмахер, который стрижет меня сейчас, когда-нибудь будет гордиться этим.

Затем - блокада. И вот я на «Электросиле» - веду кружок, и <неразб.> они просят у меня прощения за то, что они выбросили из демонстрации.

И они плачут над моими стихами, - я пишу о них, о знамени, стоявшем в завкоме:

«Умрем, но не отдадим Красный Питер».

7/XI-48

На Дворцовой, участвую в радиопередаче о демонстрации, «веду» Московский район и Невскую заставу, НКВД и МГБ дают мне «карт-бланш». Отец в эти часы умирает, прижимая наушники: «Ляльку послушаю... о За-Невской говорит...» Так я и не узнала, слышал ли он меня.

(К 1939 г., к возвращению на «Электросилу».)

Ну да, ну да, были, были тяжелые годы. Но все-таки в конце 39-го (ах, не могу удержаться от восхищения собой!), с волосами жемчужно-золотыми, на второй день после выхода из тюрьмы пришла я в партийный кабинет завода «Электросила».

Прямо в кабинет секретаря парткома, а там сидела Лизка Личнова - ну подумаешь, партизанка по 1917 году! Я тихонечко открыла дверь и сказала: «Лиза, здорово, это я». - «Ольга! - закричала она волчьим голосом. - Стой! Покажи зубы!» Я оскалилась. «Господи! - сказала она. - Целы... Ну ладно, дура, иди, бери свой партбилет». Потом она открыла средний ящик главного стола партбюро, взяла мою кандидатскую карточку, бросила мне ее и говорит: «Ну бери, дура, ну!» Я сказала: «Сейчас, сейчас, я возьму...»

Потом она кинулась мне на шею и зарыдала. Она рыдала и приговаривала: «Ну что они с нами делают? Ну что они с нами делают?»

Я ответила: «Лиза, еще не знаю».

Как он стоял нагой и как я целовала его, стоя на колене перед ним, его ноги, его колени, его бедра, все его прекрасное, прохладное тело, которое могло быть уже завтра изуродовано, растерзано в клочки. Но сейчас оно было прекрасно, молодо, полно сил.

Я целовала его бедра, его живот, его плечи, постепенно подымаясь с колена, и он стоял неподвижно и не смущался, понимая, что это не поцелуй жены и любовницы, но женщины, отпускающей мужчину в бой (но как все женщины - всех мужчин, идущих, уходящих на войну).

Я поднялась, и мы поцеловались в губы долгим и глубоким поцелуем. Нет, мы не желали друг друга, ни он меня, ни я его. Ибо это не было прощанием любовников, но прощанием людей, вступивших в Войну.

Девушка, что пела у заставы, может быть, сегодня умерла.

Да, да, я умерла, та, с вишнями, с утренними рассветами, с белыми ночами,

с тополем, дежурившим под окном.

Сначала листья его становились голубыми, а потом, уже ближе к восходу солнца, зеленели и зеленели.

О, весна без конца и без краю - Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь!
Принимаю! И приветствую звоном щита!

Стихи и обстрел были как бы вне меня, они звучали извне, и на фоне этого звучания проходила вся жизнь, все другие ее звуки, образы, видения. Иногда же стих заглушал все:

Не может сердце жить покоем, Недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем, Теперь твой час настал: молись! Да, да, молись.

Озноб ожесточения все круче пробегал по телу, сумрачный, озаренный восторг все рос - «Теперь твой час настал. Молись!» - Неужели это написал Блок за много лет до сегодняшнего дня? Нет, это я сейчас сама сказала, потому что все верно. - «Доспех тяжел, как перед боем...» - Это я написала. И в ответ откликнулась: как в юности, молюсь тебе сурово...

И я молилась, обращаясь к Родине (тому огромному, страшному, любимому, прошедшему, проходящему через меня этим расплавленным искрящимся потоком).

Как в юности, молюсь тебе сурово и знаю: свет и радость - это ты (и это была - молитва).

Молитва - серебряное ведро, которое опускает человек в свою глубину, чтобы почерпнуть в себе силы, в себе самом, которого он полагает как Бога... Он думает, что это он Богу молится, - нет, он взывает к собственным силам.

Теперь твой час настал! Молись!

И я молилась. Все глубже и глубже опускалось серебряное ведро...

(Серебряное ведро. День штурма. 1941)

А оба моих - Коля и Ирочка - умирали под знаменами. Последними словами Ирочки были слова: «Опустите стяги!»

Откуда она знала это слово? Я не говорила ей его. Она взглянула на стенку уже стекленеющими глазами - гордо, надменно, обиженно и прошептала это повелительно, достойно...

И когда я последний раз, накануне смерти, видела Колю, он тоже надменно, дико глядя перед собою, прошептал: «Склоните знамена».

И я окончательно поняла, что он умирает, потому что вспомнила последнюю фразу Ирочки.

1. I-47

Добровольский, сотрудник Дзержинского, старый большевик. Был заведующим музеем ГПУ - НКВД. Потом арестован, долго мыкался в нетях.

В 1941 году - комиссар Седьмой армии.

Говорит:

- Встречай командующего армией, смотри, чтоб не ушел к немцам или чего с собой не сделал, а то - во (к лицу Добровольского гепеушник подносит сжатый кулак).

Прилетел самолет. Вылезает оттуда Мерецков, небритый, грязный, страшный,

прямо из тюрьмы.

(Далее) Добровольский рассказывал: идет бриться. Добровольскому:

- Ты, что ли, ко мне приставлен? Ну, пойдём на передний край.

Ходит, не сгибаясь, под пулями и минометным огнем, а сам туша - во.

- Товарищ командующий, вы бы побереглись...

- Отстань. Страшно - не ходи рядом. А мне не страшно. Мне жить противно, - понял? Ну, неинтересно мне жить. И если я что захочу с собой сделать, - ты не уследишь. А к немцам я не побегу, - мне у них искать нечего... Я все уже у себя имел...

Я ему говорю:

- Товарищ командующий, забудьте вы о том, что я за вами слежу и будто бы вам не доверяю... Я ведь все сам, такое же как вы, испытал.

- А тебе на голову ссали?

- Нет... этого не было.

- А у меня было. Мне ссали на голову. Один раз они били меня, били, я больше не могу: сел на пол, закрыл руками голову вот так руками, сижу. А они кругом скачут, пинают меня ногами, а какой-то мальчишка, молоденький, - расстегнулся и давай мне на голову мочиться. Долго мочился. А голова у меня - видишь, полуплешивая, седая... Ну вот ты скажи, - как я после этого жить могу.

- Да ведь надо, товарищ командующий. На вас надеются. Видите, какая обстановка.

- Вижу обстановку...

Ну, настает ночь, он говорит:

- Что ж, давай вместе ложиться на эту постель.

Мне страшно его оставить, легли мы вместе, лежим, молчим.

- Не спишь?

- Не сплю, товарищ командующий.

И вот стали мы вспоминать, как у кого «ТАМ» было. Говорим, вспоминаем, - не останавливаться, только когда он голос начинает повышать, я спохватываюсь, говорю:

- Тише... тише, товарищ командующий! Ведь, наверное, за нами обоими следят. Разрешите, проверю обстановку.

Соскакиваю с постели, бегу смотреть, не слушает ли кто у дверей.

И опять говорим друг с другом... Глаз до утра не сомкнули...

<...> Пожелание Кости - иметь в виду XX съезд?

А мы и сами не могли представить, каким сложным и насыщенным он будет.

Мы ощущали приближение огромных перемен, почти геологических сдвигов, и все-таки не могли представить, что эти два года будут так насыщены событиями.

Если бы их просто перечитать, то и тогда это было бы очень много, а ведь они шли через наши сердца и судьбы. О многом, чрезмерно многом надо писать, необходимо описать, пока оно не забыто. Мне нужно вспомнить не только

последние 17 лет своей жизни, но и всю свою раннюю юность (только) для того, чтобы рассказать об одной встрече своей осенью 54-го года с одним товарищем, вернувшимся из лагерей, – Ан. Горелов.

А Валя Балдина – и ее история, вернее, история ее мужа Баршева, трагический конец которой пришел ко мне – и почему-то именно ко мне... Откуда мог знать Оксман, что рассказывает мне о муже подруги детства, с кем играли за Невской заставой в лапту, в упоительное «давай повоображаем», ходили в одну школу, вместе, одновременно влюблялись, поверяли друг другу, замирая и страшась, о первых поцелуях, одновременно – уже всерьез, взаправду влюбились – она в Борьку Лихарева, я в Борьку Корнилова и почти одновременно вышли замуж. Оксман знать ничего не знал об этом... А вот судьба второго мужа Вали пришла ко мне, и конец его был так страшен, что я не смогла рассказать о нем Вале, – вдруг попав к ней в поликлинику со своими зубами...

Во всем этом я вижу какое-то явное предзнаменование, вернее, какой-то особый смысл, – точно кто-то намеренно делает так, чтоб мне стало известно все это, чтоб я написала об этом, не дала ему утонуть в забвении, умереть.

Трагическое поколение. Время отмеряли от самоубийства до самоубийства.

Смерть Есенина...

Есенин – Маяковский – Фадеев.

Смерть Маяковского (задрапированный грузовик) – 1.

(Найти материалы.)

Я еду его хоронить. Меня собирают и напутствуют товарищи по университету, провожают...

Смерть Горького (лафет) – 2.

Смерть Фадеева (автобус на наивысшей скорости!) – 3.

О, наш поэтический мартиролог.

«Мы ощутили, что началась новая эра для нас».

Глава оканчивается убийством Кирова.

(Убийства и самоубийства. «Осторожнее, мы идем по могилам наших друзей...»)

С размаху – «Узел». Печатать надо только вместе, по крайней мере «Первороссийск» и «Узел».

Связь: Маргарита Коршунова.

Я у нее в госпитале, в блокаду, в дни прорыва Ленинграда.

Неразрывно спаять тюрьму с блокадой.

Тюрьма – исток победы над фашизмом, потому что мы знали: тюрьма – это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра – война, и были готовы к ней.

На днях умер Володя Жудин, сын Гали Пленкиной. Вот Галка стала сейчас свободна от своего тягчайшего креста, от бессонниц, от постоянной тревоги и много-много другого, – но это означает его смерть... Так же, как для меня – освобождение от необходимости ходить в сумасшедший дом, отрывать от себя какие-то куски – означала смерть Коли. Да, ты свободна. Тебе легче. Знай, это навсегда. Тебе всегда теперь будет легче, чем было. И это навсегда. В том-то

и ужас, что навсегда. Это навсегда, это никогда, и означает смерть, конец всего, полную безысходность. И вот теперь Юра никогда не обругает, не ударит, не оскорбит меня, но это означает, что и любви его тоже не будет и его не будет рядом со мной, никогда, никогда в жизни, т. е. до моей смерти.

Я уже не только примирилась с этим, но, кажется, стала даже совершенно равнодушна к этому. Это значит, что и я разлюбила его...

Сегодня - обсуждение «Дневных звезд». Надо откинуть от себя все мелкое и тщеславное, - это еще не главная жизнь, хотя надо постараться сделать свое выступление таким, чтоб оно внесло дыхание настоящей жизни. Мое тщеславие - не в счет и не настоящая жизнь, и отношение ко мне сегодня Юры - второстепенно (хотя и оно жизнь, и то, что я думаю о нашей встрече, тоже жизнь, - но не она, не она главное). Главное - исчезновение Володи из мира, из жизни, которую он так неистово любил, несмотря на свою расслабленность, главное - в горе Гали, в той пустоте, которая сейчас ее окружает, и в невозможности привыкнуть к ней, смириться с нею. Главное в том, что мы с нею знаем о главной, о страшной, трагической и безумно героической жизни народа, полной утрат, бедствий и мужественного терпения, мы живем этой народной жизнью, мы знаем о ней, все время помним, и то, что мы храним в себе эту жизнь, невидимо и гордо отделяет нас от тех присутствующих, кто полон суетой, тщеславием, заботой о мелких выгодах своих, о своем положении в обществе, как, например, мой бывший супруг. Мы будем полны смирением и важностью, смиренной важностью и спокойствием, важным спокойствием, как владеющие тайной.

Вполоборота, о печаль, На равнодушных поглядела...

Да, вот так. Все время помня о главном, гордо помня, не давая себе увлечься ни славословием, ни хулой.

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм...

И все-таки должна признаться и записать, поскольку я вновь возвращаюсь к дневнику, - что мысль о том, как я буду держаться и какое это впечатление произведет на Юру, - последнее занимает меня больше всего. Я должна растерзать ему сердце, вот пусть-ка он ахнет - ах, так вот что я потерял! Пусть ахнет и ужаснется, на что променял Меня, пусть поймет, что меня у него не будет тоже никогда и никак. А то он готов пристроиться в друзья (тоже мне друг, едва не убивший меня, убивавший сознательно и методически несколько лет подряд, фронтовой товарищ, бросивший меня умирающей и на рысях побежавший строить новую семью). Но не этим, все же не этим, хоть и почти неодолимым, должна быть полна душа. Никто, кроме меня, не знает, какого мужества стоили мне «Дневные звезды», - так, чтоб рваться к ним сквозь женское свое унижение, отчаяние, одиночество; сквозь «закрытые письма ЦК», хотела написать - сквозь соблазны конъюнктурного успеха с целью «обеления», - но с радостью могу сказать, что уже давно не владеют мною эти соблазны: слишком горькая жизнь моя отучила меня от них полностью.

Сегодня утром умер Михаил Михайлович Зощенко. Так все это меня перевернуло, что не только работать не могу, а отвечаю невпопад и даже забыла, отдала Маргошке свою рукопись или потеряла ее. Я ни в чем не могу упрекнуть себя по отношению к Михаилу Михайловичу. Не только ни словом, ни делом не предала его в катастрофические дни 46-го года, восприняла это как личную катастрофу, чем могла, старалась согреть. В позапрошлом году, после XX съезда, первой и, кажется, единственной ринулась в драку за него, говоря о необходимости пересмотра знаменитого постановления и доклада Жданова и отношения к Зощенко вообще. И все же чувство глубокой вины своей за трагическую судьбу его легло сегодня на душу как камень. Впрочем... Впрочем, и никогда-то оно меня и не покидало. Чувство вины и стыда и перед ним, и перед Ахматовой, и Пастернаком и многими другими напрасно и варварски травимыми и загубленными художниками. Какой он был чистый, смелый, мужественный человек, непримиримый к подлости, лжи, лицемерию и хамству.

«Я бросаю вам перчатку, поднимайте», – сказал он, маленький, изящный, беззащитный, когда его в очередной раз прорабатывали и воспитывали за «Парусиновый портфель». Эх, невозможно вспоминать обо всем. А как я встретила его тогда, в 46-м, на Пантелеймоновской, сжавшегося к стене, как он мужественно и, главное, скромно нес свой ослепительно страшный венец, возложенный на него варварами в этом распроклятом постановлении. Он не кичился своим непомерным страданием, не бравировал мужеством, он просто был непреклонен, он не мог иначе. Как вспоминается этот позор, этот день, когда мы вернулись из Риги, узнали обо всем... Как-то будут хоронить его наши держиморды? Поди, не дадут народу проститься с ним, не поместят даже некролога. Нет, решительно ничего не могу, даже писать. Завтра домой. Надо собрать силы и закончить отрывок, в который так страшно вклинилась эта утрата.

22/VII-58

Когда я шла от Штейна, после того как он, Штейн и Збарский, главный мумификатор Ленина, Женечка говорил про него: «ходит, примеривается к скамеечке», сочиняли пьесу «Суд чести» о Раскине и Клюевой. (Пока все помню.) Они были в ажиотаже. Они говорили о том как он закатил припадок стенокардии, а она, кликушествуя кричала: «Мой отец погиб от рака, и я дала себе слово бороться против злокачественных опухолей, даже если бы мне пришлось всю жизнь сидеть в каменном мешке без света, без людей». – «Ты подумай, Ольга, какая сволочь как прикидывается», – я молчала. «Ах, какая пьеса, – сказал Штейн. – Ольга, правда, какая пьеса?» – «Не знаю, – сказала я, – а что, они действительно изобрели средство против рака?» – «Да, но ведь они низкопоклонствовали, просили себе бразильских пауков, приняли в дар по авторучке... Ну, что бы ты с ними сделала?» – «А я бы поставила им золотой памятник». – «Нет, Ольга, ты не наш человек». – «Смотря кем вы себя считаете. Вернее всего, не ваш. Нет не ваш». Выскочила. Иду по страшной, завьюженной улице Горького. Вдруг во вьюге – Миша Светлов. «Ох, Миша!» – излагаю примерно, что было. «Ну, ладно, старуха. Ну... дура дура... Ну пойдем, согреемся...» – в «Коктейль-холл», где он завсегда. «А, брось, Миша, ну что ты от меня хочешь? Почему ты хочешь, чтоб меня принимали в Кремле?» – «Потому что я не хочу, чтоб ты была на Лубянке...»

О «Слезе»

«Построили утопический социализм, приняли его за научный и стали жить в нем» (Коля).

Честно перестраиваться, принимая все как должное.

Интеллигент, в порыве патриотизма – не самодонесись.

Каждая премьера Шварца – праздник. Шварц в кино. «Дон Кихот». Женя всюду оставался самим собой. «Голый король» и мой «Женя Ефремов».

А «Дракон» все продолжал ходить по рукам в гектографированном экземпляре...

Его болезнь. Евангелие.

Его смерть. Мне не дали говорить. Но вот что хотела я сказать. И вот что хотела я сказать о Зоценко. И тоже не дали.

Премьера «Дракона». Событие. Оно всячески снова замалчивалось.

Появление гнусных статей. По мере того как шло нарастание культовых сторон в правлении Хрущева, по мере того как все туже показывала себя «кузькина мать» в области искусства (уже широко известная к тому времени, как политическая деятельница международного масштаба), – все тяжелее становилось рыцарю Ланцелоту.

И бургомистры своего добились – «Дракон» был снят.

Но судьбы поэта не займись. Он двинется, дымясь, из-под судеб, расплющенных в лепеху. И люди скажут, как про торф: горит такого-то эпоха. Каждое новое запрещение «Дракона» только подтверждало его жизненность и актуальность. «Дракон» шире политики – вот в чем дело, в том смысле, как это говорил Коля.

Николай и Шварцы. Коля – дичок и гений – по-мальчишечьи втайне обожал Шварца, а Шварцы – его.

Он сторонился Германа, других моих друзей и приятелей по литературе, а Шварца любил, и Анну Андреевну любил. Как я любила наслаждаться ими вдвоем – Анной Андреевной и Евгением Львовичем – у себя, или у Германов, или у него.

[Над строкой: «Эйхенбаум, Андроников (танцевавший Уланову) – двойное чудо!»]

Они были изящны, той интеллигентной изящностью, которая как дар, как кровь, – изящный внутренне и внешне, – свойство, почти утраченное нами и совершенно не известное новому поколению поэтов. Не изысканные, не стилиги – о, какие космические пропасти лежат между этими понятиями, а именно изящны, – как, например, изящен был Светлов, Маяковский, как несомненно изящен Твардовский. А вот Инбер – манерна.

Их изящество не исключает ни глубины чувств, ни страстей. Я ведь пишу о Шварце – а говорю, и даже подробно (об Ахматовой у ворот Фонтанного дома, за пошивкой мешков, сочинением четверостиший), о Николае, о моем папе, любившем его, и как любили его Шварцы! – но как я могу говорить о Жене без всех этих людей, дорогих мне, любивших его и любимых им? Он немислим вне людей, он жил, и мыслил, и творил не только для них, но и ими... Писал ими, как красками, образы свои, то светлые, то зловещие. Он был часть нас, – а Мы – органичная часть народа...

Я долго не могла начать писать воспоминания об Е. Л. Шварце, пока не поняла, что я и не смогу написать о нем «воспоминания», пока не поняла, что писать о нем – это писать о своей, о моей жизни, – так как он неотторжимая часть моей жизни, часть души моей, кажется, еще живой.

Мне писать о нем – вспоминать его – разве это перечислять запомнившиеся его афоризмы, шутки, остроты? Рассказать лишь его повадки, как он, сдерживаясь, прыскал и прикрывал при этом глаза дрожащей своей рукой? Мне рассказывать о нем – это рассказывать чуть ли не обо всем горчайшем и мужественном отрезке жизни, отрезке пути духовного, – такой след его неизгладимо хранится во мне и, я знаю, почти во всех людях, кто близко знал его.

Как мы принимали Пристли и боялись есть то, что «выставлено». Шварц спросил:

– А как ты думаешь, это можно съесть?

Трясущимися руками завернул бутерброд и спросил меня:

– А как ты думаешь, могу я это Кате отнести? Это не воровство?

– Женя...

– Да ну, мне противно.

– А Пристли сказал: «Такой завтрак не мог бы выставить английский король».

– Ах король?! Ну, где ему...

Встреча с первороссиянином Гавриловым.

3/VIII-60

2 ч. ночи.

Хотя уже очень поздно и страшно болит голова, не могу не записать о встрече с первороссиянином Михаилом Ивановичем Гавриловым. Ожидала увидеть непременно глубокого старика, и даже в доме готовились к приему именно старичка и уже именовали его «старичок». «А чем же мы угостим старичка? Ведь не раками же!» – и мы ходили с Наташкой в магазин без продавца – искать для старика мягонького кексика или чего-нибудь такого...

Первороссийск. Первороссияне... Это уже было так далеко. Только история священная, только поэзия теряется в ретроспективе веков...

А пришел высокий, плечистый, с довольно густыми полуседыми, откинутыми назад волосами, очень крепкий пожилой человек – совсем не намного старше меня. Он был так крепок, так подтянуто-спортивен, так профессионально объяснил мне, что делать с уснувшими раками, – поскольку он рыболов и охотник, – что, когда мы сели в столовой друг против друга, – почти истерический смех одолел меня: хорош старичок! И вдруг радостно и озорно и до изумления по-новому открылось: да ведь он – мой современник, мой «годок», он вовсе не где-то далеко, он вовсе не только поэзия, ее желанная, но несбыточная мечта, или вымысел мой, – он живой, реальный человек, такой же, как я. Да ведь детство его в Первороссийске совпадало с моим детством в Угличе!

И вот он заговорил, нервно, возбужденно, я бы сказала, даже болезненно...

Его первые фразы были вызваны моим идиотским смехом и затем попытками разъяснить ему, почему я хохочу. Да потому, что он не старик! И я рада этому!..

Но он не понял этого. Поначалу он вроде даже обиделся, его глаза с широко разлитыми зрачками немножко заметались. Он заговорил:

– Я, конечно, был в коммуне ребенком, подростком, но ведь, знаете, детская память крепче всего схватывает видения мира и держит их всю жизнь, и эти впечатления формируют человека. (Я начала слушать с волнением – да ведь он же говорит мои мысли из «Дневных звезд».)

И поэтому Первороссийск бессмертен, хотя исчезла сама точка – она уже почти затоплена. Первороссийск у меня тут, в груди. Он для меня – святыня, что бы со мной ни стало. Он в людях.

КАПИТАЛЬНАЯ МЫСЛЬ, которую надо будет провести красной нитью:

Первороссийск – бессмертен в людях, он вообще – в людях, в людях дела, а не в колхозах, совхозах и т. п.

Это **ВТОРАЯ** капитальная мысль, а первая – о нашей современности с первороссиянами. О совместном, едином во времени и пространстве существовании с легендами, поэзией, историей. Сосуществование времен! Оно – в человеке.

Он говорил о двадцатом годе – как они дрожали, ожидая расстрела при отходе Колчака, а в это время в морозной келье мы с Муськой... а в это время на VIII съезде Советов... Единовременность, симфоничность происходящего...

И вот в нем навсегда осталось это незыблемое, чистое, священное – Коммуна. И биография его до ужаса схожа с моей и с замыслом всего первого тома

«Дневных», которых он тогда не читал. В жизни его было и подозрение <неразб.>. Незаслуженное, облыжное обвинение, подозрение начинается с того, что он был «в какой-то коммуне», тогда как сказано товарищем Сталиным, что это «перегиб» и надо не коммуны, но артели, – исключение из партии, гонения, не дают работать в полную силу и с радостью (как мне – писать правду), сына Первороссийска гнут, калечат, терзают... Мне становится страшно, как будто бы я слышу самое себя, – как во время галлюцинации, самые затаенные мысли, даже от себя затаенные, загнанные глубоко внутрь. На минуту нервы начинают сдавать, и сверкает мысль: «Да Гаврилов ли это? А может, вовсе и нет никого, а мне все это только чудится?»

Минутами – как карамазовский черт... Потому что первороссиянин говорит МОИМИ МЫСЛЯМИ, моими словами, хотя и сбивчиво, и почти косноязычно.

– ...И одиночество, такое одиночество... Никого! Все рассыпались, никто не доверяет друг другу...

Разве так было в коммуне? Разве за это боролась коммуна?

Я был подростком, я многого не сознавал, но я вижу, что я не за это боролся, и пахал на себе, и пропалывал хлеба, руки до крови рани острыми сорняками... А теперь я вроде скрывать должен, что я был коммунарком, мне говорят: «Вы поторопились, вы перегнули». Да что, чем мы перегнули? Тем, что друг за друга держались и верили друг другу?! А теперь – да ведь это РАЗРУШАЕТСЯ РУССКИЙ ХАРАКТЕР, потому что ведь русский мужик искони, всю жизнь на доверии друг к другу строил. Дрались, друг друга подвздох порой били, но – единение. Открытая душа, поддержка друг друга. На русском характере Первороссийск взошел...

Коммуна пришла ко мне как раз в эти годы – 38–39-е, когда коммунаров и меня гнали, и мне как раз в эти годы, по этим же мотивам «зарезали» сценарий о Первороссийске. Я обратилась к ней снова в 1949 году, после краха всеобщего и при первых признаках краха неверного военного счастья. – Спаси меня...<...>

М. И. Гаврилов:

«Распадение русского характера, распад русского характера», – это он о ежовско-бериевских временах говорит.

Русский человек добр, общителен, доверчив, приветлив, правдив... А что из него сделали?!

О коммунарах: – Мы рассеялись, мы не искали друг друга, и никто не интересовался нами. Никто не спросил: «А как вы теперь живете?..» Вот только вы и вспомнили – в поэме... Я и пришел.

(Но это неверно. Помнят, и помогают, и собирают, и памятники ставят...)

Но вот о чем-то главном – забыли. *Ушел дух коммуны*. Не сохранен и остов. На месте ее – моря и сталинские стройки.

4/VIII-60

Все время продолжаю думать о вчерашнем визите Гаврилова. Вот я уже и завершила, собственно говоря, поездку в Первороссийск – не в пространстве, а в глубину собственной души, биографии, – души и биографии поколения, путешествия в «Трагедию всех трагедий» в ее истории и развитии и сегодняшнем, современном состоянии. Да, в частности, до чего же все происходящее с ним

(с нами) воистину современно. (О? если б знали обо всем этом там, в мире...)
Вот она, отразившаяся, точнее – жаждущая отражения во мне – дневная звезда.

Командировка «в собственное сердце».

И ведь – он летел на Бухтарму в качестве «авторского надзора» со стороны Ленгидропроекта, он гидротехник, он специалист по бетону и участвовал в разработке проекта плотины – а в скрытой своей духовной жизни – вот он виден пока только мне. Это я, первая, увидела его во всей негибкости внутренней, при согбенности внешней (не смог-таки добороться за себя в партии до конца, как хотя бы доборолась я, – и в те годы, и в 1954-м, – это не в порядке хвастовства, а в порядке общего «зачета очков» за нашим поколением!

– Я первая увидела его с Китежем, – малой церковкой в душе, – теперь смотрите же на них все...

Вот продолжение моей поэмы пришло ко мне на дом, конец моей книги – так, как он и был задуман, пришел ко мне, – в образе и индивидуальности человеческой.

Ведь по плану-то книга кончается «Узлом» – то есть тюрьмой, то есть испытанием, невиданным в истории человечества, сквозь которое, вернее – из которого человек Первороссийска, дитя коммуны, – вышел с Китежем в душе, пусть безмолвным, бесколокольным, но существующим, реальным... Мой замысел пришел ко мне, и я его испугалась, – настолько это было мое и уже не мое, – двойник, галлюцинация, чудо, – как же так оно уже отделилось от меня, – еще до того, как я его воплотила? Оно уже существует помимо меня.

Но это лишь означает верность ходам моих философских (теперь не побоюсь произнести это слово) суждений и художнических устремлений и планов. Никакой гордыни, никаких самоупоений, но твердое знание своей силы, предназначения и обязанностей. Да, «вас Господь сподобил жить в дни мои...», но вот только теперь видно начало подлинной работы – начало подвига... Ведь я – их память и их язык. «Начало подвига. К нему призвал Господь». Град Китеж... Никакой суетни и никакой болтовни. Не расплескивать, как уже почти начала. Быть может, сказать только все – Юре.

Герой приходит к писателю.

Отлично знаю, что все, пришедшее ко мне и задуманное, идет «на запрет», но надменно улыбаюсь над этим, потому что знаю: это правда и она пройдет. Писать только ее. А если вновь принять за нее утеснения и обиды, – пускай. Принять.

...Ну и долго же я не отчитывалась в своем летнем путешествии. Иные писатели успели за это время съездить кто в Италию, кто в Индию, кто в Монтевидео, но я была дальше всех этим летом. Я путешествовала в прошлое, настоящее и будущее судьбы моей страны. Моей судьбы.

Я ехала, летела и плыла по следам поэмы «Первороссийск».

Я узнала, что один первороссиянин (о нем речь пойдет впереди) был подростком в Первороссийске и что он – один из тех инженеров, которые возводят плотину и затопляют исторический Первороссийск. Первое российское общество землеробов-коммунаров. Его ядро – Обуховский завод. Второе российское общество землеробов. Ядро – Семянниковский завод. И третье – коммуну «Солнц», или «Солнечное», – тоже питерский. Это почти все люди Невской заставы, места моей родины. И над всем этим сейчас расстилается Бухтарминское море.

...Потом, на катере «Академик Графтио», вместе с двумя работниками райкома и еще двумя журналистами мы шли по Бухтарминскому морю. Работники райкома были местные старожилы и говорили: «Над рощей идем...», «Над второй российской...», «А вот и Первороссийск».

Первороссийск, который с помощью Ленина был создан петроградскими рабочими. До этого мечтали о городе Солнца, о фаланстерах, о коммунизме. Питерские рабочие вон там, на отрогах Алтая, построили эти коммуны. Коммуны – в сердцах людей.

Я попросила причалить к остатку того урочища, которое было Первороссийском. Там, вдалеке, была могила первороссиян, но не первооснователей, а уже колхозников. Ведь на месте разгромленного колчаковцами Первороссийска возник в тридцатые годы колхоз «Первороссийск». И мы дошли до этой могилы. Море, конечно, затопит и этот отрезок земли. Пока мы шли туда, буйство трав и цветов поразило меня. Но это были дикие травы. Выше человеческого роста вздымалась дикая конопля, источая удушающий запах мечты. Почти до колен поднималась полынь со своим страшным запахом разочарования и горя... В лицо хлестали лебеда и бурьян... Так я шла по земле дерзаний, земле мечты.

В главе «Твоя любовь» не забывать – Китеж.

Китежане (они же – коммунары, могикане). Возраст тут ни при чем, – это те, кто еще верит в Коммуну и полагает, что строит ее.

Пейзаж Бухтарминского моря. Лунный, неземной пейзаж, созданный человеком («...если б горы от природы были такие маленькие, а то ведь это только верхушки, только вершины. Оставлены одни вершины – изо всей архитектуры, – поэтому такой странный пейзаж»).

Я жадно вслушивалась: зазвонят ли колокола нашего Китежа.

Они благовестили...

...Над затонувшими затопленными коммунарами, над градом Китежем идем. (Углич – Китеж. Калязинская колокольня.)

...И не было ни духа, ни остова Коммуны, – не слышно было благовеста, – да, она была опущена на совершенно неподвижную глубину. Нынешний январский Пленум ЦК (январь 61 г.) ужасающе подтверждает это. Липа, показуха, ложь – все это привело Коммуну к теперешнему ее состоянию. Ложь разрушила ее изнутри. Ложь была противопоказана народу-правдоискателю. Ее ему навязали, – и вот произошло трагическое (о, неужели необратимое?!) разрушение русского характера (точные его слова) – распад русского характера...

Но, быть может, он тоже, как град Китеж, опустился куда-то глубоко и иногда благовестит оттуда?..

«Читая роман Кетли, думала, что можно написать роман о цехе фантазеров. Начало 30-х, о том, как строили, строили быт, бытовую коммуну, и ничего не получилось. Это будет архисовременно. Как потом, когда уже ничего не выходило, они стали притворяться, что, напротив, все чудесно получается. Им ведь жаль было мечты. Стали лицемерить и фальшивить, и тут уж окончательно все погубило, и кто-то не выдержал и завопил».

Ну как, что же дальше? Где же концы и новые начала наши? Но – без всяких преувеличений – кажется, вылезаю. Главное – несмотря на страшнейшую слабость физическую, на ужаснейшее состояние зубов – появляется некоторая внутренняя устойчивость, – вернее, остойчивость, которая отсутствовала начисто перед болезнью. Собственно, перед гриппом я была гораздо более больна, чем сейчас...

Вот в последнем, каком-то, вернее, предпоследнем, движении по завершению сценария – вся и загвоздка, здесь-то и держит меня. Слишком я растянула работу, и слишком комкообразно, рывками шла она, перемежаясь болезнями, выступлениями и бессонницами.

Только не кидаться из стороны в сторону. Осталось железное время на все – на книгу стихов, на зубы, на сценарий и так далее.

Вот опять вскакиваю и начинаю метаться. Стоп. Не могу работать на машинке – все кажется, что мешаю тем, кто за стеной. Звать ли завтра машинистку или справлюсь одна? Сейчас лучше лягу и подумаю – все-таки еще кружится голова. И много надо записать о жизни. И ответить Сереже Наровчатову и Павлу Антокольскому – а Мишеньке Светлову уже не ответить – и написать о Жене Шварце – так, как будто бы и нет ни цензуры, и ничего такого, – написать, как надо – как о части своей жизни, – а как я еще иначе могу писать о нем? Он и Катя не простили бы мне подчисток, фальши приукрашения их, холодности и, главное, посторонности – в решающие моменты жизни Женя был вот такой-то...

Как мы познакомились. Читали в школе рядом с тем домом, где я только что родила от Корнилова Ирку. Он сказал: «А сегодня у меня родилась дочка».

<...>

Из дневниковой записи 7 февраля 1965 года

Рецензия о «Дракон». Дракон. Разворот. Вот чем он навеки вошел в меня. Начало войны. Война. После войны. А 14 августа 1946 года мое выступление, на другой день прибегает Женя и говорит: «Стоит, шейка такая тоненькая, жалкая и лепечет что-то о том, что неверно рассылают билеты».

Я не могу вспоминать о нем по кусочкам, но только в целом. И как свет, мой свет и моя опора – так же, как Зощенко, Ахматова, Светлов, Галя.

Он сливается во мне с моими основными думами, сомнениями, радостями, муками смертными, гордостью самой чистой и тайной, раздумьями самыми отчаянными, оценкой и переоценкой основных явлений.

Детали при этом не в счет, их можно нанизывать, но вот важнейшее: как прибежал хвастаться успехом в Германии. И как это действительно важно – его успех. И тут надо рассказать, какой он был воистину мировой писатель. Был и есть. Такие, как он, – не умирают. Я счастлива, что всегда ощущала его бессмертие и великость рядом с собою – и не как нечто величественное, чуждое, возвышающееся надо мною, но как нечто нежно, запросто, непередаваемо естественно существующее не только рядом, но в тебе самом. Так было и со Светловым, и с Заболоцким, и с Пастернаком, – хотя с каждым по-разному. Обычность безграничного, величайшего, ощущение его естественности, закономерности... В то время как, например, – даже за одним гостевым столом – я испытываю холод рядом с Шостаковичем. Мысль о том, что это – Шостакович, – непрерывно пронзает меня.

Потом, как приходил Женя хвастаться, что Америка приглашает его прислать свою автобиографию в «Словарь великих людей», – хвастаться и потешаться: «Где же я буду? Между Папой Пием и Карлом X?» Он ничуть не кокетничал, – он был искренен, он искренне радовался успеху в ГДР, приглашению в Америку и искренне потешался над последним. Потом я получила такое же, и мы вдоволь посмеялись над этим.

<...>

Обязательно развернуто, как он был с немцами в «Астории» из «Доброго утра, люди!»

Женя на даче, толстый, милый, прыскающий со своим котом, и Катя с ее цветами, Томкой, чистотой, бисерными изделиями, и их гостеприимство и уют – и отрывки

из «Медведя» – «Обыкновенного чуда» – прозрения, радость несказанная, чистая, огромная. Манера Жени читать, потирая себя по груди. Его улыбка. Его благодушие. А за благодушием этим – такая горечь, такая боль...

Я узнала тоску одиноких, в тиши проклиняющих милое имя. И позор и восторг обнаженья души перед недругами своими. Так мало в мире нас, людей, осталось, что можно шепотом произнести забытое людское слово: жалость, чтобы опять друг друга обрести. За все и за всех виноватой, душе не сказавшей – «прости», одной мне из этой палаты, одной никогда не уйти. А уж путь поколения вот как прост – внимательно погляди: позади – кресты. Кругом – погост. И еще кресты – впереди.

...Память – чудо, совершенное чудо мира, природы и человека, воистину божественный дар. Она неистребима.

Забвение истории своей родины, страданий своей родины, своих лучших болей и радостей, – связанных с ней испытаний души – тягчайший грех. Недаром в древности говорили:

– Если забуду тебя, Иерусалиме...

Забвение каралось немотой и параличом – бездействием, «на главу веселия своего», то есть жизни.

И все-таки самое главное – Коля, история нашей истощной любви и веры.

Письма Г. П. Макогоненко

5/XII-41

Вечер. Я проснулась, как обычно теперь, от постылого грохота артобстрела...

Мне казалось, что, покинув Ленинград, я внутренне умру, перестану писать, как-то обмякну. Нет! Я буду много работать, и в том же направлении, как здесь, – я буду работать для Ленинграда, для людей. Я буду писать. Я напишу еще хорошие вещи, а после войны – очень хорошие. Не смейся... мне сейчас кажется так, я уверена именно в этом... Я не рассказывала тебе о том, как страшно умирали мои дочки: Ириша восемь часов, до последнего вздоха умоляла меня спасти ее, – она понимала, что умирает. И какими словами умоляла, как обещала «сделать все-все, что ты захочешь, только дай мне сто раз камфары, чтоб я не умирала». Да и Майка тоже, – она первый раз мне сказала «мама» и твердила это слово за день до смерти, уже умирающая. А потом эти аварии... когда двоих убили у меня до появления на свет, оставив перспективу почти полной безнадежности в этом отношении.

...И вдруг в такие смертные дни, в дни крови, бесчеловечного истребления людей, в дни, отрицающие жизнь, в городе, где смертью грозит каждый час... мне возвращается то, что было так безжалостно и страшно отнято. Разве это не чудо? Это чудо, это доверие жизни, это дар и, может быть, ее награда мне.

6/XII-41

Вчера писала тебе при свечке – нет огня, а над свечкой пристроила кофейник на треножничке, и, представь, он согрелся, и я выпила кофе с твоим сахаром. Вот романтика гражданской, – нет, отечественной войны, как она есть! Не кончила письма, потому что началась тревога, и сразу – очень близко – три бомбы. И мой кофейничек скатился на пол, и все поехало. Я в эту минуту очень испугалась! Оказалось, что все три рухнули в наш переулок, в дом, где живут Фриц и Эрнст. Они спаслись буквально чудом, в одной комнате остались висеть. Сегодня иду по переулочку и слышу ликующий возглас откуда-то сверху: «Ольга Федоровна, привет, здравствуйте!» Поднимаю голову – в окне четвертого этажа стоит Фриц и сбрасывает оттуда свои вещи в тючках, а залез он туда по пожарной лестнице, – лестница стоит рядом. Дом снаружи только в трещинах. Внутри – прямое! Вот она опять была в двух шагах от меня.

7/XII-41

Это было пятого вечером, вернее – ночью, немного позднее того, как ты провалился под лед. Мне только что принесли твою записку – пять минут назад. Вчера я начала писать тебе это, но опять не было огня, – теперь его не будет в домах вообще, а также не будет угля, – у нас в квартире второй день ниже нуля.

...Эта чудесная, милая женщина с плаката уверяла меня, что ты вне опасности теперь... Но она сказала: «Наши девушки его спасли». Господи, значит, это могло быть, что ты мог погибнуть?.. А мы уедем, видимо, десятого. Через озеро. Ты не волнуйся, – твой вариант навряд ли повторится, ведь в те дни была все же оттепель, а вчера и сегодня – дикие морозы, сейчас – 25. Так что лед, видимо, окреп. А опасность, – если правду-то говорить, опаснее всего в Ленинграде. 5 декабря под грохот и свист я поехала в воинскую часть, где была раньше, читала новое стихотворение, написанное в ожидании машины, во время бомбежки, – меня с ним запишут, приедешь – если захочешь, послушай, ладно? Командиры были сверхдовольны, даже одарили меня плиткой шоколада и банкой витаминов С, и отлично накормили, и вообще, несмотря на мою типично ленинградскую внешность, ходили вокруг меня на бровях, и я уже подумала: «А не остаться ли?» Но когда ночью приехала домой, обнаружила, что Николай лежит с перевязанной

головой, – у него на лестнице был припадок, он пропорол себе лоб, очень разбился, лежит второй день. Ты желал мне то спокойной, то доброй ночи, а это звучало почти иронически (ты не знал, конечно), ведь припадки-то самые злейшие у него почти исключительно по ночам, а последнее время их было по три-четыре за ночь, очень тяжелых, и пять дней подряд, со второго числа, без перерыва... Не думай только, что я жалуясь на судьбу, и не жалею меня за это, – это было бы, наверно, совсем неверно...

Короче говоря, если ехать, то с первой оказией. Я уверена, что все пройдет хорошо, ну а бомбежка дороги – дело счастья. Если же вдруг придется остаться в Ленинграде, я не испугаюсь, поверь!.. Мы пока решили держать курс – вдвоем – на Архангельск, но там видно будет. Напиши и обязательно протелеграфь о себе на Вологду до востребования, – уж там-то я буду. Я оставлю тебе в твоём столе ещё и записочку, и фото, и, может быть, стихи, кое-какие распоряжения и немножко настоящего кофе – пей его один, за меня, по-моему свари, ладно?..

12/XII-41

Неужели я так и не дождусь твоего возвращения? Если пойдет машина – я уеду и не буду ждать обещанного самолета... Вчера стало так плохо с сердцем, что я испугалась – не ложусь ли уж?

О, как мне не хочется уезжать из Ленинграда! Даже этот смертельный холод и тьма в квартирах не очень страшат меня. Если б не падали силы, что превращает меня в ненужную, еле волочашую ноги единицу! Здесь просто свирепая жизнь...

Вот ещё одно знакомство, а может быть, в будущем и дружбу подарила мне война, – это комиссар одной армии Х. Он чудесный дядька... Я сказала ему, что хочу уехать, – он уговаривал остаться, говорил, что скоро будет легче... Мне очень хочется написать о нём – о том, что я от него услышала, хорошо написать. Мне очень захотелось остаться... вместе со всеми этими хорошими, смелыми людьми, так терпеливо выносящими все сегодняшние муки в заваленном снегом, тихом-тихом, голодном Ленинграде, чающими великого покоя и света. *Post tenebras spero lucem* – «после тьмы надеюсь на свет» – любимейшее изречение Сервантеса и его Дон-Кихота, бессмертная, незыблемая, неистребимая опора человеческого духа...

14/XII-41

А я ещё здесь! Отлично! Получены эвакуационные свидетельства, сданы карточки, съеден хлеб, взятый на два дня вперед, но я рада... Боже мой, вот уже начались у нас успехи, – ведь надо ещё только немножко потерпеть – а там будет лучше... Но Николай просит и настаивает на отъезде... Ладно, я уеду...

8/III-42

...Пишу тебе на машинке – так быстрее и убористее, а написать тебе хочется очень много... Я так рада, что вчера приехала Муська. Я тосковала отчаянно, смертно, – так, что порой ненавидела и Муську, и тебя за то, что выпихнули меня из Ленинграда, оторвали от себя, от горькой ленинградской жизни. Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи – все это отлично, но как объяснить тебе, что это ещё вовсе не жизнь – это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ – нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи. Я только теперь вполне ощутила, каким, несмотря на все наши коммунальные ужасы, воздухом дышали мы в Ленинграде: высокогорным, разреженным, очень чистым... Я мечтаю о том, чтобы поскорее вернуться в Ленинград, я просто не могу здесь жить и не

смогу, наверное...

...Мне кажется, что окончательно установила равнозначность, равноправие так называемого личного и общественного. Да, впрочем, при чем тут теоретические обоснования? Ты и Ленинград неотделимы для меня. Все остальные варианты (типа глубокого тыла, «работы в Москве» – постоянной) – это обкрадывание самой себя, вообще – ханжество и лицемерие, и – как бы все-таки объяснить тебе – страшное укорочение жизни...

Не думай, что все это – следствие того, что пока мои, вернее, наши планы в Москве, как говорится, выходят боком... Впрочем, я напишу тебе кратенько все по порядку, и тогда тебе станет понятно многое со второго абзаца.

На самолете меня не укачало. Я стала смотреть в окошко, как только он оторвался от земли. Мы летели низко, на бреющем, и было хорошо видно всю землю внизу. Меня как-то поразило, что она – *пустая*: елки, елки, домики, снежные равнины и – никакой войны сверху не видно, никакого кольца – ни орудий, ни людей, только земля, леса в снегу, поля – пространство безлюдное совершенно, безмолвное. И так жалко мне было эту безмолвную, тихую и каждой пядью своею воющую, израненную землю, на которой – за елками где-то – затерян полумертвый Ленинград, что проплакала почти до самой Хвойной. Над озером на нас наскочило шесть «мессершмиттов», один пикировал на наш «Дуглас», мы шли на очень большой скорости, а наше сопровождение дралось над нами, мы шли под боем. Я увидела в окошечко, как падал один самолет, как он ткнулся в полянку, между елок, и сразу задымился. Это было как-то очень просто, вовсе не так эффектно, как показывают в кино.

Мы остановились в Хвойной на ночь, в очень чистом домике, где горело электричество, и был самовар, и было очень тепло. Среди пассажиров я встретила свою школьную подругу с сыном, – ее вывозил из Ленинграда ее муж, замначштаба 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, сам бывший ленинградец. Он вез также одну пожилую женщину – мать медсестры, которая выходила его от очень тяжелой раны после взятия нами Ростова. Потом, было еще три человека, командированных в Ленинград по разным делам войны.

Мы говорили только о Ленинграде, гвардеец знал меня раньше, по довоенным моим вещам, он попросил прочесть что-нибудь из оборонных произведений. Я прочла им «Февральский дневник», и после этого они попросили меня прочесть его еще два раза, с начала до конца, и один дядька потом сидел и списывал: он ехал в Казань, к эвакуированному из Ленинграда заводу (оптическому), и говорил: «Я нашим ничего не буду рассказывать о Ленинграде, а только прочту эту вашу поэму, и они все, все поймут. Поплачут, конечно, но все же будут за ленинградцев спокойны, что не сдадутся».

А гвардеец произнес после того, как я кончила читать, речь, – и он говорил примерно так: «Да, товарищи, и вот настанет такой день, когда Ленинград будет освобожден, и в этот день дадут огонь, конечно, на целый вечер его дадут, и мы будем приветствовать наши войска в ватниках и в этих страшных полумасках, и поставим на домах статуи наших бойцов ПВО...» В общем, изложил всю поэму своими словами. А женщина, мать медсестры, спасшей его, говорила: «Как вы правильно все подметили, и вот насчет бидончика, и насчет того, что в этом доме от окна дуло, – ведь нам понятно, что это после бомбежки окна были перебитые». А я об этом им, конечно, не говорила. Вот – к вопросу о необходимости «личное объяснить». Я пишу это тебе не для хвастовства, а к тому, что вновь с радостью убеждаюсь, что простые-то, не литературные люди не хуже, а лучше понимают стихи, и напрасно, напрасно товарищи «знатоки» и опекуны так тщательно пекутся о том – дойдет ли до них, поймут ли они и т. д.

А по приезде в Москву, через два дня, после разговора с Тихоновым, – я провела у него весь день, он чудеснейший, какой-то новый, очень строгий и в то же время по-новому мягкий, – после разговора с Еголиным я убедилась, что о Ленинграде ничего не знают.

Много, конечно, сделал Тихонов, – до него совершенно ни у кого не было даже приближенного представления о том, что переживает город. Понимаешь, говорили, что ленинградцы – герои, восхищались их мужеством и т. д., а в чем оно – не знали. Не знали, что мы голодаем, что люди умирают от голода, что нет транспорта, нет огня и воды. Ничего не слышали о такой болезни, как дистрофия. Меня спрашивали: а это опасно для жизни?..

Ставский воскликнул откровенно: «Не знал, ничего не знал, только от Кольки Тихонова первый раз услышал, что в Ленинграде такое положение. Разве бы мы так долго копались, если б знали. Мы слышали, что трудности, что туго с продуктами, но и представить себе не могли, что вы выносите...»

Мы очень горько говорили об этом с Тихоновым...

Отсюда – и все мои дела литературные. На радио не успела я раскрыть рта, как мне сказали: «Можно обо всем, но никаких упоминаний о голоде. Ни-ни. О мужестве, о героизме ленинградском – это то, что нам просто необходимо, как и все о Ленинграде. Но о голоде ни слова».

Сегодня я должна первый раз выступать у них. Хотела читать «Разговор с соседкой» – редактор не пропустил, даже с купюрой о бедном кусочке хлеба. В среду хотят дать мне целую «девятиминутку» – это у них такие вечерние литпередачи – и не хотят выпускать с «Первым письмом на Каму», так как «это слишком уж мрачно, слишком тяжелое впечатление остается о Ленинграде». – «Почему?» – «Ну, как же, вы пишете: «Не жалуйтесь, что трудно нам», – слишком уж прямо сказано о том, что трудно; и вообще мрачное стихотворение»...

Вечер

Продолжаю. Только что выступала по радио вместе с Алигер и Шевелевой... Перед этим я была у Шолохова, но об этом отдельно и после...

В первом своем письме, присланном вместе с Ходоренко, ты спрашивал, как меня встретили, как мой творческий вечер. Это все определялось общим отношением к Ленинграду. К СЧАСТЬЮ, – да, к великому счастью, – мы только одни (может быть, еще Севастополь) знаем, что такое блокада, голод, тьма. Они – москвичи – не знают. У них, не испытавших этого (повторяю, этому радоваться надо), чисто платоническое сочувствие к Ленинграду...

Мой внешний (отечный) вид глубоко разочаровал, и я даже сказала бы – разобидел московских писателей, администраторов Дома литераторов. Мне говорили: «Ой, у вас совсем не ленинградский вид. Вот сын А. Н. Толстого приехал – вот это действительно почти труп, и он так жадно ест...» Я не доставила москвичам удовольствия видеть, как я «жадно ем», напоминая в это время труп... я гордо, не торопясь, ела суп и кашу...

Не волнуйся, я не голодаю, я совершенно сыта; с субботы Володя Ставский всунул меня наконец в гостиницу «Москва», и здесь можно прилично есть, хотя всегда приносят не то, что ты заказываешь, и цены божеские. Я заливалась грустным смехом, когда читала в твоем письме о моем «творческом вечере». Никто даже и не поинтересовался сделать это. Ленинградцы мужаются – ну и бог с ними...

Но если б я тебе только жаловалась – с моей стороны это было бы свинством. В Москве и Союзе писателей есть отдельные люди – полны самой настоящей боли за Ленинград, самого настоящего стремления помочь ему. И они делают все, что могут. Тут в первую очередь надо говорить о Тихонове, потом о Ставском (он наладил вторую солидную посылку ленинградским писателям и несомненно поможет в добыче лекарств и для Радиокomiteта), о Маршаке, у которого, правда, очень невысок КПД, но все же он хлопочет и т. д., о Фадееве, который, к сожалению, сейчас болен воспалением легких. Я слышала от Ставского, что и вообще – «тот, кому это нужно», о Ленинграде знает и старается, чтобы

поскорее пришла помощь городу...

И по отношению к твоей покорной слуге эти же люди очень хорошо и заботливо себя держат. Очень мне понравился Вася Ардаматский, – считаю, что мы с ним просто подружились. Я как-то сидела у него целый вечер – на третий день по приезде, он меня кормил, мы вспоминали Ленинград, конечно...

Что касается «Февральского дневника», то по радио его передавать, видимо, не будут. Заведуют тут литпередачами Гусев и Ермилов, – после 16 октября они вернулись в Москву недавно. Гусев опасается передавать, потому что (дословно) «эта вещь настолько сильно, слишком сильно схватывает людей за сердце». Какая опять-таки трогательная чуткость к народу, которого хватает за сердце нечто более значительное, чем стихи, вот уже девятый месяц. А вообще поэма ходит по рукам в списках – говорят о ней очень хорошо; один литератор сказал, что это «ленинградские „Двенадцать“ периода блокады» и т. д. Звонила мне группа писателей – Славин, Финн и другие – ночью и тоже всякое говорили. В общем, искренне, до того захвалили, что мне как-то тревожно стало: опять чем-то людей обманываю, – кажется она мне не такой, как нужно было бы «по крепости тоски, по замыслу ее». И вот вожусь с книжкой, все еще не снесла ее в издательство, кажется она мне слабой, рассыпчатой, недостойной Ленинграда, недописанной.

Вчера мне с приездом Муси значительно полегчало, я теперь примусь за нее, может быть, кое-что допишу, потом начну ходить по редакциям и т. д. Еще нигде не была, никуда ничего не отдавала, несмотря на ряд предложений, – знаешь, реакция чисто физическая даже тянулась всю неделю и была очень тяжелой, – я еле волочила ноги, даже в начале февраля мне не было так худо. Теперь ничего, не бойся...

Но самое удивительное – внешне, понимаешь ли, цвету. Лицо огрубело до того, что округлилось (отеки!), но румяное, тело стало просто могучим, – в общем, по отзыву Муськи, похожа я теперь на кустодиевскую молодуху, и кожа не только вернулась – просто небывалой стала по цветам и качеству, особенно как отмыла ее. В номере у меня тепло, я одела свою голубую кофточку с пышными рукавами, ту, в которой была на пятидесятой «Радиоохронике», и знаешь, так она на мне сидит здорово, и ничто осанку не портит, хотя уж кое-что заметно, – но как-то находится в ансамбле с плечами, с грудью, с круглым лицом...

И знаешь, что сегодня Шолохова больше всего тронуло, насколько я заметила: не стихи, хотя он сразу же запомнил строфу из «Разговора с соседкой» и несколько раз ее повторил, и сказал об этих стихах и о поэмке – «Стихи!» – с очень дорогой интонацией восхищения, – а то, что я беременна. Он налил всем по большой рюмке чудесного, румяного вина и сказал: «Ну, давайте пить за нового ленинградца»; налил по второй и сказал: «И за женщину, которая будет рожать во время этой войны». Он удивительный – невысокий такой казачок, темно-русый, почти рыжий, с усами, очень простоватый с виду, застенчивый, мешковатый человек. Мне жаль, что я не смогла посидеть у него подольше – надо было идти на радио. О Ленинграде он говорил с настоящей скорбью и гордостью, обещал для нас написать кое-что, записаться ему не удастся – он очень охрип, простудился. Еще я организую запись Ставского, Маршака, Светлова, если до отъезда Ходоренко поправится Фадеев – то и его. Думаю, что все они скажут для ленинградцев что-нибудь сердечное и нужное.

...А за нас не бойся. Только бы тоска не загрызла, а в остальном все образуется. Обещаю тебе даже лазать во время бомбежек в подвал «Москвы». Третьего дня тут было удовольствие – и в тонну весом, и мина – с воздуха, не очень далеко, но не в нас, как видишь. Маленький вел себя бесстрашно. Чувствую, что многого – о делах – тебе не написала, но это уже завтра, – совсем хочу спать...

...Вот на какой огромной бумажине начинаю я отстукивать тебе еще одно письмо. Дошло ли до тебя первое мое послание от восьмого марта, которое я отправила со второй союзписательской машиной? И второе, которое взял у меня один летчик? Второе было коротенькое, а первое – огромным. Я писала тебе там о *своих* первых днях и впечатлениях в Москве, и если оно дошло до тебя – ты все уже знаешь. Какие, так сказать, коррективы нужно внести туда?..

Если ты получил те мои письма, то уже знаешь, какова установка относительно освещения жизни Ленинграда – здесь. Ни слова о голоде, и вообще, как можно бодрее и даже веселее. Мне ведь так и не дали прочитать по радио ни одного из лучших моих ленинградских стихов. Завтра читаю «Машеньку», «Седую мать троих бойцов», «Ленинградские большевики». Даже «Новогодний тост» признан «мрачным», а о стихотворении «Товарищ, нам горькие выпали дни» – сказано, что это «сплошной пессимистический стон», хотя «стихи отличные» и т. д. И если писать книжку («Говорит Ленинград») или даже план ее, конспект, в этом ключе – то нет смысла, а писать ее так, как мы хотим, – это значит в лучшем случае получить санкцию на издание ее после прорыва блокады, а вернее – после войны. Но все-таки, отправив Виктора Ходоренко в Ленинград, я напишу план-конспект, может быть, даже некоторые главки...

Правда, и я, и Виктор – просто томимся здесь, а Тихонов просто плачет – хочет вернуться поскорее в Ленинград, но его задерживает здесь ЦК: он пишет новый государственный гимн, пишет что-то очень важное для заграницы, для «Красной Звезды» и т. д. Он чудесный, он умница, он рассказывает так, что можно слушать его до утра. Он внимателен и почти нежен ко мне, – я так рада, что он пока в Москве.

...Я закончила работу над <книгой>, расположила стихи, написала короткие эпиграфы, – если успею, то перепечатаю для вас экземпляр, – из-за отсутствия копирки и бумаги (до сегодняшнего дня) печатала в одном экземпляре... Я необычайно остро чувствую отсутствие твое рядом как редактора. Помнишь, сколько раз мы ругались почти до ненависти (и еще будем ругаться), но и в период этой ругани я очень хорошо понимала, что ты – настоящий редактор, нет, гораздо больше – для меня как автора, – и слово «редактор» очень мало что выражает по отношению к тебе, но тебе понятно, о чем я говорю. А сейчас я без тебя просто как без обеих рук...

Итак, я завтра хочу сдать книгу в издательство, такой, как она у меня получилась (вообще-то надо было бы с ней подождать – ощущение, что очень много не дописано)...

Чувствую, что, читая это письмо, ты медленно раздражаешься. В общем, ты думаешь – проволынила полмесяца зря... Это не совсем верно; правда, я еще ничего нового не написала, не откликнулась еще на разные предложения и прочее. Но, во-первых, я осмысляла и продумывала происшедшее, во-вторых, все-таки копалась с книжкой... В-четвертых – некоторое количество из отпущенных дней ушло на выживание по наркоматам и главкам, и мне кажется, что я имею теперь полное право писать, что я всей душой с вами, так как апельсины, мандарины, лимоны, сгущенное молоко и кофе – выклянчила я, к полному своему удивлению. Потому что, во-первых, не подозревала в себе столько снабженческо-организационных данных, а во-вторых, потому, что очень некстати пришло одно распоряжение, и наркомы решительно ничего не хотели давать. Но заговорила с наркомшей пищекома сначала о наших женских делах, и потом мы так подружились, что она мне это отпустила... Я хочу предупредить тебя и Яшу, чтоб вы не слишком демонстрировали свое разочарование в связи с небогатым привозом Виктора. Действительно, крайне трудно было доставать даже то, что мы достали, и это только потому, что к нам, ленинградцам, все-таки очень хорошо относятся. Виктор делал все, что мог, с утра до ночи только и занимался этими делами, – это утомительно до дьявола – сидение в кабинетах разных, разговоры с начальниками, объяснение им, что такое дистрофия, и заверения, что Исаакиевский собор не разрушен. Виктор вообще замечательный дядька, я совершенно по-новому его здесь увидела, он сердечный человек, добрый,

простой...

Вечер

Я писала тебе письмо целый день, оно нескладное, и это не только потому, что в номере у меня Муськины актеры что-то репетировали, но и потому, что все время стремилась перейти к главному. А главное в том, что я – одна. Крестника нет. Я была сегодня утром у профессора. Все, что произошло со мной, сложная блокадная комбинация из истощения, отеков и – непобедимого здоровья... Он говорил еще какие-то докторские комплименты относительно «цветущего» вида, но я ушла от него очень обиженная. Ну, «цветущий вид», но чувство все-таки такое, что кто-то надо мной нехорошо поиздевался. Я уже совсем поверила в появление крестника Красных командиров, я ждала его, ни от кого не скрывала этого, радовалась ему, гордилась им – и вот обман. Никакого сына, и может быть, очень надолго...

Теперь ты видишь, что у меня нет оснований больше не быть в Ленинграде. Мне уже некого больше беречь... И мне кажется, что, несмотря на всю бесконечную микроскопичность пользы, которую я приношу, мое пребывание в Ленинграде – не обман, хотя бы самой себя. Я хочу быть в Ленинграде...

16/III-42

А вчера поздно вечером вдруг представился огромный соблазн – целой новой жизни, соблазн столь великий, что я, кажется, соблазнюсь, тем более раз отпала необходимость (желанная необходимость) беречься для сына. Газета «Литература и искусство» предлагает мне быть их военным корреспондентом. Меня не будут прикреплять к какому-нибудь определенному фронту, а наоборот – будет предоставлена и обеспечена возможность разъездов по всем решительно фронтам, от Черного до Белого моря. Я буду командироваться на тот или иной фронт – недели на три, на две, затем возвращаться в Москву, писать, сдавать материал, некоторое время «гулять», затем – новая командировка. В частности, предполагаются частые командировки на Ленинградский фронт, в Ленинград. В общем, передо мною возможность побывать и повидать весь фронт войны, всю воюющую Россию. Когда я подумала об этом – мне дух захватило. «Остальных пьянила ширь весны и каторги». Ты подумай-ка, какое пространство, сколько новых людей, воля какая, какая густая, напряженная жизнь. Ну, верно, установка корреспондентий малосерьезная (практически) – «армия-защитница и носительница культуры», но ведь зато она емкая, особенно если не подходить к понятию культуры как к комплексу патефона и модного галстука, и материала в руки будет валиться бездна, а собственно для газеты писать придется не так много, она не ежедневная...

Я ни одной минуты не думала бы – принять или нет это предложение, если бы не было на свете Ленинграда и тебя... «Аще забуду тебя, Иерусалиме...» Я со слезами любви и счастья думаю о том, как нужно будет работать, чтобы вернуть городу и людям его человеческий вид, – еще в условиях войны, как он будет пробуждаться от этой темноты, оцепенения, как люди начнут улыбаться... (В первые дни в Москве, вечером, меня поразило, что люди громко смеются на улице, – сердце оборвалось, вспомнив страшные вечерние улицы Ленинграда.) Может быть, я пришлю вам стихи об этом – весне в Ленинграде, если они выйдут...

Тутошние товарищи уверяют меня, что мне совершенно необходимо принять это предложение, что вот именно побывав на фронтах, я напишу прекрасные стихи о Ленинграде, что нельзя же всю войну провести в Ленинграде, что я там уже «все видела» (как будто бы я там смотрела спектакль)...

Так как же мне быть? – скажи мне... Благословляешь или нет? Скажи, как ты

хочешь. Завтра еще будем держать об этом совет с Витей.

Завтра, наверное, сдам все-таки свою книжку. Называть ее «Говорит Ленинград» не буду. Слишком много претензии в этом было бы, и не масштабно, надо гораздо скромнее. Что, если – «Ленинградский дневник»? Или в этом роде? Подумай, ладно? Между прочим, сегодня приходила ко мне Маргарита Алигер, – они устраивают все-таки на днях мой творческий вечер. Я, как тебе писала, никого ни о чем не просила – от еды до внимания, держалась и держусь очень тихо. Но моя поэмка пробила брешь в общественном равнодушии Союза писателей сама по себе. Знаешь, ее читают в списке, помимо меня, – уже очень много людей в Москве, и даже не только литераторы. Из литераторов и деятелей искусств читал Курганов (правдист), читал Храпченко и многие другие, – и такое мне о ней говорят, и друг другу говорят, что я почти испугана – после таких отзывов трудно написать что-нибудь такое, что люди бы признали еще лучшим, а я все же надеюсь, что это еще не совсем то, что надо написать о Ленинграде, и что я напишу лучше... Но имей в виду, что ко всему этому шуму я не прилагала никаких усилий и не занималась ее навязыванием кому бы то ни было, даже еще ни в один журнал не носила. Просто дала один экземпляр старому своему приятелю – Коле Канину, ну, а от него, пришедшего в восторг, все и пошло. Но, между прочим, поскольку в восторг пришел Курганов, у меня вдруг появилась дерзкая идея: что, если принести ее в «Правду»?..

Твои соображения относительно «ослабевшего духом», кажется, совершенно правильны, и надо выкинуть строфу, ему посвященную. Правда, мне кажется, неверно было бы создавать в поэме этакий иконописный город – «все герои»... Нет, не все, и в этом-то и дело. Я согласна, что это все выражено слабее, чем остальные места, – ну, пока у меня иначе не выходит. Ах, да вообще все это не то, перехвалено, а я уши развесила... Я все больше склоняюсь, чтобы убрать это место и сразу же после последней строчки строфы – «По мужеству подобный ветерану» – дать строчку точек и перейти к «Я никогда героем не была». А после обязательно восстановить исправленную для передачи в Ленинграде строфу: «И не хваюсь я тем, что в дни блокады не изменяла радости земной».

Да в общем, раз Виктор завтра не уезжает, я успею перепечатать и послать вам книжку и в ней поэму. Очень прошу, найдите время просмотреть ее и беспощадно сказать мне – есть ли смысл издавать ее, всю книжку вообще, – вне Ленинграда, в таком виде и т. д. Я не уверена, что ее надо издавать сейчас – вне Ленинграда. В Ленинграде – другое дело, там она имела бы оперативное значение. А так – тема-то не завершена, в жизни не завершена, – блокада еще не сорвана, у книжки нет конца, – почему она кончается февралем? Надо еще что-то дописать, а дописывать можно лишь по мере движения самой жизни. Я не стремлюсь, чтобы она была издана, так что вы учтите это. В ней все-таки мало личного, такого, что нельзя объяснить... но оно должно бы было быть в такой книжке. И мне еще хочется, и внутри зреют стихи, пока еще в самом немом звуке – ненаписанные все же, о человеческой эстафете, о том, что мы научились любить друг друга, о том, как мы будем узнавать землю после войны, мы все-таки будем любить ее, всю залитую кровью, больную, грязную, – я хочу написать об этом обновлении восприятия жизни, ой, нет, не буду рассказывать, о чем хочу написать, лучше уж попробую написать. А знаешь, что больше всего волнует, – до слез прямо, – большинство людей в «Февральском дневнике»: строки о проспекте Красных Командиров – здорово, верно?

17/III-42

Впрочем, сейчас уже 18-е, – уже скоро шесть утра. Виктор позвонит через полчаса, я отдам ему это чудовищно длинное письмо, а часов через шесть-восемь он увидит тебя, наш Радиокomiteт. Вот счастливый! Он говорит, что мне вовсе не надо ездить по фронтам, а надо приезжать в Ленинград и работать. Наверное, я все-таки так и поступлю, но ты подумай и напиши мне, как мне лучше сделать...

Я все перечитываю твое письмо... Но не хвали ты меня так сильно, а то мне начинает казаться, что я тебя чем-то обманываю... Господи, как я мечтаю о встрече...

Вере (Кетлинской) – большой привет... Передай ей привет от Шолохова, он просил это сделать... Коротенькое и, по-моему, хорошее письмо Шолохова (обращение к ленинградцам) вкладываю – сохрани автограф, это же лучший писатель в Союзе...

4/IV-42

...Наверное, я не напишу тебе большого письма, потому что уже предвкушаю большой-большой разговор с тобою и думаю: «Вот и это напишу ему, нет, лучше расскажу, чем напишу».

Я рада, что ты зовешь меня к себе, зовешь в Ленинград. Это больше для меня, чем ты думаешь и что я решаюсь пока говорить... Вспоминаешь ли проспект Красных Командиров – наших верных друзей и сообщников? Ты представлял себе когда-нибудь этих красных командиров, в честь которых назван наш проспект? А я, знаешь, представляла. Они рисовались мне бравыми ребятами, не слишком высокого роста почему-то, но с развернутыми такими, надежными плечами, они были сурьезными и задушевными, они любили покушать, выпить, они любили лошадей, хорошее оружие, они были не героями, а тружениками войны... о, у них была такая простая и содержательная русская биография; я еще напишу о них и о нашей дружбе с ними, но я – суеверная и не буду заранее говорить об этом.

Так вот, я сразу стала свертывать свои и без того не развернутые дела – отказалась от некоторых заказов, выступлений и т. д. И так мне легче стало, когда подумала, что скоро вернусь в Ленинград, займусь нужным делом, потому что тут у меня нет никакой уверенности в том, что я делаю что-то нужное другим, а для себя мне просто лень затрудняться...

Письмо опять получается длинным, но уже очень поздно, а завтра утром надо написать выступление для ЦК комсомола, по радио, о ленинградских девушках. И при этом буду читать еще стихи. Они надоели мне – мои старые стихи – до невероятия. Да уж и стыдно как-то – больше месяца разоряться насчет героизма ленинградцев, зная, что вы там работаете по восемнадцать часов в сутки и у вас не хватает людей. Я постараюсь войти в работу сразу, с размаху, как только приеду.

Получили ли вы мою корреспонденцию о Шостаковиче? Пригодилась ли? К сожалению, он ничего не написал для ленинградцев, – сказал, что прочел мою поэму и «перо из рук выпало, не знаю, что на такое ответить». В общем, ему очень понравилось, и его отзыв мне дороже всего. Он до того прелестен, что не знаю, как и выразить это. Но думаю, что все же напишет что-нибудь. Обещал мне написать Фадеев, специально для нас, и еще кое-кто, в общем, надеюсь, что привезу некоторое количество материалу. А ты ответь мне – о Шостаковиче и о вас и – ну, ты понимаешь, о чем надо писать мне... О начальнике ремесленного училища – буду писать. Обо всем буду. И умоляю – не попадайся под осколки...

18/IV-42

...Может быть, завтра в Ленинград поедут Тихонов с Фадеевым, которые привезут тебе мои письма – это и другое, написанное еще в начале апреля. Я тебе сказать не могу, до чего я завидую Тихонову, до чего я тут истомилась. С шестого не было самолетов от вас и отсюда по причине распутицы и тому подобного. Завтра должен идти, но без людей, но может быть, на нем-то и поедут вышеуказанные товарищи. Может, они захватят меня, но на это у меня надежда слабая. Я просто не знаю, сколько же мне еще времени торчать здесь? Правда, говорят, что отправят быстро, на днях...

Я так хочу в Ленинград, что задержка здесь кажется мне сплошным заговором против меня, тем более что Ставский только сегодня звонил мне и опять говорил, что мне ехать не надо, что «они меня не пустят»... Я не дамочка, не жена ответственного работника, не поэтесса, – отлично знаю, чего хочу и что делаю... Цеханович клянется, что скоро отправит меня, что движение налаживается, но нетерпение мое растет день ото дня...

Ах, скорее бы, скорее бы к вам. Я получила твою телеграмму, ответила тебе в тот же день... Больше ничего писать не буду – все равно, прорвавшись сквозь все, я вернусь к вам...

Письмо М. С. Довлатовой

20/III-42 <из Москвы>

Дорогая Машенька!

Я получила твои письма для Ашки накануне своего вылета из Ленинграда. Писем этих я ему не передала, т. к. с начала января мы не жили у себя в квартире, т. к. там стало чрезмерно холодно и темно, а связи с Ашкой поддерживали через телефон, он все время был в Ленинграде. Но с первых чисел января эту связь с ним потеряли, т. к. мы ушли из квартиры, а 10/1 в госпитале заболел Коля. На почве тяжелейшего истощения у него обострилась эпилепсия, принявшая форму тяжкого, сначала даже буйного психоза. Он был переведен из госпиталя в психиатрическую лечебницу и 29/1 умер там. Я делала все, что можно было сделать в январе месяце в Ленинграде, но спасти его не смогла. Мой Николай умер, Маргарита, он умирал страшно, его нет у меня больше. Я до сих пор не в состоянии поверить этому. Минутами до меня доходит, что он никогда, *никогда* не придет на Троицкую, – я понимаю, что жить не для чего и нельзя. Но вот – живу. В Москву прилетела потому, что думала, что беременна и хотела сохранить ребенка. Но здесь выяснилось, что беременности нет. Я живу здесь с Муськой и вернусь в Ленинград. Мне больше некуда ехать, мне невозможно теперь жить, кроме как там, где в братской могиле лежит Колька. Я скоро уже поеду туда.

Сама я здорова, хотя тоже чуть не умерла, была вся опухшая, и даже сейчас не совсем прошли отеки на лице и на ногах. Но все же внешне я выгляжу хорошо, и – знаешь, я работаю, пишу, я что-то нужное даже делаю для людей – вот сварганила пищевую посылку больным товарищам в Ленинград, но внутри все пусто, – бездонное отчаянье и тупость какая-то.

Мне очень хотелось бы видеть тебя, плакать с тобой, рассказать тебе всё-всё, о чем не напишешь обыкновенными словами. Я ведь знаю, как ты любила Кольку... А он-то как тебя любил! Ох, не стоит о нем писать, – все равно ни муки, ни сожаления о нем – не выскажешь. Он просил меня остаться жить до конца этой невыносимой трагедии, – я постараюсь сделать это. Машенька, Машенька, я готова крикнуть тебе – «помолись за меня», но разве во мне дело? *Он* жить хотел... Ну, ладно, Кат<ерина> в Москве, мы выдаемся. Она ничего, только похудела. А вот Боря Зиссерман, приехавший из Ленинграда позднее меня (я приехала I/III), – лежит больной, видимо, умрет...

Родная моя, как бы трудно тебе там ни было, – не жалея, что уехала из Л-да... Но мне теперь нет ничего дороже этого города. Я вернусь туда. Ты напиши, если сможешь. Напиши на Муську, – Москва, Сивцев Вражек, дом 6, кв. 1. Если меня в это время не будет в М-ве, то она перешлет мне. А в Ленинграде мне нужно писать – ул. Пролеткульта, 2, Дом радио, литдрамотдел, мне. Лучше пиши сразу туда. Вернувшись в Лен-д, я постараюсь узнать, где Ашка, но ты, наверное, сама теперь наладила с ним связь. Обнимаю тебя, родная, целую Бобку.

Знаешь, я до сих пор ничего не написала его родителям – просто не могу, страшно наносить им этот удар. И сказать – тоже совсем проститься.

Ну вот, только что узнала, что умер Боря Зис<серман> – форма № 2. Лева Цырлин умер, как и Коля, от истощения, еще в феврале... Ты не застанешь очень многих, вернувшись в Л-д, но я хотела бы встретиться с тобой, – на Троицкой, в той комнате, где мы всегда втроем пили чай, и мы сели бы с тобой там же, как тогда, открыли бы окна и помянули бы Колю белым хлебом и вином.

Прощай, родная моя, береги Бобку...

Письмо Н. Д. Оттену

17/III-43. Ленинград

Дорогой Николай Давыдович!

Посылаю Вам книжку (и Коонен), изданную в Ленинграде, и некоторые стихи, написанные после сдачи книжки в производство, но тематически и хронологически продолжающие ее. Я тоже снабдила их коротенькой справкой о том, что в эти дни было в Ленинграде, так как без этой справки, боюсь, многое будет неясно, - хотя бы строчки о «ботве» и «досках» и многое другое. Эти все стихи передавались по радио и печатались, но у меня нет экземпляров - многих даже для себя, поэтому посылаю их Вам в рукописи.

Вас удивит, быть может, обилие «коммунальной» тематики, - но это специфично для нас. Ведь великое ленинградское сопротивление было не только военным, но в еще большей мере шло по линии быта, борьбы за самые основы человеческого существования и жизни, удержания элементарных каких-то вещей. Все распалось, смещалось, переосмысливалось; стремительнее всего обваливались надстроечные украшения и шелуха, оставалась жизнь и смерть в чистом виде. Как бы объяснить Вам понятнее? Ну, например, в декабре сорок первого - январе сорок второго года люди еще стремились похоронить своих близких в гробах и отдельных могилах. Это было чудовищно трудно, и очень многие погибали только потому, что отдавали свой хлеб и силы на похороны близких. К концу января уже почти никто не пытался этого делать, - не оттого, что «очерствели», а потому что «отдача последнего долга» перед задачей - сохранить живых - сделалась не только не обязательной, но нелепой. И если эта действительно драгоценная надстройка рухнула, то что же говорить о других, менее существенных? А борьба за жизнь, за основные ее, что ли, условия - тепло, свет, вода (то, что было сотворено в самые первые дни творения!) - была борьбой тяжелой, нудной, утомительной. Для нас, в городе, который ежедневно разрушали немцы, жилье имеет, я бы сказала, первобытное, первичное значение... Людей Большой земли восхищает то, что «ленинградцы под снарядами ходят». Эко дело, - не подумайте, что я бравирую, я, кстати, не из самых «бесстрашных», - эко дело снаряды, да у нас в этом году во многих домах настоящий электрический свет горит! Вот наша настоящая романтика и экзотика. Мы всеми мерами - и сознательно и бессознательно - стремились и стремимся сберечь, сохранить нормальную, обычную человеческую жизнь - и добились все-таки этого. Тема Ленинграда - это тема победы жизни, когда не было условий для нее, а не тема бесстрашного стояния под снарядами - ведь это решительно на всех фронтах так было и есть. Это тема того, как люди научились жить, не пережидая, не ставя себе сроков, научились жить всей жизнью здесь, в Ленинграде, а были дни, когда люди говорили: «Я поставил себе задачу - дожить до 23 февраля сорок второго года, если не прорвут, умру!» И многие, когда подходил этот или другой взятый ими срок и не наступала перемена, - ломались физически и морально, уже необратимо. А потом мы перестали жить «пока», а стали жить «на все время», - это был огромный психологический перелом, весной сорок второго года. Вновь вернулось время, тогда как зимой 41-42 г. как бы по клятве апокалипсического ангела «времени больше не стало»... Понятно ли Вам это, дорогой Николай Давыдович? Я так старалась объяснить - не потому, что, может быть, Вы будете писать обо мне, и не комментируя своих стихов, они все же не иллюстрации, а просто потому, что мне дорого, что Вы интересуетесь Ленинградом и ленинградской темой, а это не частная тема, а несомненно небывалый опыт человечества, опыт, который должны живым запечатлеть именно художники.

Итак, весной сорок второго года мы бурно, с восторгом переживали возвращение к обычной жизни, - и знаете, когда впервые после зимы заплакали ленинградцы, действительно переставшие плакать, не из мужества, а из того, что просто не было тех эмоций, которые соответствовали бы тому, что было зимой? Они заплакали на первом после декабря сорок первого года симфоническом концерте - это было пятого апреля сорок второго года, заплакали, потрясенные тем, что вот на сцене

сидят люди – не в ватниках, а в пиджаках, и что не просто люди, а артисты, и они... играют на скрипках! Все, как когда-то ТОГДА, «как у людей», мы живы, мы даже вот музыку слушаем, которую специально для нас играют специально занятые этим люди. Что играли – было неважно, важно было само, что ли, явление... Никогда не позабыть этого первого после той зимы концерта! Накануне был свирепый массированный налет на Ленинград (о нем много писали в газетах), но, поверьте, этот концерт был гораздо большим событием в нашей жизни. Теперь привыкли опять – и к концертам, и к кино, а тогда – изумились, ахнули, – живы!

Потом стали копать грядки, и несмотря на то, что не в переносном, а в буквальном смысле слова враг был у ворот (где он, увы, торчит и до сих пор, хотя прорыв блокады и совершен), никто не сомневался в том, что этот урожай мы соберем через несколько месяцев. Потом стали переселяться, стеклиться, обстоятельно устраиваться жить, в ноябре-декабре сорок второго года стали рождаться в Ленинграде дети, первые новые дети осажденного города. Прозимовали очень прилично, – вот восьмого марта я выступала в одном жилом кусте, спрашивала – умирали ли люди этой зимой по тем же причинам, как в прошлом году? «Нет, – ответил мне комиссар дома, – мы еще осенью на активе решили – ни одной смерти не допустим. И не допустили в нашем кусте прошлогодних смертей». Вы думаете – это газета, или патетика, или «героизм»? Это быт, вот в чем дело. У нас бытом стало само Бытие, и быт – Бытием, наоборот. Не допустили смертей в кусте – следили, если кто слабел, сразу помогали, переселяли из холода в тепло – всех, – ой, нудная, тяжкая, грязная подчас работа. Хуже любого обстрела в сотни раз.

Недавно вернулся в Ленинград наш Большой Драматический. До сих пор некоторые из артистов ходят по городу – и плачут: какой стал город, – ведь уехали-то они в сорок первом году до первых бомб и снарядов. Еще они спрашивают нас: «Как вы можете жить – думать о платьях, о спектаклях, – ведь в любую минуту может начаться шум и свист, ведь он же – смерть...» Как им объяснить, что можем, что просто живем – и все, и не думаем о «ней» вовсе, что преодолели блокаду до ее прорыва, преодолели даже мысли о смерти – и не тем, не тем, что на цыпочки встали (это было в дни баррикад), не потому, что «герои», а просто потому, что по-другому научились жить?.. Им не объяснить, да и для Вас выходит длинно и сложно. Я еще потому так подробно, что некоторые эти темы плюс тема нового родства, нового человеколюбия, родившегося в страшнейшие дни блокады, являются темами сценария, который я писала вместе с моим теперешним мужем. (Мой муж, с которым я прожила очень счастливо и необыкновенно дружно двенадцать лет, погиб от голода в январе сорок второго года, в состоянии тяжкого помешательства. Я очень любила его. Я погибла бы тоже, если б не этот – мой теперешний... а потом глядим – мы уже и семья, хоть та рана и не зарубцуется даже.) Так вот – тут будет ответ на телеграмму т. т. Таирова и Коонен. Я не знаю, как это получилось, что Ваш театр узнал, будто бы я пишу пьесу, – нет, мы пишем, вернее, уже отделяем литературный сценарий для кинокартины по заданию ЦК ВЛКСМ. Это – Ленинград зимой сорок первого – сорок второго года: комсомольцы бытовых отрядов. У нас были такие отряды – они ходили по диким тогдашним домам и спасали тех, кто уже не мог встать. И спасли десятки тысяч людей. Сами же были в таких же условиях – то есть так же голодали и еле ходили. У нас не будет ни «показа авиации», ни «отображения бытового движения», а будет несколько людей со своими судьбами и характерами, объединенных вот в таком бытовом отряде и, кроме того, живущих на заводе в общежитии, который почти замирает, но живет. Но, правда, у нас была (и есть) мысль, что на канве этого сценария можно сделать пьесу, – сценарий даже более «театрален», чем кинематографичен. Мы хотим – мечтаем – сделать пьесу лирическую, где была бы правда о Ленинграде не внешняя, а внутренняя. Ведь сказать о Ленинграде, что здесь «люди ходят под снарядами», или даже то, что прошлой зимой «умирали от голода», как везде теперь говорят, – это очень мало правды сказать. Дело вовсе, вовсе не в количестве «ужасов» и «показе их», особенно внешних, а, например, (простите за самоцитату!) – хотя бы в том, что «такими мы счастливыми бывали, такой свободой дико дышали...» И чтоб выразить это людьми и их судьбами. Это, конечно, задача колоссальная, и даже если у нас будет удача – все равно мы тронем лишь часть темы, но, по-моему, «Партизаны в степях

Украины» это уже просто отказ от каких бы то ни было задач. Так вот, Николай Давыдович, если Вы хотите, – то сразу же, как только будет отработан и перепечатан кем-то сценарий, мы его Вам пошлем, с тем чтоб с Вашей помощью, с Вашими – сугубо важными для нас – профессионально-театральными замечаниями и пожеланиями (я не говорю уже о человеческих, то есть по существу, по содержанию) попытаться сделать пьесу для Вашего театра. Работа с Камерным театром была бы для меня большой радостью и гордостью, – я люблю Камерный очень давно; «Любовь под вязами» с Коонен – это формирующий рубеж жизни, а Камерный – даже и в предвоенные годы – сумел остаться ищущим, действительно творческим театром, и это вызывает особое доверие и уважение к нему. И что же, может быть, объединенный поиск – и наш и театра, – поиск воплощения очень нового, очень специфического, неповторимого и в то же время общечеловечески значимого материала, – приведет к находкам, настоящим находкам новой какой-то театральной формы? Ведь может же так получиться, простите за неуклюжую терминологию.

Однако пора кончать, мое письмо слишком затянулось, а я еще не отдала дань авторскому приличию, скромности, – не написала, что «знаю, что в стихах у меня много недостатков» и т. д., – но я *действительно* знаю это, а Вы увидите и оцените все сами. Я знаю, что я работаю еще лишь на первом слое ленинградской темы, мечтаю, что удастся начать поднимать и более глубокие слои. Может быть, это произойдет при работе над новой поэмой, которую понемножку пишу и займусь взасос, как только закончим совсем сценарий и... переезд на новую квартиру, где с одними выморочными вещами и полууголовницей управдомшей будет бездна муки. О, у нас среди управдомов есть страшные люди (и вообще есть, откристаллизовались – и тоже неповторимо-блокадные, но среди управдомов особенно), и автор «Петербургских трущоб» взвыл бы от зависти, что не дожил до такого материала. Но я, кажется, непосредственно вдохновилась нашим коммунальным эпосом... Сердечный привет всем любящим Ленинград и думающим о нем, особенный привет – с любовью и восхищением ее талантом – А. Коонен, и самые искренние пожелания сил и здоровья.

Простите, если слишком разболталась. Сообщите, дойдут ли до Вас мои корреспонденции, пишите, я буду рада. Привет.

Письма М. Ф. Берггольд

26/IX-41

Моя Муся!

Если ты еще в Москве, то, наверное, это письмо передаст тебе Анна Андреевна. Было бы прекрасно, если бы ты вместе с нею поехала в Чистополь. Если поедете – береги и заботься о ней, как бы ты заботилась обо мне, если б я была больна. Она – изумительный человек; если б не Коля, которого я не могу оставить здесь одного, я почла бы первейшим своим долгом сопроводить ее до места. Проклятые фашисты очень напугали ее – им мы и это присчитаем, это подлое изнурение людей, драгоценных всему народу.

Если ж ты решила не ехать – пока она в Москве, сделай для нее все, что можешь, несмотря на ее сопровождающую. Она очень несчастна, – А. А., – ее надо согреть, как только можно. *Прошу тебя об этом.*

О нашей жизни, – что же? Или очень много надо писать, или ничего. Скверно, сестрица. Я до сих пор не могу прийти в себя от душевного ужаса перед тем, до чего могло докатиться человечество, – так как бомбежка мирного города – это позор, это сплошной ужас – не физически, вообще ничего чрезвычайного пока не было, – а именно с моральной стороны. В общем, тебе понятно.

«Слеза» цела, но вокруг нее невдалеке ряд разрушений, сволочи бьют по центру, по госпиталиям, – нарочно, можешь ты это понять? Очень действует на нервы иногда возникающий артобстрел, сегодня даже слышала, стоя у окна, – свист снарядов – противно. Ударило поблизости. И главное – вдруг, ни с того ни с сего. Неск. дней назад была в редакции, дом 14, а в д. 12 саданул фугас, в редакции кое-кого поранило, но меня ничуть, и главное, это второй раз такое чудо, – перв. раз над головой в райкоме пробило осколком арт. снаряда стекло. Видишь – я счастливая! Но ты не бойся, – таким случайностям мы теперь решительно все подвержены. И я еще менее всех. Большую часть дня я провожу в Радио, это семиэтажный старый дом, а мы работаем в бомбоубежище, в подвале; там очень сухо и тепло. А ночуем мы с Колькой у мамы, там от снарядов совсем безопасно, а во время тревоги спускаемся в убежище – хорошее... Меня грызет совесть, что я, политорганизатор, ухожу на ночь из опасной «слезы», но, право же, роль моя там на 99/100 бесполезна, а я и так делаю для обороны все, что в моих силах, все, что только в *данных* условиях агитации и пропаганды можно сделать, и я не могу расходовать силы до бесконечности, да еще на явно видимое, липовое дело!

Так что не презирай меня за это. Ей-богу, я еще пригожусь, если не тяпнет дурой-бомбой.

Между прочим, тут некоторые мои стихи очень нравятся, их перепечатавают в боевых листках, в армейских газетах и т. д. Работаю в Радио, очень часто мои вещи и стихи идут на Москву – слышишь ли ты хоть что-нибудь?

Работаю еще и для спецвещания – разные воззвания и листовки для немцев (е. их мать), вот завтра моя передача для всей Европы – о Ленинграде. Это интересно, но, конечно, злят разные казенные премудрости и препоны, – как и до войны, масса чиновников, боящихся черт знает чего и, главное, живого слова.

Что касается положения Ленинграда, – конечно, почти трагическое, душа болит страшно, но уверена, что вывернемся, – такая же убежденность, как в кутузке, когда была почти петля, а я была уверена, что выйду, – и вышла.

К черту, – пускай и бомбы и снаряды, только бы не немцы в Л-де! Это уже лишнее.

Ну а если до этого вдруг дойдет – постараемся уйти с Армией. Да нет, не придется...

Я знаю, ты волнуешься, но, Мусичка, поверь, мы сделаем все, чтоб спасти жизнь, сделаем все в пределах чести и достоинства русского человека, русского интеллигента...

Разговоры о бомбах мне осточертели. В Радио есть дяденька, – ну, прелесть! Я почти влюблена, да и он, кажется, тоже, хотя даже намек на какое-либо объяснение не было. А подумаю о нем – и радуюсь! Нет, Ленинград не может быть взят! Коля заботится обо мне, как мамка, за керосином бегаёт, посуду моет, в очередях стоит. Он милейший, но припадки у него участились, и он очень пришиблен тем, что не у дел (он без работы, так, кое-что делает на радио), что его сняли с учета. Но держится, хлопочет по дому, ужасно обмирает за меня, уговаривает ехать, – но ты понимаешь, что с моей стороны это была бы подлость.

Мусинька, – на всякий случай, – только на всякий случай, знай: мои дневники и некот. рукописи в железном ящике зарыты у Молчановых, Нев., 86, в их деревянном сарайчике. М. б., когда-нибудь пригодятся.

Очень хочется послать тебе ряд стихов, если успею подкинуть А. А., – сделаю. Получила ли ты мои деньги? Целую

<...> Наконец, четыре дня назад вновь отправила тебе срочную. Умоляю – знай, что я ни на минуту не забываю тебя, и если будут какие-нибудь перерывы, то только не по моей вине. Но надеюсь, что письма с Беляевым ты уже получила.

<...>

...Как я думала о тебе, сестренка, в ночь с 18 на 19 января <...> У нас все клубилось в Радиокомитете, мы все рыдали и целовались, целовались и рыдали – правда! И хотя мы знаем, что этот прорыв еще не решает окончательно нашу судьбу, – ведь, черт возьми, так сказать с другой стороны, немцы-то еще на улице Стачек, 156, все же весть о прорыве, к которой мы были готовы, обдала совершенно небывалой, острой и горькой в то же время радостью... Мы вещали всю ночь, без всякой подготовки, но до того все отлично шло – как никогда. <...> До чего это трогательно было и приятно, что именно сюда, в Радиокомитет, стремились люди. Одна старушка в пять часов утра встала и шла из Новой Деревни пешком, не в силах дожидаться трамвая, «поговорить по радио», ее выпустили, конечно. <...> Повторяю, хотя мы еще накануне кое-что существенное знали и, слыша гром нашей артиллерии, понимали, что он значит, – известие меня ошеломило. Просили, чтоб я написала стихи, – но рифмовать я ничего не могла. Я написала то, что просилось из души, с мыслью о Коле, вставила две цитаты из «Февральского», – и как будто бы вышло. Когда села к микрофону, волновалась дико, и вдруг до того начало стучать сердце, что подумала, что не дочитаю, – помру. Правда. И потому говорила задыхаясь и чуть не разревелась в конце, а потом оказалось, что помимо текста именно это «исполнение» и пронзило ленинградцев. Мне неудобно даже тебе писать об этом, но факт, при этом для меня совершенно неожиданный: на другой день все говорили об этом выступлении («Вот сказала то, что все мы думаем, и так, как все чувствовали») – и до сегодняшнего дня я продолжаю получать письма – отклики на это выступление – в стихах и прозе. Некоторые пишут: «Мы сразу после известия о победе стали ждать Вашего выступления – и не ошиблись: мы услышали Ваш уже так знакомый и милый голос, и Вы сказали то, что у всех у нас горело в сердце». Но что мне действительно приятно – это сообщение Любы Спектор, которая в эти минуты была на Волховском фронте, соединившемся с нашим. Она прибежала ко мне 20.1 и, захлебываясь, рассказывала: «Понимаешь, именно в той землянке, откуда генералы руководили боем, они тебя слушали и ревели, понимаешь, ревели генералы, и бойцы тоже слушали, и все говорили: увидите ее – обнимите». При этом другой свидетель того же – Блюмберг (он тоже был в это время там) говорил, что меня там хорошо знают. Это может быть, так как ряд писем я получала именно оттуда и переписывалась с этими читателями.

И вот только что, полчаса назад, получила письмо – оттуда же, от одного своего читателя, лейтенанта Рысова (это тот, который просил выслать ему поэму,

так как она попала в «число боевых потерь»). На этом письме стоит дата - 12-1-1943 года, 5.15 утра. Это - за три часа до начала штурма немецкой линии обороны, когда уже был получен приказ - «прорвать блокаду» и наши войска готовились начать бой. Рысов пишет: «Уважаемая Ольга Берггольц, только сейчас закончил подготовку к проведению беседы о любимом городе. Подготовил беседу для наших орлов-ленинградцев, с рассветом начну проводить... Здесь у меня в блиндаже какой-либо литературы нет, зато как хорошо мне в подготовке беседы помогли хранящиеся в моей сумке (уже прилично затасканные) Ваши поэмы и стихи. Примите ж мою душевную благодарность за Вашу любезность, за Вашу помощь, которую я получил, в бесчетный раз перечитывая Ваши стихи и поэмы... Спасибо, большое спасибо, уважаемая товарищ Берггольц! Многое мне хочется сейчас Вам сказать, но нет времени. Сохраню в памяти все, что хотелось сказать Вам в эту ночь, и расскажу при встрече. До скорой встречи. Желаю успехов, жму руку.
Ваш В. Рысов».

Ты понимаешь, командир готовился к бою за освобождение Ленинграда, они должны были начать с рассветом, пойти на прорыв, и вот он готовился сказать перед атакой слово - и это были мои стихи. Верно - это даже покрепче залпов с цитатами? Ведь этим можно гордиться, да, Муська? Я думаю, что я не самодовольничаю, гордясь этим, но я не знаю, что же мне теперь такого сделать для всех них - благодарных и прекрасных, идущих в бой за любимый город со стихами на устах. Нет, такой народ воистину бессмертен, народ, идущий на смерть со стихами, находящий в эту минуту силы написать тронувшему его душу поэту - в город, который он идет освободить. Дело здесь не во мне. Господи, только бы они были живы и здоровы. <...> А терпеть-то еще - до черта! Вот как раз в эту минуту - опять воет проклятая сирена. 20.1, на второй день прорыва, он нас изрядно подолбал, и потом опять пошло каждый день. Перерыв был только дня на три. И понимаешь, эта сволочь бомбы кидает, вчера ляпнулась рядом с бывшим Пугалом и т. д. А что он сделал с моим заводом - 14 января, - обстрелял так, как даже в сентябре прошлого года не было, несколько десятков наших людей погибло, в числе их - прекрасные люди, блестяще державшиеся всю блокаду. Одна наша работница так трогательно сказала о них: «Господи, ну уж если так было суждено, - почему бы им еще четыре дня не прожить, чтоб хоть умерли с сознанием, что блокада прорвана». Да, вот так и погибли за четыре дня до радостной вести. А сколько таких у нас еще будет. <...>

Очень хочется узнать - что ты и как ты? Страшно боюсь, что ты обморозишься, подхватишь сыпняк и т. п. Очень интересно, как ты решила - приедешь ли к нам? Как тебе кажется идея твоего участия в нашем фильме? Ей-богу, может получиться. <...>

<...> Ну, пока. Посылаю стих, передаваемый по радио и напечатанный в «Лен. правде», - ленинградцы приняли его очень хорошо, и многие тотчас же стали вырезать из газеты и посылать на Большую Землю, «вместо своего письма». В общем, я чувствую, что мне пора относиться к себе еще, еще и еще строже, а то скоро возомню себя и вправду Ричардсоном. Целую тебя, родная, не забывай меня, пиши. <...>

Водку, кофе и табак из Союза мы получили - нельзя ли бисировать? Это все пришло как раз накануне прорыва - и так пригодилось! Но надо еще, так как скоро будут события еще интереснее, и элементарный патриотизм требует к ним водочки! Тьфу-тьфу, а все-таки в «недоскребе» стекла-то вылетели; ВТ идет уже 3 часа, но после последнего толчка - тихо совсем.

28/1-44

Поздравляем, поздравляем, поздравляем, принимаем поздравления, и объятия, и всяческую радость... Надо надеяться, что вы вчера слушали приказ Говорова и салют из Ленинграда по поводу окончательного снятия блокады и прекращения артобстрелов. Не знаю, как трещало по радио, а на самом деле салют был блистательный, не идущий ни в какое сравнение с московскими, - сразу видно было, что салютует город-фронт, Ленинград. Мы стояли с Юркой около Думы,

ревели, целовались и глядели, глядели на город, который был виден весь до крошечки – ободранный, пробитый и все-таки великолепный... Мы первый раз за все время войны видели Невский – вечером, освещенный... Похоже было, правда, на то, как он был зловеще освещен во время осенних бомбежек, но тогда все же был зловещий свет, а вчера – праздничный, трепетный, какой-то елочный. Радостно было и больно, больно...

А 25-го я ездила с нашей репортажкой в Пушкин, через 22 часа после занятия его нашими войсками. Он был весь заминирован, весь начинен адскими машинами, особенно почти разрушенные дворцы, при нас некоторые адские машины разряжали. Мы ходили очень этак опасно, но все же ходили, потому что нельзя было не обойти и не поглядеть на любимые места. Ох, дорогие мои, до чего же страшное зрелище – Пушкин. Видимо, особенно горько видеть его таким, что уж слишком хорошо знал до войны каждый его закоулок. Екатерининского дворца, по существу, нет. Погиб. Остались одни стены. Вообще город разрушен полностью, так, кое-где коробки от домов остались – а вообще одни развалины, обугленные деревья и абсолютное, ужасающее безлюдье: из ста тысяч жителей в городе при его освобождении не было обнаружено ни одного человека.

Ехали к Пушкину по полю боя, видела много трупов – наших и немецких. Очень похожи убитые друг на друга – что немцы, что наши... Но наших все же жальче, вернее, их-то и жалко – за все человечество. Видала много трупов, наших, все разные, каждый страшен по-своему, и еще раз поняла, что нельзя перед ними лгать ни словом, ни делом, ни помышлением. Грех перед ними лгать.

Теперь о более мелком.

Мне очень радостно, что тебе понравилась наша пьеса.

...После Пушкина – нездоровая, дикий грипп. Юра едет завтра под *Лугу*, – чуешь! Сегодня взяли Сиверскую. После его возвращения (надеюсь, что вернется) попробуем поехать в Москву. Дай прочесть пьесу Бирман.

Привет всем.

23/IV-45

Дорогая Муська!

Очень, искренне рада, что тебе понравилась моя поэма. Она меня очень вымотала и все еще живет со мной. Я кое-что уточняю, переделываю; я тебе сообщу уже некоторые поправки, чтоб ты внесла их в свой экземпляр и сообщила Симону. Иногда мне гордыня говорит то, самое для меня ценное, что ты мне сказала, – о наследии Маяковского, иногда я до скрипа зубовного начинаю стыдиться ее... Но знаешь – я же не хвастаюсь перед тобой, – мне все-таки думается, что эта самая интонация, которая позволила тебе говорить о Маяковском, – налицо: как сказала Ахматова, «властный стих», – понимаешь, вот это «я», вот это осознание личности, себя и права своего говорить о себе полным голосом.

Здесь всё понимающие и ревнивые ко мне люди – Ахматова, Юра, Маруся Машкова и другие – приняли ее отлично и радуются ей... И я даже первое время боялась этому верить – мне все казалось, что они щадят меня, но в то же время самого главного не понимают...

«Знамя» собирается печатать поэму – этого мне очень хочется. Пусть напечатают, а потом, если кому вздумается, – пусть ругают. Но что касается печатания здесь, в Ленинграде, – то я и предлагать ее не стала. <...>

Я устала смертельно. У меня все внутри истончилось, как давно носимая ткань, все трясется и готово прорваться. Хотелось бы встретить победу светлой песней, достойной ее крови и ужаса, – и не знаю, хватит ли сил... Посылаю тебе стишок – так сказать, предварительный, из намеченного цикла, разумеется, не более чем оперативка, но в нем кое-что уловлено из настроения, в т. ч., может быть, он тебе

пригодится для выступлений. Масса заказов «на Берлин» и т. п., но буквально голова не варит... Как Ирэна? В ближайшие же дни пошлю ей поэму и книжку, к сожалению, у меня единственный экземпляр, хочу послать его Лозовскому, да что-то вдруг сомнение напало – надо ли? На кой черт она ему? Ну да наверное, ты уже звонила. Если звонила – передай, а не звонила – тогда и не надо, отдай Ирэнке. Сделай в своем экземпляре поправки по экземпляру, который посылаю для Лозовского или Ирэны. Вышла ли наша книжка в «Искусстве», пусть отложат 60 штук, вычтя из гонорара.

Ох, кажется, все. Посылаю, что могу.

Только что была сводка, что мы «прорвались к Берлину». Дуся, вчера они были в 4 км от Бранденбургских ворот, на Унтер ден Линден. Сегодня они дерутся в Центре Берлина... Муська, обнимаю Берлином! Родная!

Письма Б. Л. Пастернаку

15/Л-47

в Москве

Дорогой Борис.

Мне кажется, что осенью я уже говорила тебе, что пишу тебе письмо в течение целого года, с той весны. Пишу - и либо не дописываю, либо не отправляю. Наверное, это смешно, но недели три-четыре назад, когда мы с А. А<хматовой> наслаждались твоим письмом, я объяснила ей причину: если я воспользуюсь правами нашего брудершафта, честию которого я столь же горжусь, сколь и смущаюсь (брудершафт со стихией), - то ведь письмо получится любовным. И еще через некоторое время я подумаю - хорошо, пусть оно будет любовным. Оно и не может быть иным, мое отношение к тебе, возникшее давно, в молодости, и ставшее с тех пор неотделимой частью души, сознания, жизни. Я не знаю никакого другого имени этому отношению, кроме любви, самой подлинной, земной, жадной, ревнивой, непрерывно жаждущей подтверждений и новшеств. И она не удаляется, а длится и, наконец, достигает той прозрачности и определенности, что в ней уже не стыдно признаться.

...И эта весна - тоже твоя. Но совсем по-другому, чем та, 17 лет назад, когда мы вместе с моим погибшим в Ленинграде мужем открыли тебя для себя, когда твои стихи не только формировали наше отношение к миру, но и сам мир, обнаруживая его, просвечивая, приближая к душе... Я имею в виду и природу, и человеческие отношения, и многое другое... Я сказала - «совсем по-другому», - нет, пожалуй, и сейчас тот же самый процесс, но в гораздо более сильной степени радующий и одаряющий. И тебя, и твою, неотделимую от тебя поэзию, и твою - в мире я беру уже все без остатка, без белых пятен и не могу нарадоваться своему богатству. Оно у меня было, было давно, но, может быть, только теперь я вполне и безраздельно обладаю им; это уже не радость первого прикосновения, открытия, удивления, как 17 лет назад, а радость осознанного обладания.

Прошлогоднюю весну я провела за городом... и теперь нередко туда езжу. Но прошлой весной я впервые за много-много лет, может быть, первый раз после детства видела это поистине новое чудо... Там - очень изрубцованная, очень оскорбленная войной природа, никак не забывающая того, что с ней было, хоть и старается: на морском берегу траншеи, укрепленные ивовыми прутьями, все были в барашках, как седые. Но самые зловещие места - это те, где, видимо, происходили стычки; там всего ужасней бинты: множество неистово-белых, вымытых дождями и высушенных ветром бинтов - то извивалось по земле, то висело и струилось по ветру на ржавых, обгоревших сучьях молоденьких сосен... Нередко вились эти белые бинты и в совсем мирном месте - их туда занесло, наверное. Еще я видела один раз посреди леса, где кругом не было даже пепла или других следов жилища, - стояла нарядная, лакированная, желтая-желтая, почти золотая прялка с колесом... А весна, природа, *бытие* - то, что почти ушло из нашей жизни, - была поистине новым чудом, непрерывным, непреходящим, и вот это-то, по-моему, и есть ты... Наверное, сказалось плоско, а думается и чувствуется - много, но о настоящем искусстве почти невозможно говорить - что к нему прибавишь? Тем более что той и этой весной я все больше понимаю, что ты - не метафоричен, а буквален, точен, что твоя метафора - стирание «случайных черт»... Это не поэзия О природе, О любви, а поэзия *самой* природы... И как музыка равна сама себе, так и ты... И, - господи, как не поймут, что никакое звукоподражание дню не передаст его звучания... но это - предмет тяжелого и бесконечного недоумения... Я очень благодарна судьбе за то, что у меня есть твоя поэзия, что моя любовь к ней владеет новыми подтверждениями - рождественской звездой, горящей свечой, Гамлетом...

Все очень сумбурно и неточно, как, наверное, и полагается в любовном письме, не терпевшем отлагательств и написанном с размаху, поэтому и на машинке,

за которую все-таки прошу извинения. Мне говорили москвичи, что новый твой роман – великолепен. Я, наверное, приеду в середине апреля и буду счастлива, если мне удастся хоть что-нибудь из него послушать. Желая тебе от всего сердца сил душевных и физических.

20/IX-48

Ленинград

Дорогой Борис!

Я получила твое письмо несколько дней назад, в день, когда вернулась с Волги. Я, Юра и сын Юры – а теперь и мой сын, Андрюша, – ездили на пароходах – Москва – Астрахань и обратно. Двадцать четыре дня почти не уходила я с палубы, глядела все на божью красу, поражаясь, что все еще есть такое на свете – такое доброе и спокойное, равное только самому себе, и твое письмо было как бы завершением этой спокойной и доброй красоты, и свободной и сильной.

Это еще и потому, что там, на Волге, мы без конца по памяти читали твои стихи, и я вновь и вновь с радостью убеждалась в их непревзойденной, природной буквальности.

Особенно благодарна я Верхней Волге. Я ведь когда-то, в детстве, в Гражданскую войну, жила три года в Угличе. Мы жили в большом монастыре, – и потом он мне все годы снился: как будто бы я иду к нему, и вот-вот войду в него, в главный храм, и все никак не дойти, все он издали...

И вдруг сейчас увидела свой Углич, и этот монастырский храм с пятью главами, – но раньше они были синие с золотыми звездами, а сейчас сильно потемнели, – и он был совсем как во сне, но менее достоверен. Он так же был виден издали, потому что он в центре города, но когда мы отходили уже от города, вдруг он стал как-то подниматься, вырастать, становиться все яснее, точно летел вверх, точно хотел показаться весь, и я это поняла и даже заплакала. На всей Верхней Волге непримиримо-кrotко на возвышенностях стоят древние церквушки с потемневшими главками, а Калязин наполовину затоплен, но над водой, там, где раньше была соборная площадь, стоит высокая старая колокольня, и пароход наш осторожно огибал ее... Это особый град Китеж, вставший над водою... Я пишу тебе об этом потому, что все это – вместе с твоим письмом, вместе с тобою – и составляет настоящую жизнь... Прости, что я долго все же не отвечала, – мне было приятно думать, как я буду писать тебе, и так хорошо и складно получалось, а вот сейчас – нет. Да, мне было приятно думать и общаться с настоящей жизнью, которой ты живешь и которая исходит от тебя, и которой я грустно и безнадежно завидую, и удивляюсь ей, и радуюсь, что такое есть на свете, – ну пусть не у меня, это все равно; наверно, наступает в жизни такой период, когда хорошо самому уже потому только, что кто-то другой счастлив, – и радуешься этому как своему, ощущаешь это своим.

А. А<хматова> была у меня дня через два после моего приезда, – она как раз в тот день получила деньги, о которых ты спрашивал, – мы пообедали очень весело, и как-то все получилось вкусно и хорошо. Она была в том легком состоянии духа, которое я у нее особенно люблю, и я читала ей кусочки из твоего письма, относящиеся к ней (ты не сердись на меня, ты ведь, наверное, просто не представляешь, что для нее значит любое твое слово о ней, и мне хотелось доставить ей радость), и читала стихи. Ей стихи очень понравились, а о себе мне уж и говорить неловко, – ты подумаешь, что я занимаюсь только тем, что говорю тебе приятное. В этом стихотворении меня, как и в письме твоём, поражает, и радует, и одаряет прежде всего вот эта самая *настоящая жизнь*, ни одним краем не соприкасающаяся с «миром шалопайства», равная сама себе, где все – правда, все значимо, все щемяще, и уж такая поэзия, которая выносит все слова... Град Китеж, вставший над водою, град Китеж... Как бы мне хотелось немножечко

отдарить тебя чем-нибудь похожим на твои стихи и письмо, но – нечем... Я закончила свою драматическую поэму – трагедию, о которой тебе говорила, и у меня такое чувство, что передо мною лежит самый первый черновик, и что с ним дальше делать – пока не знаю сама. И видимо, так черновиком оно и должно остаться... Что касается внешней судьбы – то, кажется, печатать все-таки не будут, и к полному моему ужасу один московский театр рвется поставить это, и уже начал репетиции, и звонил мне, что «отрезал» какую-то сцену, переставил такую-то... Может быть, это все никуда не годится, но зачем же уж так-то распоряжаться? При чем все эти «отрезания» идут как раз по линии убийства трагического в трагедии... Вот завтра он (режиссер) придет, чтоб все со мной «согласовать». Я обмираю при мысли о завтрашнем разговоре, потому что я вовсе, вовсе не хочу, чтоб все это увидело сцену, вообще не хочу, а уж тем более в не моем виде. И я ничего не позволю менять, как вообще до сих пор не позволяла это делать в своих стихах. И вот будет тяжелый разговор, который *не нужен* и вызван не требованиями настоящей жизни, а чем-то совсем иным... Но это скучно.

Я хочу ответить тебе на то, что ты пишешь о романе, тогда, когда прочту его. Спасский обещал мне дать. Ты не против? Я очень хочу посмотреть это глазами, сама, одна. Я, наверно, возьму его завтра, – все-таки эти дни у меня было столько беготни – у меня очень тяжело болен отец, потом – в доме все пришло в ветхость, надо ремонтировать – это очень хлопотно. Но мне ужасно хочется привести свой оазис в порядок, где, я надеюсь, ты побываешь.

Я желаю тебе здоровья и по просьбе А. А. передаю ее самые нежнейшие приветы и любовь. Как она хорошо говорила в тот день о тебе, и мы всё снова и снова читали твои стихи, и выпили за тебя.

До свиданья. Наверно, завтра или послезавтра я начну читать твой роман, забившись на тахту в комнате, куда будут сдвинуты вещи со всего дома. А в середине октября я, наверно, приеду в Москву – и так буду рада тебя увидеть и поговорить с тобой – как всегда, о чем бы ни шла речь, – о самом главном. Извини за машинку, за то, что долго не отвечала, все-таки не в этом дело, верно?

От Бергольц О. Ф.

ул. Рубинштейна, 22, кв. 8, т. 4-97-48

В самом начале октября месяца 1941 года мой отец, Бергольц (так в документе. – *Н. П.*) Федор Христофорович, врач больницы при комбинате им. Тельмана (быв<шая> ф<абрика>ка Торнтон) был вызван на пл. Урицкого в милицию, где у него потребовали паспорт и без всякого объяснения причин перечеркнули прописку, а в пункт 8 вписали – «на основании статьи 39», после чего отцу было предложено в 24 часа покинуть город. По причинам, не зависящим ни от отца, ни от милиции (начавшаяся блокада Ленинграда), отец выехать не смог. Райздравотдел предложил ему продолжать работу, что отец и стал делать, и тем временем подал заявление в горпрокуратуру. В беседе с отцом прокурор (фамилии не помню) спросил отца, правда ли, что он немец, и правда ли, что его отец был крупным акционером? Отец ответил, конечно, что и то и другое неправда: немцев у нас в роду не было и нет, отец отца (мой дед) латыш по национальности, с детства работал в Ленинграде и никогда не был ни крупным, ни мелким акционером, а свыше 50 лет проработал на одном месте, на ф<абрике>ке быв<шей> Паль (имени Ногина).

Прокурор обещал «разобрать дело», отцу продлили прописку, он всю блокадную зиму в высшей степени самоотверженно работал в своей больнице, а в марте месяце все же ему было предложено выехать из Ленинграда... Видимо, все же в связи с тем, что кто-то принимал его не то за немца, не то за «сына крупного акционера», т<ак> к<ак> никаких объяснений ему так дано и не было, а каких-либо причин вообще к подобного рода репрессии – не существует.

Вся жизнь отца – жизнь честного русского врача. Он по специальности хирург. В 1914 году, сразу после окончания Университета, был мобилизован как военный

хирург и всю Первую мировую войну провел на передовых позициях. С момента Октябрьской революции - в рядах Красной Армии, опять в качестве военного хирурга, на фронтах Гражданской войны, гл<авным> обр<азом> (далее текст не пропечатался. - Н. П.)...ных. На территории белых никогда не был. После демобилизации из (текст не пропечатался. - Н. П.). [С] 1921 года непрерывно работает в амбулатории и больнице при ф<абри>ке «Красный ткач», она же потом комбинат имени Тельмана (быв<шая> Торнтон, на правом берегу Невы), где заслужил себе большую любовь рабочих и работниц фабрики как внимательный и опытный врач. Неоднократно премировался за свою работу. Ежегодно был привлекаем в качестве врача на призывные пункты. С первых дней Отечественной войны опять-таки работал в качестве врача на мобилизационных пунктах в Володарском районе. Даже тогда, когда с ним произошла эта неприятность, в октябре 1941 года, спецотдел фабрики дал ему положительную характеристику. Родственников у нас за границей или связи с ней не было и нет; репрессированных родственников - так же. Поэтому нет сомнений, что высылка отца - итог какого-то недоразумения или ошибки.

Убедительно прошу Вас ликвидировать это недоразумение, *снять с отца статью 39*, которую он никоим образом не заслужил за всю свою жизнь, посвященную целиком работе по охране здоровья бойцов и рабочих нашей страны.

После выезда из Ленинграда отец работал в разных медучреждениях на периферии, в настоящее время работает старшим ординатором в эвакогоспитале в Туле.

2/Х-42

Дорогой мой, родной папа! Я просто совершенно теряюсь, - ты пишешь, что получил всего два моих письма. Я послала их тебе не менее 10-12 штук, и почти в каждом писала о твоих вещах, зарплате и т. п. И у меня просто слезы выступают, когда я в сотый раз читаю твои просьбы о вещах и деньгах. Кстати, сам ты так долго писал мне об этом с такой неопределенностью, что я совсем недавно выяснила, *что именно ты оставил в амбулатории*. Ну, что ж, придется повторить все еще раз, но *умоляю*, ответь мне на это письмо с ссылкой на его дату, чтоб мне знать, что ты, наконец, все знаешь. Сначала информирую тебя, затем задаю вопросы.

1) Слепцова получила *всё*, что тебе причиталось. 500 руб. она взяла себе, - у нее твоя расписка на 500 р. 789 руб. отправила тебе в мае на *Минусинск*, до востреб<ования>. Все время уверяла меня, что квитанция у нее есть, а когда я за ней приехала, она сказала, что квитанцию у нее украли. След<овательно>, доказательств в том, что она действительно отправила деньги, у нас нет. Я ходила на почту сама, узнавала, можно ли получить копию квитанции, мне сказали, что *нельзя* и что квитанция, выданная на руки, - единств<енный> документ. Но этого документа нет, значит, вероятнее всего, что она присвоила эти деньги. А доказать этого - опять-таки нельзя. Но ты ни разу не написал мне: *справлялся ли ты на почте в Минусинске? М<ожет> б<ыть>*, все-таки там с мая м<еся>ца деньги лежат? *Я умоляю тебя написать мне об этом*, а ты, как ребенок, пишешь одно: «Сл<епцовой> я не верю...» Раньше надо было об этом думать, папа! Если тебе ответят из Минусинска, что деньги туда не приходили, значит, она их присвоила. Надо считать их пропавшими. Хотя я абсолютно не виновата в этом, я постараюсь вернуть их тебе из своих, т<ак> к<ак> ты прогрыз мне ими всю голову.

2) Из твоих вещей, опрометчиво доверенных тобою той же Слепцовой, цел только чемоданчик с бельем и ящик с сапож<ными> инструментами. Пальто, сапож<ного> товара и всего другого, о чем ты пишешь - нет, Слепцова уверяет, что *ничего, кроме этого ящика и чемоданчика, и не было*. Чем я докажу, что было? Видимо, тебе надо примириться и с утратой этих вещей. Наверное, она их продала и прожрала. Что можно сделать? Я советую тебе прислать заявление на Слепцову в спецотдел, или в фабком, или в райздрав, я не знаю, куда лучше. Поможет ли это? Если она присвоила деньги и вещи, - навряд ли, тем более, что есть ли у тебя хотя бы свидетели, что *именно ей ты доверял именно то-то и то-то*. Папочка,

родной, рекомендую тебе просто-напросто смириться с пропажей этого барахла и этих 700 рублей, – стоит ли из-за них портить жизнь? Ведь живешь же без них, и проживешь дальше, <a> выживем, ей-Богу, наживем еще больше и лучше, только бы выдержать. Ты прости, дорогой, но в то время, когда мы все теряем так много, когда мы потеряли Николая, что значит это твоё пальто? Я понимаю, что оно нажито тобой честным трудом, но все будет, все будет, не трепли ты только себе нервы, плюнь на это! Знал бы ты, как обчистили моего Юрку, три отреза, кожу на пальто и т. д. и т. д. У Молчановых погубило всё имущество, т<ак> к<ак> их квартиру разнесло снарядом и т. д. Война!

3) Я уже писала тебе, что тетя Тася умерла еще в марте, а перед смертью продала твой розовый фарфор и еще что-то. Тоже не возместишь. Я писала тебе, что дом на Палевском будут ломать, тетя Валя звонила мне об этом. Мебелишку твою мне взять некуда – буфет, стол и т. д. На Троицкую это просто не затащить, да и транспорта нет. Продать не удалось, несмотря на попытки Вали, никто не покупает. Итак, видимо, это тоже пропадет. Итак, в Л<енингра>де из твоего имущества сохраняется то, что ты оставил у меня, и то носильное (брюки и пр.), что находится у Ивановых, и чемоданчик с бельем в амбулатории у Кувалдина. Папа, мне неприятно сообщать тебе обо всем этом, но уж лучше знать правду, что у тебя нет бывшего угла, нет обстановки, и всего лишь кое-что из белья и одежды. Но ведь это – война, папа! И погоди, погоди, не впадай в отчаянье или уныние! Давай смотреть вперед, а не назад, давай не будем оплакивать пропавшего буфета, право, он не стоит того. Повторяю – главное для тебя сохранить бодрость и здоровье для будущего, а оно не так уж мрачно. Несмотря на все страдания, которые выносит наша страна, – мы все же побьем проклятых немцев. Ты знаешь это. Это главное. А, кроме того, в частности: несмотря на еще не прорванную блокаду, несмотря на то, что, как говорил чеховский Редька, – «все может быть», мы с Юркой твердо решили вить гнездо, такое, которое соответствует людям, достигшим более 30 лет. В этом месяце я должна получить приличную квартиру, а Юрке в наследство от одного уехавшего профессора досталась очень хорошая обстановка и библиотека. Думаем, что в октябре мы все оборудуем, и с расчетом на новую трудную зиму и в то же время с расчетом на будущий мир. Т<ак> ч<то>, когда ты вернешься в Л<енингра>д, у тебя будет родной оборудованный угол, и даже, папочка, внук или внучка, т<ак> к<ак> на этот раз это все на самом деле, уже проверено, и должно произойти в марте 43 года. Да, вообще, найдем тебе в Л<енингра>де угол, это здесь сейчас не проблема, свободной жилплощади много. И обстановку найдем. Видишь, все не так уж плохо. Брось горевать о вещах, только подорвешь нервы. Остатки, если не разбомбит, сберегу все.

4) Теперь о твоих делах. Я подала на главное лицо большое заявление; улика едет, но все же мне обещано было самое внимательное расследование, и имеется поддержка горкома ВКП(б). Быть может, к празднику чем-нибудь обрадую тебя. Но прошу об одном: *о терпенье и выдержке с твоей стороны!* Напрасно ты ссылаешься на Мусин опыт со мной в 38 году. Сейчас все по-другому, другое время, другая обстановка, ты должен это понять. Статьи у тебя не будет, я этого добьюсь, но навряд ли ты вернешься в Л<енингра>д в этом году. Это будет, вероятно, весной, но, впрочем, все будет зависеть от обстановки. А сейчас, даже если бы ты имел эту возможность, я бы не рекомендовала тебе этого делать. Ты отдал Л<енингра>ду все, что мог. Ты сам пишешь, что ослаб. Тебе трудно было бы выдержать здесь вторую зиму, сопряженную к тому же с работой. Мы надеемся, что эта зима не будет столь страшной, как в прошлом году, но закрывать глаз на ее суровость – нельзя. Кроме того, я сама недавно выступала по радио, говоря о том, что «враг не оставил мысли о том, чтоб взять Л<енингра>д штурмом». Об этом же ты, видимо, читаешь в газетах, и, как ленинградец, должен понимать, что это все значит. Мы по-прежнему, и даже больше, чем в прошл<ом> году, уверены в том, что Л<енингра>да немцам не видать, но город может подвергнуться очень серьезным испытаниям, и незачем тебе, усталому и пожилому человеку, это выносить. Ты и там приносишь людям пользу, и по возвращении сюда будешь нужен, но лучше тебе пока побыть в тылу. Я знаю, что тебе там одиноко, что твои бытовые условия невеселые, но, право же, это лучше условий

Л<енингра>да во много раз... Я хочу, чтобы ты понял меня до конца, я пишу очень серьезно. Только не беспокойся за меня, после Колиной смерти я решительно ничего не боюсь – ни жизни, ни смерти – и живу пока неплохо.

Я рада, что тебе понравилась «Ленингр<адская> поэма». Я хотела тебе послать ее давно, да поскольку ты все время пишешь, что не получаешь моих писем, – побоялась. Да, могу отрапортовать тебе как отцу, что успех у нее огромный. О фактах этого успеха можно было бы исписать целые страницы, – ну, например, как список поэмы фронтовика покупали за хлеб (кило!), как один боевой катер бил по немцам с цитатами из поэмы, как с читкой поэмы провожали в поход подводную лодку, и много, много другого. У меня десятки писем, – и с большой земли, и из землянок, и с многих фронтов, особенно, – с ленинградского; от вдов, от бойцов, даже из тыловых колхозов. Из колхозов пишут, что «выращиваем вам хлеб насущный, ленинградский и т. д.». Бойцы пишут, что со словами поэмы идут в бой и в снайперские засады, и трогательней всего, клянутся *мне*, что будут биться беззаветно. Есть ряд писем в стихах, много коллективных. В сентябре мне пришлось много ездить, была в Кронштадте, была два раза на фронте. Много выступала и читала, и меня везде встречали, – и бойцы, и командование, как старую знакомую. Знают, понимаешь, как никого из ленинградских писателей. К вашей дочери, папа, пришла настоящая слава, не через статьи (их до сих пор нет), не через чины, а снизу, от самого народа, и слава почетная: «ведь вы *правду* пишете», – говорят мне всюду. Это народное признание бесконечно дорого мне, и я желаю только одного – оправдать его в дальнейшем. Работаю над новой большой вещью к 25-летию Октября; написала две вещи, которые уже стали широко известны в армии и флоте. Очень много пришлось ездить и выступать, но теперь в связи со своим положением резко сокращаю выезды и сажусь только за юбилейную поэму. Она должна быть очень острой и правдивой. Одно убийственно, что Коля не может порадоваться этому моему успеху, – ведь всё это принадлежит ему! Кстати, «Февр<альский> дневник» полностью опубликован был в «Комс<омольской> пр<авде>» от 5/VII, стал широко известен за колыцом, исполняет его в Сибири Алиса Коонен. Тоже много писем. А чтением «Ленингр<адской> поэмы» открыло работу пресс-бюро при Союзе пис<ателей> в Москве. Пишу сейчас и корреспондент<ию> для Америки, готовлю большое публицистич<еское> выступление на Л<енингра>д о своих фронтовых и флотских впечатлениях. Видишь, работы много, а сил, увы, после зимы меньше, чем в пр<ошлом> году. Но, в основном, я чувствую себя хорошо, все протекает пока что благополучно, Юрка счастлив и обожает меня, – много похожего даже на любовь Коли, заботится необычайно. Он мобилизован в Политич<еское> управл<ение> Балтфлота, но работает от них на радио. Бытовые условия и пища у нас лично приличная. Е. М. здорова, толста, писала тебе. Папочка, Яшка и Юрка горячо приветствуют тебя и говорят, что о *месте* для дочки озаботятся, но дочке – придется *строчить*. Пиши. Целую. Твоя Ляля.

P. S. Твоего письма с доверенностями на облигации не получила. Напиши, получил ли ты мое ценное письмо с аттестатом на пенсию и справкой? Я послала его еще в конце августа, застраховав на 600 руб. Хотя телеграмма помогла, все же хотелось бы, чтоб ценное дошло до тебя. Мать *пишет* тебе. Я посылаю ей посылку из мануфактурного барахла на мену. Муське отдала все до копейки мои московские деньги, а это не менее 3 тысяч. Посылала деньги и Колиным племянникам. Пошлю на днях еще и тебе – руб. 200–300. Видишь, я даже из блокады стараюсь помочь родным, но сейчас у меня затор с деньгами, да и надо подготовиться к зиме и к встрече будущего ленинградца, т<ак> ч<то> ты не обижайся, если буду посылать тебе меньше, чем предполагала, пока в процессе работы денег мало, потом пойдут. Книжку свою пошлю, как только выйдет. Ольга.

28/X-42

Дорогой папа! Я очень рада, что ты едешь к маме, и, видимо, уже приехал, так как сегодня, 27 (так в документе. – *Н. П.*) октября, получила твои открытки от 13/X. В то же время я почти в отчаянье оттого, что мне придется повторять буквально все, что я писала тебе в большом и подробном письме от 2/X, которое ты

явно не успел получить до своего отъезда из Идры. Но хочу предупредить тебя, что пишу тебе обо всем этом в *последний раз*, так как у меня не хватает уже никаких нервов и терпения в течение восьми месяцев писать тебе об одном и том же, по существу, в высшей степени маловажном предмете. Надо сказать, что писала я тебе об этом не только в письме от 2/X, но и *еще несколько раз*. Речь идет о твоих вещах и деньгах. Пишу кратко, т<ак> к<ак> повторяю, у меня сейчас очень много работы и всяких дел, и не могу я больше писать и думать на эти темы, иначе стану шизофреником.

1) Наш дом на Палевском снесен до основания, так как вообще в Ленинграде сносят почти все деревянные жилые дома. *Все твои вещи и мебель*, которые там были - *пропали*.

Об иконке, печке и прочем ты написал мне слишком поздно, тогда, когда уже дом ломался. Тетка Валя чувствует себя плохо, живет на казарменном на предприятии и ни своих, ни твоих вещей не «спасала». Тетя Тася перед смертью продала твой розовый фарфор. В общем, надо считать вопрос с этим исчерпанным. Уже ничего не воротишь, да и не знаю, о чем там жалеть. Но об этом - ниже.

2) Из вещей, список на которые ты мне прислал - сохранился *только чемодан с бельем у Кувалдина*. Когда я была там и говорила со Слепцовой, она сказала, что больше ничего не было. Так как в это время, когда я у нее была, ты мне еще не сообщал, что именно тобой оставлено, я и не могла ничего спрашивать и спорить. Ты все сделал очень торопливо и неорганизованно. Спрашивала некую Марию Михайловну, «что оставил здесь папа», она сказала, «мне неизвестно», других никаких людей там я не видала. Звонила Слепцовой, она еще раз сказала, что ты оставил только чемодан.

3) Что касается денег твоих, то Слепцова сказала, что она отправила их тебе в мае месяце на МИНУСИНСК. Вот ты все время говоришь о них, а толком не ответил ни разу на мой настойчивый вопрос - *запрашивал ты или нет минусинскую почту*, - может быть, деньги там лежат? Что касается квитанций, то Слепцова сказала, что у нее квитанцию украли вместе со всеми документами, и действительно, *я проверяла* это, у нее украли всю сумку с документами, карточками и прочим. Я ходила на почту, с которой она отправила якобы деньги, узнавала, можно ли получить копию квитанции, мне сказали, что нельзя, копии они не оставляют. Если ты запрашивал деньги в Минусинске и оттуда поступил ответ, что они не приходили, значит, Слепцова их присвоила. Но прямых доказательств у меня к этому нет. Теперь относительно суда. Я просто-таки раскаиваюсь, что сама подала тебе эту мысль, теперь у тебя она, видимо, будет вроде идеи фикс. Но, папочка, сердись не сердись, я этим заниматься НЕ БУДУ. Еще до получения твоего письма со списком вещей и доверенности на суд я говорила с юристом, изложила ему суть дела, и он сказал, что поскольку ни у тебя, ни у меня нет на руках ни акта о сдаче тобой вещей Слепцовой, ни расписки от нее, ни свидетелей, которые видели бы *своими глазами в тот момент*, как она у тебя вещи принимала - дело можно считать заранее *проигранным*. Получив список твоих «свидетелей», я вижу, что это свидетели более чем липовые. И я не буду его даже начинать при таком положении вещей, у меня просто нет ни времени, ни нервов, ни сил, чтобы при теперешнем состоянии моего здоровья, занятости действительно серьезными делами, при нашем состоянии трамвайного движения, приближающемся к зимнему, начать поездки на правый берег, через мост (парома нет), искать незнакомых мне людей, таскаться по судам, и все это из-за БАРАХЛА, нет уж, лучше считай, что ИМЕННО Я должна тебе эти несчастные семьсот рублей и даже стоимость столь драгоценных тебе ватных штанов. Как только у меня будет легче с деньгами (у нас в городе с ними туго), я тебе компенсирую деньги, присвоенные Слепцовой. А судиться не буду.

4) Вещи, отданные тете Вале, - все целы, лежат у Ивановых, ботинки, брюки и т. д. Белье, которое ты оставил у меня - цело. Остальное пропало, и тебе, папа, нужно просто смириться с этим фактом. Ты меня прости, но меня поражает, как после ТАКОГО трагического года в Ленинграде, после той потери, которую в Колином лице понесла наша семья, после тех страшных потерь, которые понесли и до сих

пор несут все люди, ты можешь восемь месяцев, почти ежедневно писать мне, видимо, тратя силы и нервы, о таком дерьме, как ватные штаны, старое пальто и т. д. Ведь все равно, даже, если б ценой собственных конечностей, я их как-то выцарапала от присвоивших их людей, ведь все равно они бы лежали здесь втуне, так как никаких возможностей перебросить их отсюда к тебе у меня нет и не будет. Та маленькая посылка, которую я собрала матери, ведь в первый раз за 15 месяцев мне это удастся сделать, да и то еще не знаю, как это все выйдет. Ты, видимо, совершенно утратил представление о том, что такое ленинградская жизнь и как мы все тут живем, если полагаешь, что содержанием моего существования сможет стать суд со Слепцовой, которой ты так легкомысленно доверил свое барахло. Ведь не голым же ты ходишь, что-то увез с собой, ничего не просишь даже выслать, а вот не дает тебе покоя какая-то странная и непонятная жадность. Да вот Молчановы потеряли все свое имущество, как и сотни других семейств, и ничего, живут, и есть у них другие интересы, интересы напряженной работы в тылу, хотя мать Коли, например, просто убита его смертью, а все-таки держится, не скулит, и уж меньше всего ужасается тому, что решительно все, что осталось здесь – обречено пропаже. Ей-Богу, папа, ты, видимо, перестал чувствовать себя Ленинградцем. Я понимаю, что то, что тебе пришлось пережить – тебя очень ударило, ну, а другим-то легче? Нам-то тут, думаешь, как на курорте живется? Ты просто забыл, какая у нас обстановка, и что мы тут в полном смысле слова под Богом ходим... Вот если б ты вчера, например, присутствовал при обстреле нашего района, со всеми последствиями – невинно погибшими людьми, разгромленными дотла квартирами, так, может быть, это оживило бы в тебе твои же собственные переживания прошлого года, или хотя бы февраля месяца, и ты бы понял, что на этом фоне – нет смысла так дергать себя из-за того, что одна сволочь тебя обворовала. Впрок ей это не пойдет, а мы не пропадем. Так что давай на этом дело считать законченным и условимся, что по приезде сюда тебе придется начинать весь завод с начала, так сказать, голый человек на голой земле, старинная мечта всех истинных гуманистов. Жилплощадь будет, ее, увы, сейчас здесь много, мебели «выморочной» тоже сколько угодно, в общем, ничего решительно страшного не произошло, ты должен это усвоить, папа. Все мы, в основном, здоровы, держим друг с другом связь, каждый по своим силам может работать и не висеть на шее ни друг у друга, ни у страны, чего еще надо? Все остальное будет, ну, что же, начнем жизнь сначала, – война. Что касается твоего основного дела, то, как я уже писала, мною подано главному лицу большое заявление с мотивировками и всем, чем надо, и мне обещано, что твое дело разберут, пересмотрят, и если все, что я пишу, подтвердится, то, разумеется, изменят в лучшую сторону. Когда все это будет, зависит уже не от меня, но я буду нажимать, постольку поскольку торопливость будет уместна. За это я отвечаю, за свое обещание, данное тебе, заниматься этим, и сделаю все, что от меня зависит. Конечно, в этом году в Л<енингра>д ты не вернешься, да это и к лучшему. Здесь снова будет довольно тяжело, а тебе в твои годы это совершенно ни к чему. Ориентируйся примерно на весну, а лучше всего начинай по силе возможности работать там – всюду люди, а сейчас ты с родными, ничего, все устроится, только ради Бога, уж это я пишу тебе, как мужчина мужчине, не бранитесь вы при Мишке с матерью, будьте потерпеливее друг к другу. Муська очень хотела, чтоб ты приехал к маме, но побаивалась именно того, что вы будете ссориться, а Мишка это будет наблюдать и переживать, ведь мальчишке и без того пришлось хватить неприятного. Ну, да, думаю, все будет хорошо, мать о тебе очень скучала. Пожалуйста, напиши мне толково, как там устроишься, как мать, Мишка, обстановка. И помни, родной папа, что при всех трудностях, которые у вас будут, это все же лучше, чем наш быт. Много об этом не пишу, думаю, что ТЕБЕ – понятно. Мои дела ничего: беременна, но умоляю, без аханья по этому поводу. Лучшее пусть мама выполнит мои просьбы, которые передаю ей в письме. Очень хочу, чтоб все состоялось, и очень буду огорчена, если опять не доношу, или в силу какой-нибудь ленинградской случайности это вообще не состоится. Юра мобилизован в Балтфлот, пока в Л<енингра>де, на радио, что будет дальше, пока говорить трудно. Я много работаю. Мои стихи и поэмы пользуются огромным успехом у читателей, чего нельзя сказать про различное «начальство», мне все время приходится, как и раньше, сражаться с редакторами, инструкторами, цензорами и прочей братией, прежде, чем удастся отстоять то, что мне хочется

сказать и на что потом бойцы и граждане отвечают благодарными письмами и словами. Но это все же стоит того, чтоб ругаться с чиновниками. А сил уходит много. Но я стараюсь держаться позиции самой решительной. Живем пока на радио, но, видимо, будет квартирка, правда, без электричества, но зато с печами. Если будут дрова и керосин (мечта!), то, значит, соорудим себе семейное гнездо, как говорится, до первой бомбы. Ну, да ведь это не обязательно...

Ну, пока все. Гороплюсь – надо звонить и добиваться свидания с одним важным лицом, потому что одно менее важное лицо хочет снять у меня из книжки стихи, вернее, переделать, а я ни в коем, принципиально этого не хочу допускать, ну и видишь, сколько хлопот из-за принципа. А иначе – нельзя, особенно, мне теперь, я уж могу говорить другим голосом. Писем ко мне отовсюду по поводу «Лен<инградской> поэмы» – масса, каждый день получаю, и какие! Гл<авным> образом с фронтов. Ну, пока, целую, пиши. Привет от Юры, Яши, бубновой пары. Ляля.

Не рыдай о своих ватных штанах, отвоюем, я сошью тебе бархатные с золотым галуном! Пожалуйста, пожалуйста, дорогой папа, не сокрушайся об этом барахле, неужели тебе больше не о ком в Ленинграде думать!

8/XII-42

Ленинград

Дорогой папа!

Получила твое письмо от 7/XI, как видишь, оно шло целый месяц. Учитывая эти темпы, надо полагать, что мое письмо, подробное, напечатанное на машинке, посланное тебе в конце октября, тоже дошло до вас. Там я писала настолько подробно обо всем, что повторять это не в состоянии, тем более, что в течение 7 месяцев я только и делаю, что пишу тебе о твоих вещах и делах. Считаю, что ты тем моим письмом достаточно подготовлен к ударам и распропагандирован им же, лишь кратко повторяю.

а) дом на Палевском сломан, все твои тамошние вещи погибли. Увозить шкафы и оттоманку, и пр<очую> рухлядь мне было *не на чем* (блокада!) и *некуда*, да и незачем.

б) со Слепцовой дела судебного не начинала, т<ак> к<ак>, посоветовавшись с юристом, мы оба увидели, что у нас нет ни документов (ее расписок в приеме твоих вещей), ни надежных свидетелей, ничего вообще. Доказать, что она присвоила твои деньги только на том основании, что ты их не получил, а у нее нет квитанции – нельзя; я вон тоже послала Молчановым 500 р<уб.>, и у меня целая квитанция, а они их так и не получили, и ничего нельзя сделать.

в) заявление, поданное мною о твоём деле, как мне говорят, «разбирается», «расследуется» и т. д. Время от времени нажимаю и жду более прочного своего положения – общественного, чтоб можно было нажать покрепче. Обещают «выяснить». Но я это дело доведу до конца.

В Ленинград ни тебе, ни матери приехать пока не удастся. Во-первых, как ты уже понял и убедился, даже не имея 39 ст<атьи>, это сделать очень сложно. Чтобы приехать к нам, хотя бы из Москвы, надо, чтоб тебя *вызвало* сюда учреждение, по правам приравненное к обл<астаному> исполкому, при этом с санкции и разрешения Военного совета или же, чтоб сам Военный совет вызвал тебя. Посуди сам, имею ли я такие возможности; учти, что наш город именуется городом-фронтом не только в стихах и что въезд сюда обычным гражданам воспрещен; и вот тебе ясно станет, что пока что мысль о возвращении в Л<енингра>д надо отложить, – помочь я в этом ничем не могу. А о том, чтоб Военный совет вызвал сюда нашу маму – просто смешно думать! Никаких же «связей» и т. п. у меня никогда не было и нет. Да и что ты, папа, тащить сюда, в Л<енингра>д, мать с Мишей, это просто на смерть, особенно зимой. Никакой

столовой маме бы не дали, а что дают даже на отоваренную карточку иждивенцам – ты знаешь. У вас кило картошки – 15 р<уб.>, а у нас – 350 руб., да и то почти случайно. Суди сам, можно ли на это рассчитывать? Ты пишешь, «я бы пристроился у тебя»? Где? В радиокомитете? Но здесь услуги хирурга не нужны. Ну, жилплощадь можно было бы найти, но дрова? Керосин? Этого я вам ничего бы предоставить не смогла. А помимо всего этого, специфические неудобства города-фронта, ты понимаешь, что я имею в виду. Вот, например, Е. М. почему-то долго не звонит мне, а не так давно на той улице, где она жила, не стало дома или двух, а я забыла точный № ее дома, и уж боюсь, не тот ли самый, не ее ли? Ты пишешь, что в Чистополе много пешей ходьбы, а думаешь, у нас ее мало? Хотя считается, что № 3 трамвая ходит, Юрка почти ежедневно бегаёт по делам службы на Петрогр<адскую> сторону пешком. Я все это пишу не для того, чтобы убедить тебя «не ехать сюда», этого все равно сделать нельзя, а пишу для того, чтоб ты *оставил мысль* и перестал тосковать по Ленинграду, и смущать маму этими химерами. Ты пишешь, «в этом направлении нужно действовать», папочка, прости, это звучит трагически-смехотворно. Не могу я перетаскивать вас сейчас в Л<енингра>д, невозможно это делать, да и бессмысленно. Что я делаю и что смогу сделать? 1) Я все свои деньги по Москве отдаю Муське, чтоб она часть переслала вам. Милая Мусинька не пишет мне с августа месяца, несмотря на все мои просьбы и мольбы. Она даже не может сообщить мне, сколько моих денег она получила и сколько из них перевела вам, а по моим подсчетам, это все же не менее 3 тысяч в общей сложности, а м<ожет> б<ыть>, даже и больше. Кроме того, 20/X я отсюда перевела ей 400 руб., половину просила переслать вам и 2) отправила в начале ноября мануфактурно-галантерейную посылку, чтоб она переслала ее вам. Передай маме, что не надо мне ни шерсти, ничего, раз вам так туго, я обойдусь, возьмите все себе на пищу. Да вот говорят, что якобы у вас теперь и на мену ничего не дают, все завалено вещами, 3) дня через два переведу вам денег (в размере 500 р.) и постараюсь высылать *регулярно*, хотя с деньгами у меня не жирно. Знаю, дорогие мои, что вам там плохо. Да разве сейчас из вашей дыры зимой куда-либо тронешься? А, кроме того, честно говоря, везде сейчас трудно. Послушали бы вы, как воют наши киноработники, даже лауреаты и орденосносцы, живущие и *работающие* в Алма-Ате, Ташкенте и т. д. Наша ленингр<адская> колония писателей под Пермью тоже живет как вы, кроме тех, кто просто-напросто работает в колхозах на трудоднях. Однако, я узнаю, не легче ли там все-таки и нельзя ли вас перебросить туда? Спешитесь с Риной, м<ожет> б<ыть>, выйдет что-либо там? Молчановы в Йошкар-Оле живут тоже весьма туго, – в одной комнатке все 5 человек, с продовольствием скверно, но они летом копались в огороδικе и ходили в лес за грибами. Узнаю еще о кое-каких местах, м<ожет> б<ыть>, весной удастся вас перебросить в более хорошее место... А в общем-то, вся надежда на общее улучшение положения, и последнее время как будто бы наши дела на фронтах получше. Всем и везде очень трудно! Письмо твое очень расстроило меня, одна надежда, что после того, как ты устроился, судя по телеграмме, директором поликлиники, вам стало полегче. Не думай, что я не хочу помочь вам, но что я могу сделать отсюда, из осажденного города? Единственно реальное, – постараюсь, как уже писала выше, регулярно посылать деньги.

Неск<олько> слов о себе. Живем на радио, в маленькой комнатке, но есть печка, пока дают дрова (Юрка, как и все, осенью ломал дома), есть электрический свет, пока что тепло и светло, и это уже очень много. Летом и осенью кормились прилично, т<о> е<сть> не голодали, были сыты. Сейчас положение будет сложнее, т<ак> к<ак> летом я получала так наз<ываемый> академич<еский> паек (сверх рабоч<ей> карточки 3 кило крупы, 2 кило муки, немного масла и сахару) 1 раз в мес<яц>, а теперь этого пайка не будет, остается одна раб<очая> карточка. Это менее, чем в обреш. Юра мобилизован во флот, карточки не имеет, а должен питаться на корабле, что и делает. Домой приносит только хлеб, а питание на корабле очень и очень среднее для здорового мужика. Правда, стараемся кое-что доставать, но сил на это уходит много, а результаты ничтожные, вот, например, ездил он как-то по заданию на фронт, подарили ему там маленько картошки, и так «повезло», что попал из-за этой картошки под самый обстрел... В общем, жизнь сложная и трудная, но, вспоминая прошлую зиму, мы считаем,

что не имеем права жаловаться: в прошлом году в это время я уже начала опухать, и сидели мы на 125 гр<аммах> хлеба и тарелке дрожжевого супа, а в этом году все же совсем другое - 500 гр<амм> хлеба и отоваривают карточки. Юрка пока при радио и Полит<ическом> Упр<авлении> флота, что будет дальше с ним - неизвестно, но ты сам знаешь, что мобилизованный человек себе не волен. У меня со здоровьем средне, т<ак> к<ак>, видимо, опять не удастся доносить, хотя я точно выполняю все указания врачей. Но последние дни появились тревожные признаки, указывающие на возможность прекращения беременности... Ужасно мне это жаль и больше всего не нравится перспектива нашей ленинградской больницы. У Юры недавно после тяжелой болезни, разыгравшейся в результате эвакуации из Киева, а затем Харькова, умерла мать. Отец остался в Балашове, один, тоже болен.

Работаем много и напряженно. Меня теперь ленинградцы знают хорошо, но это приносит мне чисто моральное удовлетворение! Правда, мой райком соорудил мне русские сапожки, на предмет разъездов по фронтам, и они меня прямо спасают, т<ак> к<ак> все другое истлело; и я выступаю сейчас даже в городе в черном открытом бархатном платье и русских сапогах, а пузо занавешиваю белым шелковым платком, кот<орый> дала на время одна дама, но этот странный туалет, кажется, никого особенно не смущает. Ну, пока все. Крепко целую, деньги переведу завтра. От Юры вам обоим сердечный привет. Целую Мишу. Ваша Оля.

Получили ли мои письма на машинке и мою фотографию?

В течение *всей войны* умоляю маму сообщить, как точно писать к вам? В вашей области *два* города Чистополя - Чистополь-Береговое и Чистополь чистопольский? До сих пор не могу добиться ответа, а это крайне важно для телеграфа и перевода денег. Сообщи обязательно.

14/II-43

Ленинград

Дорогой папа!

Числа 20 января получила твое письмо от 21 декабря и, сказать по правде, оно меня так обидело, что я воздержалась отвечать сразу, чтоб не написать резкостей. Что за странный тон взял ты по отношению ко мне и Муське?! Что это значит - «прочитай мое письмо до конца»? Разве у тебя есть данные, что мы бросаем их в корзину, не читая? И вообще, ты пишешь нам так, будто бы мы какие-то барыни, захлебывающиеся от недостатков и не желающие помогать своим бедным родителям. На самом деле это не так, мы живем очень трудной и трудовой жизнью, а Муська так и совсем плохо живет в бытовом отношении: почти без света, без дров, более чем скромно с питанием. Товарищи, видевшие ее в Москве, говорят, что она сильно похудела, измоталась. Я просто не знаю, что с ней делать: с большим трудом ее можно было бы вытащить сюда, как артистку, в командировку, но тут у нас тоже далеко не сахар, тем более, что наш переезд на собственную квартиру так до сих пор и не состоялся по ряду причин, о которых долго, да и не в письме писать. Короче, мы живем в крохотной комнате на радио, еле умещаюсь в ней, правда, есть свет и в основном тепло, но третьего человека тут не поместить, а предложить ей общежитие, - это не намного лучше ее тяжелых московских условий.

Блокаду, действительно, прорвали, и это имеет огромное, военное и политическое значение, но на нашем *быте* это пока еще не отозвалось в смысле его улучшения. Нормы те же, и условия города-фронта такие же... Бывают дни, когда осень 41 кажется идиллией, - немцы осатанели от злости, и вымещают это, как могут... Как человек воевавший и знающий хотя бы то, что представляет собою шрапнель, ты должен понимать это... Правда, судя по общему положению на фронтах Союза, да и у нас, фрицам уже не так долго безобразить. Надо надеяться, что уж в этом-то году мы все увидимся и станем жить если не очень богато, то, по крайней мере, спокойнее. Между прочим, еще до прорыва Муська писала мне, что у нее есть

намерение к весне подтащить тебя под Москву, а мать и Мишку в Москву. Что касается въезда в Л<енингра>д, то после прорыва стало вроде как еще сложнее с этим, – решают только персонально и только здесь: уже были случаи, что люди, пробившиеся сюда со всякими «авторитетными» бумажками из Москвы – отправлялись обратно. Все это очень правильно, если учитывать продов<ольственное> и прочее положение в городе, а то опять неорганизованным возвращением можно было бы вывести его из равновесия. Но говорят, что потом, когда положение города изменится коренным образом, *семьи* можно будет вернуть, как будет в действительности, покажет время.

Ну, да в общем, теперь, повторяю, терпеть не так долго. Должна при этом сказать, папа, что по имеющимся у меня совершенно точным данным, положение у вас в Чист<ополе> сейчас лучше, чем в десятках и сотнях других мест, тем более, что, как пишет Жанна Инбер, цены у вас на рынке упали.

Бригада артистов (быв<ших> ленинградцев), прибывшая из Вятки, письма из Новосибирска, Молотова и мн<огих> др<угих> рисуют ОЧЕНЬ тяжкую картину бытовых и продов<ольственных> трудностей в стране, что совершенно понятно. Так что, прежде чем куда-либо двигаться, даже под Москву, учти со всей серьезностью то, что я тебе сейчас пишу... Дело с твоей статьей пока замерло, тот человек уехал, а, кроме того, учреждение, где ты был в самом начале своей истории, не так давно изрядно тряхануло и... в общем, ты знаешь, что после этого бывает. *Но* я наладила связь с юридическ<ими> силами Л<енингра>да, они обещали принять участие и вообще заверили меня, что это не проблема, что таких как ты – легион, и никто не беспокоится из-за этого, т<ак> к<ак> само собой все скоро решится положительно. Но, не дожидаясь общего исхода, я, как и обещала, постараюсь ускорить твое лично дело. Нужно только время, подробнее же ничего писать не могу.

Умоляю тебя не нервничать, все идет хорошо, немцы будут побиты, это уже совершенно ясно, и все утрясется. И не ругайся с мамой, дотерпите уж всю войну с достоинством. О своей жизни напишу ей, она тебе прочтет. Здоровье очень средне, здорово устала ото всего, от работы, жизни, блокады. Но раз надо додержаться, будем держаться. А. А. здорова, иногда бывает и звонит. Е. М. не подает признаков жизни с осени, где ее искать, не знаю.

Крепко целую. Оля. Привет от Юры и всех наших.

11/XI-44

Ну, дорогой папа, наконец-то, кажется, ты сможешь не ворчать на меня. Вчера вечером была у прокурора города, который мне официально сообщил, что *с тебя снята 39 статья, как ошибочно наложенная, а также вообще все остальное – постановление об адмвысылке и т. д.* Теперь ты совершенно свободный и реабилитированный гражданин. Сегодня или завтра тебе должна отправить наша прокуратура официальную и авторитетную бумажку обо все этом, – у меня уже взяли твой адрес. Правда, когда я приехала из командировки, прокурор, который расследовал твое дело, сказал мне, что снята только 39 статья, а постановление об адмвысылке осталось, но я на этом не успокоилась, пошла к прокурору города, и, как уже написала выше, прокурор города лично еще раз занялся этим и выяснил, что и постановление об адмвысылке – *тоже* неправильно, и все отменил. Так что, если получишь письмо от Муси (я ей в тот же день после первого разговора с прокурором все сообщила), где она будет писать только о снятии 39, то знай, что эти сведения уже устарели.

Повторяю, справедливость восстановлена полностью, и, может быть, еще раньше, чем это письмо, ты получишь об этом справку от прокурора. В общем, дня через два я проверю, послали ли они это тебе. Но все главное – уже сделано. Обо всем остальном будем разговаривать тогда, когда ты получишь справку и на руках у тебя снова будет настоящий, чистый, справедливый документ...

Очень рада, что удалось полностью восстановить временно попорченную фамильную

честь и доброе имя. Подчеркиваю, что все остальное будет уже проще, но хочу предупредить, чтобы ты особенно не воспалялся, а учел, что возвращение в Ленинград все-таки еще дело сложное, но уже по другим теперь причинам. Так что потерпи еще некоторое время, не принимай опрометчивых решений и переездов, на которых ты уже не раз погорел и зря тратил силы, а раз у тебя сейчас материальное положение ничего – не торопись его менять на журавля в небе. Тем более, что, выполнив самую трудную часть дела, я лично не смогу сейчас заниматься дальнейшим. У меня самой крайне плохи дела: у меня реальная угроза – остаться без своего угла. Когда меня вселяли в эту квартиру, то уверяли, что она совершенно свободна, а теперь вдруг появились сразу две претендентки, обе страшно нахальные еврейки, у одной из которых справка на руках, что она дочь военнослужащего. Закон формально на их стороне; мне предстоит сразу два суда, причем 99 % за то, что я проиграю дело. Если же хоть одну из них ко мне вселят, то у меня пропадает вся квартира, т<ак> к<ак> комнаты сразу становятся проходными, мы вынуждены будем ютиться в одной комнате, а звукопроницаемость в квартире абсолютная, а одна еврейка – скрипачка, – ну, в общем, мне даже страшно тебе писать, что это такое будет, конец всей моей работе, да и нормальному существованию, хуже тюрьмы.

Мне, правда, обещают разные ответственные товарищи, что не дадут меня в обиду, но пока еврейки не дают мне покоя и фактически со дня приезда в Ленинград я только этим живу и занимаюсь, издергалась до предела... А конца этой истории еще не видно. Кроме того, Муська страшно нажимает на меня (не пиши им об этом ни слова), чтоб я взяла к себе мать, поскольку у них там сложилась чисто грустилинская атмосфера, а комнату мамы заселил Путиловский, и ее надо отбирать тоже через суд, а для этого надо еще, чтобы у мамы был вызов Ленсовета и пропуск, а это у нас вплоть до 45 года категорически приостановлено, тем более для иждивенцев, так что просто не знаю, как я из этого вылезу. А работы ужасно много, и очень ответственной и интересной, и крайне важной для всего моего будущего...

Спасибо тебе за предложение получить по твоей облигации деньги, но я даже не просмотрела ее, не до того. Потом получу и пришлю тебе на табак, пока кое-как живем. Хотелось бы написать о том, как мы провели командировку на Черном море, да тоже некогда, в общем, «трясусь» все время, уж придется тебе об этом прочесть очерки в «Известиях», куда мы их должны отправить послезавтра. Так что сразу без перехода на этой же машинке начинаю перепечатывать очерки... Пока, желаю здоровья. Гляди вперед «в надежде славы и добра». Сердечный привет от Юры и наши общие поздравления с благополучным окончанием твоего «дела».

На конверте: Тула, Криволучье, эвакогоспиталь 5383. Доктору Берггольц (так на конверте. – Н. П.) Ф. Х.

Обратный адрес: Ленинград, Рубинштейна, 22, кв. 8. О. Берггольц.

[1948]

Дорогой мой, хороший! Может быть, у меня нет никого на свете, кроме тебя.

Я обязана тебе всем самым лучшим, что есть во мне: жадным жизнелюбием, чувством юмора, упрямством, целомудрием чувств, даже – здоровым цинизмом.

Я так хочу, чтоб ты жил! Чтоб в годы заката были вокруг тебя розы, пуговицы, грибы, внуки, стихи.

Пожалуйста, слушайся врачей и знай, что все мы хотим, чтоб ты поправился и кричал бы на нас на собственной даче.

А Юра и Андрюша целуют.

На обороте письма приписка рукой О. Берггольц: «Письмо, написанное и не отданное отцу».

СНОСКИ

1

Эта поэма написана по просьбе ленинградской девушки Нины Нониной о брате ее, двадцатилетнем гвардейце Владимире Нонине, павшем смертью храбрых в январе 1944 года под Ленинградом, в боях по ликвидации блокады.

2

Мамисонский перевал – один из самых высоких и красивых перевалов на Кавказе.

3

Воздушная тревога.

4

Зачеркнуто автором.